



ЮНОСТЬ

7

1970

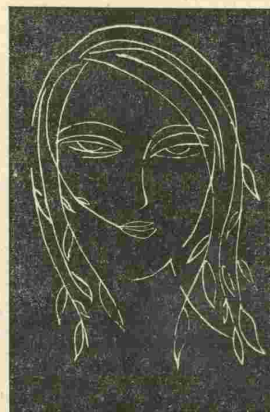


К. ИВАНОВ.

Любимец заставы. (Темпера).

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



7

[182]

июль

1970

Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПРОЗА

- Мария КРАСАВИЦКАЯ. Весенний осмотр. Рассказ 2
Александр РЕКЕМЧУК. Мальчики. Повесть. (Окончание) 10
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ. Семьсот новыми. Повесть 50

● ПОЭЗИЯ

- Александр ГЕВЕЛИНГ. «Не позабудь в цветном салютном гуле...». «Улыбок блестящие латы...» 6
Анатолий ЖИГУЛИН. «Здесь, на окраине, над лугом...». «Заигрался камышиной...». «Туман слонится тонко...». «По лесному перелугу...». «За вербным перелеском...». «Редко-редко покажется солнце...». «Поле, поле. Свет спокойный...» 7
Вадим ШКОДА. Военрук. «По шпалам, травой заросшим...». «Яблоня плодами одарила...». Дети Освенцима 8
Владимир КОСТРОВ. Сапоги. «В день моего рождения...». Сказка о сказке 9
Юнна МОРИЦ. Три звезды. Ливень. На стоянке 49
Янина ДЕГУТИТЕ. Начало пути. Яблоня в цвету. Перевел с литовского В. Куприянов 61
Альфонсас МАЛДОНИС. Отдых. Чистая улица. Прощайте. «К зиме всегда поднимаются наши реки...» Перевел с литовского П. Карп. Ю. Левитанский 61
Альбинас БЕРНОТАС. «О каком, не знаю, думал толке...». Перевел с литовского П. Карп 62
Варлам ШАЛАМОВ. «Весь гербарий моей страны...». У окна. «Оглушительная капель стук...». «Орудье кружевницы...». «Я устаю от суеты...». «Озерная вода прозрачней, чем глаза...». «Илен, на забор облокотясь...». «Избушка крыта финской стружкой...». «В лесу листок не шелохнется...» 69
Леонид ЛАТЫНИН. «Она кругами ходит, слава...». «И я открыл благоговенье...». «Пересекли дорогу птицы...». «Ты пришла не ко мне, а к кому-то другому...» 70

● ОКНО В МИР ПРЕКРАСНОГО

- Николай ДУБОВ. Почему нужно знать античную мифологию 63

На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и А. МАКСИМОВА.

● ПОГОВОРИМ

- О ПРОЧИТАННОМ
Валерий ГЕЙДЕКО. Проба характера 71

● СРЕДИ КНИГ

- Маленькие рецензии и аннотации 76

● ПУБЛИЦИСТИКА

- 4.681 голос 78
Юрий СКОП. Место рождения (из цикла «Открытки с тропами») 80
Ада ЛЕВИНА. Три диоптрии 89
Бонифатий КЕДРОВ. «Мы диалектику учили не по Гегелю...» 95

● НАУКА И ТЕХНИКА

- Вячеслав МАРКИН. Что нам до льда, что льду до нас? 99

● СПОРТ

- Семен БЕЛИЦ-ГЕЙМАН. Мое водяное колесо 104

● ЗАМЕТКИ

- И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. И случилось чудо 107

● ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

- Юрий РИХТЕР. Первая полочка 108
Леонид НЕРСЕСОВ. Двухкопеечная монета 109
Александр ИВАНОВ. Иронические стихи 110
Наташа ХМЕЛИК. Родительское собрание 111
Галка ГАЛКИНА. Перлы 111

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ, В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор Ю. А. Цишевский.

Технический редактор Л. К. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 291-62-47.

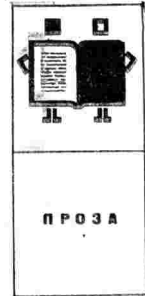
Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 6/V 1970 г. А 01076. Подп. к печ. 18/VI 1970 г. Формат бумаги 84×108^{1/16}. Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 1 915 000 экз. Изд. № 1365. Заказ № 1278.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Мария Красавицкая



ВЕСЕННИЙ ОСМОТР

РАССКАЗ

Рисунок И. Бронникова.

— Ч то же мне с тобой делать, разбойник?
«Разбойник» поднял глаза — виноватые, покаянные. Однако же отец успел заметить блеск зрачков, сказавший ему, что покаяние деланное.

— Эх, Ваня, Ваня! — вздохнул отец. Впрочем, вздох тоже был деланный.

Бог ты мой, как он обрадовался, когда без спроса и стука распахнулась настежь тяжелая дверь кабинета! Когда курносые кеды прыгнули с порога на ковер. Когда через ковер перескочили ноги в синих штанах с металлическими заклепками на карманах и с крупной красной строчкой по швам. Когда, наконец, невзирая на присутствие в кабинете нескольких подчиненных, две сильные и цепкие руки обхватили его за шею!

— Можно ли так делать, Ваня? — попрекнул отец.

Снизу вверх — «разбойник» был отцу по плечо — ответ глазами, светлыми, почти прозрачными: «Нельзя. Но, папа, иначе тоже нельзя!»

Ну да, «разбойник» не может иначе! Вечно сваливается как снег на голову. Две старшие дочери, уже замужние, загодя извещают письмами: «Возможно, приедем тогда-то». Затем телеграмма: «Встречайте. Поезд такой-то, вагон такой-то». И профессии себе старшие дочки избрали сугубо женские: учительница и врач.

«Разбойнику» же захотелось в железнодорожники. Как же, потомственная профессия. Как дед, как отец.

— Эх Ваня ты, Ваня!

Он мечтал о мальчишке, а рождались девчонки. Куклы, тряпки, шляпки. Он так надеялся: уж третий-то ребенок обязательно будет мальчишкой. Родилась девчонка. Мать дала ей имя «заграничное» и манерное: Жанна. Наперекор матери он стал звать ее истинно по-русски: Ваней. И радовался, что у малышки с первых самостоятельных шагов прорезались мальчишеские хватки. И впоследствии она из

кожи вон лезла, чтобы доказать: «Да, я и есть Ваня, Ваня, Ваня!»

И вот полюбуйтесь: мать уехала к старшей дочери, а этого «разбойника» принесло. В разгар учебного года — за месяц до летней экзаменационной сессии. Курсовик, видите ли, сдала досрочно. Кто проверит: сдала, не сдала?

— А лекции, Ваня? Как же лекции?

Хлоп-хлоп ресницами: виновата, пропускаю лекции. Не уследила, однако же, за собой — нос пренебрежительно собрался в гармошку: «Какой уважающий себя студент ходит подряд на все лекции?»

— А у меня, Ваня, весенний осмотр. Через час уезжаю. По крайней мере на неделю.

Взгляд снизу вверх. И быстрый восторженный вопрос:

— С вагоном?

— С вагоном.

— Я с тобой!

— Вот только этого еще и не доставало!

Их будет человек двадцать — целая комиссия. Представители всех служб. Надо осмотреть все и вся. Хозяйство у начальника отделения железной дороги под рукой большое.

— Это же такая практика, папа!

Как же, практика тебе понадобилась!

— Конечно, Павел Никитич, лучше практики не придумаешь! — Это голос подал референт.

Нет такой должности в штатном расписании отделения дороги. Но Павлу Никитичу глянулся этот молодой, толковый, грамотный инженер. Писанины у начальника отделения тьма: исходящая почта, ответы на письма трудящихся, доклады, выступления разные. Все это теперь возложено на референта. За ним как за каменной стеной. Все вовремя, все умно, логично. Привилось солидное: референт.

Референта только Павел Никитич попросту, по-отчески зовет Костей. Для всех остальных — Константин Иванович.

На неожиданную поддержку «разбойник» ответил благодарным, но и оценивающим взглядом. Только что на ковре стоял мальчишка: кеды, штаны эти смешные, мятые, спортивная куртка на «молнии». И вдруг этот взгляд. Оценивающий. Черт возьми, кокетливый! Зря мать тревожится: не осталась бы в девках Жанна со своими мальчишескими замашками! Нет, мать, такая незамеченной не останется.

— Н-да, но что все-таки с нею делать? С воспитательной целью совсем бы неплохо: билет в зубы, и катись обратно, посещай лекции, нечего отлынивать.

Он знал, что ни за что так не сделает. Но уж хоть немножко проучить, поугаать — это надо. И потому вслух вроде бы задумчиво повторил:

— Н-да, что же все-таки с тобой делать?

Однако долго мучить «разбойника» — себе дороже.

— Ладно. — Он сделал вид, что смиловился. — Поедешь. Исключительно ради практики, запомни!

Ее разбудили птицы. Рядом с окном высокое дерево. На дереве скворечник. Скворец, старый хрыч, скрипучим голосом ворчал-шипел на скворчиху. Сидел на палочке перед круглым окошком скворечника, временами совал в окошко голову и пилил, пилил за что-то жену. Ее головка сунулась было однажды наружу, ответила супругу коротко и виновато. Он выдал в ответ тираду необычайной длины, целиком состоящую из шипящих. Разгневался окончательно. В конце тирады щелкнул: не возражать!

Налицо явный скворчинный мезальянс. Польстилась, бедная, на скворечник со всеми удобствами. «Польстилась, дурочка, теперь терпи!» — рассмеялась Жанна. И выпрыгнула из постели на коврик.

Знать бы, что предстоит путешествие с молодым отцовским референтом, — захватила бы какое-нибудь платье. Но — увы! — в сумку она затолкала только халатик. Мамин подарок. Очень изящный. Это вчера отметила тетя Нюша — проводница отцовского служебного вагона. Отметила и помогла халатик выгладить. Он висел теперь на плечиках — пестренький, воздушный. Солнечный зайчик ползал по нему, зажигал вытканые шелком яркие цветы.

Домашние туфли без задников, но на модном графеном каблучке при детальном рассмотрении тоже вполне удовлетворили Жанну.

Перед дверным зеркалом в два счета она устроила подчеркнутую скромную прическу. С единственной волюнтарностью: вместо челки пушистый завиток на лбу. Сам такой сделался. Разве она виновата, что волосы волнистые?

Ну-с, умыться. Ну-с, тетя Нюша, и как мы теперь выглядим?

— О-о, королева! Истинно: прын-цесса! — Тетя Нюша шепотом произнесла то, что было совершенно необходимо Жанне в это удивительное утро.

В салоне папины «сопровождающие лица» успели уже накурить. Тетя Нюша открыла окна. И тотчас в салон ворвался ровный, неумолчный гул.

— Что это? — не поняла Жанна.

— Пчелы. — Тетя Нюша высунулась в окно. — Вон, смотри.

Огромное, снизу доверху белое дерево черемухи лезло ветками в окно. Пчелы деловито гудели над цветами.

Вчера отец и «сопровождающие лица» долго совещались под этой черемухой. Кстати, черемуха растет «в габарите», по строгим железнодорожным правилам ее надо срубить.

Референт уже раскрыл было свой блокнот, чтобы

записать еще одно «ценное руководящее указание» — срубить черемуху возле тупика.

Худенький, совсем седенький начальник этой небольшой станции прямо-таки на глазах усох еще больше. Рука его потянулась к низко нависшей ветке черемухи. Бережно и ласково он тронул ветку. Пальцы, темные от загара, загрубевшие от работы в земле, — и такой жест!

«Нет! — хотела крикнуть Жанна. — Как же можно загубить такую красоту!»

Отец опередил ее:

— Пусть цветет. — Снизу вверх он оглядел черемуху и повторил: — Пусть себе цветет.

Все слова, что произносил на весеннем осмотре отец, были будничны и деловиты. Он и теперь мог бы сказать: «Пусть растет». Или: «Пусть стоит». Он сказал: «Пусть цветет». И Жанна в сумеречном неярком свете вдруг с пронзительной нежностью увидела, какой он стал седой за этот год.

«Спасибо!» — встретившись с отцовским взглядом, без слов сказала Жанна. Он понял и усмехнулся — одними уголками губ. И буднично распорядился:

— Укоротить тупик. Совсем ни к чему он тут такой длинный!

Цветет-живет черемуха. Пчелы гудят над белыми гроздьями. Чудо — черемуха. Чудо — утро. Чудо — тетя Нюша.

Из-за черемухи, полотенце переброшено через плечо, вышел папин референт. Константин Иванович. Костя. Остановился. Залюбовался черемухой.

Честно говоря, вчера Жанна слегка, самую чуточку пококетничала с ним. Он был такой строгий, такой официальный в форменном черном костюме, что невозможно было не попытаться сбить с него эту официальность.

Теперь он был совсем другой. Мечтательный. Задумчивый. Ну, посмотрим, посмотрим...

Жанна на цыпочках пробежала по вагону. Не коснувшись ногами ступенек, а лишь скользнув ладонями по поручням, соскочила на хрустнувший под каблуками гравий...

— Ах, Константин Иванович, какая неожиданность! С добрым утром!

— С добрым утром, Жанна!

И соскочила красиво. И халатик хорош. И все замечено.

Неделя пролетела, как один день. Через три часа отец проводит ее на поезд. Расщедрится без мамы — посадит в мягкий вагон.

Три часа Жанна решила истратить на уборку квартиры. У-ужасно тут все запылилось! И к чему на модной полированной мебели эта тьма вышитых салфеток и салфеточек? Полюбуйтесь: целующиеся голубки. Ох, мама, мама!

С грудой салфеток Жанна соскочила на балкон — вытрясти. Вскочила и замерла.

Величавая, синяя-синяя текла под ее ногами река. Тот берег пологий, зеленый. Вода не вся еще ушла с него. По колени в синеве, в блеске солнца стояли целые черемухи. Почудилось: оттянутым носком бо-сой ноги она пробует воду. Почудилось: у самого плеча, дохнув теплом, Костя предостерег:

— Ледяная, Жанна. Говорю вам: лед!

И тогда она, в джинсах, в куртке, прыгнула с берега в белое отражение купающихся черемух. В Костины глаза — синие в синем. И все разбилось вокруг брызгами.

— Жанна, сейчас же вылезай! — С перепугу он назвал ее на «ты» и не заметил этого. — Вот в самом деле разбойник!



Нет, не понял Костя, как ей хотелось, чтобы он следом за нею прыгнул тоже. Она еще помедлила. Стояла по пояс в жгучей воде. Ждала. Дождалась, что снова, как в зеркале, отразились у самых ее рук цветущие черемухи. И Костина белая рубашка. И волосы — солнце пробивалось сквозь ветки и золотило их на висках. И глаза невероятной синевы отразили в себе и небо и воду. Глаза любовались ею — она

прочла это в их отражении. И тут же разбрызгала все это...

Она забыла, зачем выскочила на балкон. Пол из красно-белых плиток холодил босые ступни, и ей чудилось: она все еще стоит в воде. Только отдалились, убежали на тот берег черемухи. И Кости нет. Полчаса назад они попрощались. Он почтительно склонил перед нею голову, и виски позолотило солнцем.

«Ванька,— сказала она себе, минутку подумав,— да ты влюбился! Честное слово».

С балкона на всю окрестность она пропела-позвала:

— Ко-остя!

И раз так,— к чему эти салфеточки, эти целующиеся голубки? Намек, да? Она не стала вытряхивать салфетки. В два прыжка вернулась с балкона в комнату. Туго накрахмаленные салфетки плотной стопкой прокатились по полированной доске стола, протерли в слое пыли дорожку.

Н-да, пыль. За три часа, конечно, все можно протереть и вытрясти. Зачем? Папа приходит сюда только ночевать. И... завтра все снова запылится.

Указательным пальцем по слою пыли она написала размашисто «Костя!». И рассмеялась. Не пожалела маминих салфеток, стерла ими написанное. И кинулась одеваться.

В шкафу — о чудо! — обнаружила школьное еще, темно-синее форменное платье, белый стоячий воротничок под горло. Жалко, что, вырвавшись из дому, она отрезала косы. А то была бы натуральная школьница-скромница.

Неделю она пробыла на весеннем осмотре, на практике. Кто запретит ей пойти сию же минуту на дорожное селекторное совещание: подводятся итоги весеннего осмотра. Никто ей не запретит. Полезно для практики. И приятно, просто необходимо еще раз увидеть Костю. Он непременно будет на селекционном. Вчера он допоздна писал папе доклад. Не выспался. Утром под глазами у него Жанна заметила синие тени, еще больше подчеркнувшие синеву глаз.

На тебе, опоздала! Дверь студии, где проводится селекторное, уже заперта.

Ну что? Пойти домой? Пальцем по слою пыли написать-позвать «Ко-стя!»? Говорят, существует телепатия. Чтение мыслей на расстоянии. Неужели он не чувствует, что она стоит у дверей?

С детства Жанне в здании отделения дороги знакомы все ходы и выходы. Эврика! Возле студии есть комнатка-пристройка для связистов, ведающих работой аппаратуры. От студии комнатка отделена стеклянной перегородкой — все видно. Связистка-инженер — мать школьной подружки. Пустит.

Кончиками ногтей Жанна поскреблась в маленькую дверь. И дверь отворилась.

— А, Жанночка!

— Можно от вас послушать, Вера Васильевна? Я на практике...

— Иди, иди, слушай.

«О, как прекрасно! Я тебя вижу, ты меня нет».

На столе монотонно бубнил динамик селектора.

— Соседнее отделение докладывает.— Вера Васильевна совсем приглушила голос в динамике.— Сейчас наше будет.

В студии у каждого работника строго определенное место. Соблюдается табель о рангах. Отец — у самого микрофона, за новым, просторным, незнакомым столом. Обычно второе по значимости место занимает начальник отдела движения — сзади отцовского, чуточку вправо от него. Но отделенческая

табель о рангах за последнее время претерпела изменения. На втором по значимости месте Жанна увидела Костю. «О, вот новости!» Впрочем, что же? Закономерно.

Динамик перестал наконец бубнить. Вера Васильевна усилила звук. Голос начальника дороги произнес Жанне в самое ухо:

— Пожалуйста, Павел Никитич! — И Жанне представилось, как он при этом улыбнулся: улыбка слышалась в голосе. Он в дружбе с папой, начальник дороги. Вместе когда-то воевали.

Отец поправил очки, поправил листы с отпечатанным на машинке толстым докладом. Откашлялся. Начал незнакомым, глухим голосом:

— Товарищи! Соревнуясь в честь... коллектив нашего отделения, противопоставив трудностям зимы, весны, паводка...

Слишком длинное вступление сочинил Костя. Какие-то штампованные слова. Неловко их слушать. Ну, да скоро они кончатся, и начнется строгий, деловой разговор.

Но слова ненужные, лишние не кончались. Сами собой глаза Жанны опустились на крышку стола. Не только Жанна чувствовала неловкость. Все, кого она могла видеть из своего укромного места, все не смотрели на отца.

Впрочем, не все. Костя сидел, удобно откинувшись в кресле начальника отдела движения, чуть ли не на середину студии выставив ноги в черных с серым узором носках. Смотрел отцу в затылок.

Отец запнулся: наверно, ему и самому неловко было читать. И тогда в Костиных глазах мелькнула досада.

«Не нарочно же, — оправдывая его, подумала Жанна. — Так бывает: пока пишешь, все кажется так красиво! Но стоит вслух прочесть написанное, и вдруг резанет фальшью. Так бывает, да».

Так было недавно с самой Жанной, в точности так. После купания под черемухами весь вечер что-то пело, пело у нее в душе. Оставшись одна в своем купе, она написала стихи о черемухах, глядящихся в зеркало воды. Писала и восхищалась. И мечтала: «Завтра прочту Косте!» Она не смогла удержаться до завтра: звенели в мозгу рифмы, стихи хотелось петь. И она стала читать написанное вслух сама себе. И так выпендренно все это было! Не красота — красавость!

Она в мелкие, в мельчайшие клочки изорвала листок. Поезд шел, стучали под полом колеса. Она приоткрыла окно и с ладони пустила обрывки по ветру.

Так получилось и с Костей. Конечно, так. Теперь ему и самому, наверно, неловко.

— Готовясь достойно встретить... — читал отец, и краска с его щек медленно ползла к вискам. В очередной раз он запнулся.

Ту, первую, Костину усмешку Жанна великодушно простила. Нашла ей объяснение: он не слушал доклад, думал о чем-то своем и этому своему усмехался.

Теперь он усмехнулся снова. Сломалась пополам темная тонкая бровь, превратилась в язвительный угол. И от этого уже не только глаза — все лицо его стало недобрым. На одно мгновение оно стало таким, но Жанна уловила это.

...Как-то они сидели вечером втроем в салоне вагона. Все уже разошлись, кроме них. В углу, затененная колпаком, горела единственная лампабра. Тихо. Уютно. Как у себя дома, как в своей семье.

Отец, наверно, чувствовал то же. Он устал: весь день на ногах. А день по-весеннему жаркий. А все железнодорожное хозяйство на солнцепеке.

Отец прислонился головой к спинке дивана. Голова отчетливо белела на темном фоне.

Отец заговорил не о том, что было сегодня и что предстоит завтра. Вдруг он заговорил о доме. Гулко и долго гремел под колесами мост. И отец вспомнил, что надо бы немедленно привести в порядок их маленькую весельную лодку. Пока не рассохлась. Ободрать старую краску. Зашпаклевать. Покрасить заново. Пусть вся будет беленькая, а обводы, скамейки, весла — голубые.

— Да, Ваня, голубые. Как ты хочешь. Это для нее куплена лодка, — объяснил он Косте.

— Да, да, непременно голубые.

— А все некогда. Руки не доходят, — вздохнул отец.

— Давайте я сделаю, — предложил Костя с готовностью.

— О-о, вот удружил бы!

И они стали обсуждать, как и что надо делать с лодкой. И Костя сказал со странным каким-то выражением в голосе:

— А на носу, под обводами, я, тоже голубым, напишу название лодки. Сейчас модно давать всему поэтические названия.

— Да, модно, — рассмеялся отец. И спросил: — А как же ее назвать? Придумал?

— Назовите «Инфанта».

Тогда, как и сейчас, от отцовского с запинкой чтения, Жанну вдруг скребнуло фальшью. Как ножом по стеклу. Коротко и противно.

— Инфанта? — удивился отец. — А что это значит?

Откуда, ну откуда ему знать это слово? Не тогда — сейчас Жанна так подумала. В Костином возрасте отец был помощником машиниста. У отца есть фотография того времени — тощий, плохо одетый. Под бомбами, под огнем водил эшелоны на фронт и с фронта. Метка на лбу, у кромки волос, — с тех пор. Осколком чиркнуло. Мог он тогда узнать, что такое «инфанта»?

Или позже... Одно из самых ранних воспоминаний: проснувшись как-то среди ночи, Жанна увидела загороженный газетой свет настольной лампы и отцовскую спину, ссутулившуюся над столом. Уже тогда, совсем молодой, почти такой же молодой, как сейчас Костя, он ссутулился. Много лежало на его плечах. Чтобы окончить институт, он сидел ночами.

Или вот теперь, начальником отделения, — раньше всех ушел из дому, позже всех вернулся? А если надо почитать, ночью виден свет из-под дверей отцовской комнаты.

— Инфанта, — объяснил Костя, и теперь, вот только теперь Жанна услышала снисходительную усмешку, — Инфанта — это, Павел Никитич, принцесса. Королевская дочь — вот что это такое.

Она сидела в своем воздушном пестром халатике. Туго натянут тонкий чулок. Туфелька без задника висит на пальцах. Прясть волос колечком свернулась на лбу. Принцесса. Королевская дочь.

Нет, нет, ни она сама, ни отец не поняли тогда, не почувствовали снисходительной усмешки. Тогда она только поразились: «Ого, какой он меня видит!»

— Ого! — Отец простодушно рассмеялся. — Это уж ты, кажется, хватил лишнего, Костя. — Он обнял Жанну за плечи. — Ванька у нас просто разбойник. Или контрабандист. Вот так.

— Вы недооцениваете свою дочь, Павел Никитич, — серьезно ответил Костя. — ...Впрочем... «Инфанта», пожалуй, и в самом деле я лишку хватил. Не потому, что Жанна не похожа на принцессу, — похожа. По другой причине. Увидит кто-нибудь надпись на

лодке. Какой-нибудь ваш недоброжелатель — на всех и солнышко не угодит, так ведь? Увидит и пойдет звонить: «Начальник-то отделения страдает манией величия!» Так что во избежание недоразумений назовем скромненько: «Жанна».

Он унизил тогда отца: «Вот какой ты серый. Знай и помни!» И увел их в сторону, чтоб они ничего не поняли. А сейчас он слушал, как запинаясь отец, читая слова надуманные, ненужные и чужие. Сначала он наслаждался, ноги почти на середине студии, вольная, слишком вольная поза. Полузакрыты глаза. Только бровь, изломанная посередине треугольником, — она дергалась и выдавала, что он волнуется.

«Папа, зачем, зачем ты... Зачем? — мысленно кричала Жанна, не отрывая глаз от изломанной дергающейся тонкой брови. — Ведь ты умеешь говорить просто, лаконично, деловито. Так, как надо в эту минуту. Умеешь, я знаю. Зачем же ты?..»

Казалось, отец услышал ее. Он запнулся еще раз. И вдруг рывком снял очки, рывком отодвинул сколотый огромной скрепкой доклад. И замолчал. И после длинной паузы в динамике, над самым ухом Жанны, прозвучал голос начальника дороги. В нем было сочувствие и одобрение:

— Что случилось, Павел Никитич? Продолжайте.

Сейчас отец наденет очки, придвинет сколотый огромной скрепкой доклад. Продолжит...

Отцовская рука, крупная, широкая в запястье, с сильными узлами суставов на пальцах, потянулась к докладу. Костя с готовностью вскочил, навис над отцом. Сейчас предупредительно укажет: «Вот здесь вы остановились, Павел Никитич!»

Но отец жестом быстрым и исполненным пренебрежения оттолкнул листы. И они скользнули по полированному столу, как давеча у Жанны скользнули по пыли накрахмаленные салфетки.

— Весенний осмотр показал, — начал отец обычным своим, привычным своим голосом, — что многое надо сделать за лето. Например... — И он стал перечислять, что надо сделать немедленно, неотложно.

И все в студии оживились, зашептались. Пошла по рукам записка. Дошла до отца. Он мельком глянул на нее и кивнул. И лицо его было теперь совсем иным, чем минуту назад. Оно было собранным, озабоченным. Он говорил теперь о том, что было нужно и ему, и тем, кто сидел в студии, и тем, кого встречали они на станциях, на стрелках, на перегонах.

— А не лишнего запрашиваешь, Павел Никитич? — Динамик донес усмешку в голосе начальника дороги.

— Не лишнего! — отрезал отец. — Только то, чего требует дело. И люди.

Как нескончаемо тянулось чтение, и как быстро полетели теперь минуты!

— У меня все, товарищ начальник дороги!

Блестел перед Жанной стол, застланный стеклом. Ей почудилось: черемухи в цвету отразились в неподвижной, в зеркальной воде. И еще в ней отразилась бровь, изломанная язвительным треугольником.

Жанна хлопнула ладонью по стеклу. И то, что виделось ей сейчас в воображении, разбрызгалось, ушло, исчезло.

— Словом, многое дал на вашем отделении весенний осмотр, — сказал в динамике голос начальника дороги.

«Многое!» — согласилась Жанна и вышла из комнатки связистов, плотно прикрыв за собой дверь.



**Александр
Гевелинг**

☆

Не позабудь в цветном салютном гуле,
Что ивы плачут у гранитных плит,
Что первый пограничник
Первой пулей
Когда-то в сорок первом был убит,
Что задыхались дети,
Не отведав
Живой прохлады в раскаленном дне,
Что был сражен фашистом в день победы
Солдат
Последней пулей на войне.
В апреле, в январе или в июле
Под Прагой иль в деревне Михали
От первой пули
До последней пули
Мы двадцать миллионов погребли.
Я вкладываю труд свой в оборону,
Чтоб враг опять не смог разжечь войну.
Чтоб недобитых
Никогда не тронул
Мою несокрушимую страну.
Вот так стоять и буду —
Карауля,
Сигнал тревоги вовремя трубя,
Чтобы не быть убитым
Первой пулей
И от последней
Уберечь тебя!

☆

Улыбок блестящие латы.
Разведка прищуренных глаз.
Фехтуют с трибун дипломаты
Клинками отточенных фраз.
Здесь вместо горячих оваций
Холодные залпы хлопков.
Флажки на столах делегаций
Стоят, как знамена полков.
Тут в слове неласковом «вето»,
В котором атака слышна,
В застольных речах на банкетах
Идет, не стихая, война.
И в эти тревожные годы
Сражаются наши послы.
Работают наши заводы,
Чтоб им обеспечить тылы.
Пусть годы пронесются мимо.
Сигнала походного нет.
Но, словно взведенная мина,
Лежит мой военный билет!



**Анатолий
Жыгулин**

Здесь, на окраине, над лугом
Был дом, украшенный резьбой.
И был рассыпан черный уголь
Под водосточною трубой.
И доносился сладкий привкус
С далеких нив, где зрела рожь.
И выносили пыльный фикус
На теплый, пенный, летний дождь.
Здесь тополя цвели в истоме
В том чистом мире детских лет.
Здесь я родился, в этом доме,
Которого давно уж нет.
А мне он так сегодня нужен,
Тот ранний мир моей души,
Где я с восторгом шел по лужам,
Не зная горечи и лжи.
Он где-то здесь, под пепелищем,
В глубинах сердца, в толще дней...
Мы все его тревожно ищем
В суровой зрелости своей.



Заигрался камышинкой
Ветер с самого утра.
Называется Лапшинкой
Деревенька в три двора.
Здесь ромашкам нет помехи
На заброшенном гумне.
Здесь я словно в прошлом веке,
В дальней дедовской стране.
Если б только над карнизом,
Где ютятся воробьи,
Не топорщил телевизор
Рожки тонкие свои.
Если б только хриплым свистом
В этот тихий край берез
Не врывался сквозь транзистор
Мир сомнений и угроз.
Если б не было тревожно
От сегодняшних примет,
То и вправду было б можно
Превозмочь движение лет.



Туман слонится тонко,
И сумерки свежи.
И плачет перепелка
В голубоватой ржи.
И сумрак незаметно
Дорогу заволок.
И не дрожит от ветра
Осиновый колок.

Уже притихли дачи,
И свет зари угас.
На башне водокачки
Зажегся красный глаз.
Но солнце свет прощальный
Еще на землю шлет,
Неярко освещая
Летающий самолет.



По лесному перелогу,
По ракитовым кустам
Прямо выйду на дорогу
К дорогим моим местам.
С ручейком посередине
Сыроватый редкий бор.
Там сорока на осине
Мне знакома с давних пор.
Удивляясь, словно чуду,
Всяким травам и хвощам,
Понемногу позабуду,
Что кому наобещал...
Позабуду день, что прожит
В бестолковой толкотне,
И друзей моих хороших,
И слова их обо мне.
Ничего они не стоят,
Толкотня и суета,
Рядом с мудрой красотою
Придорожного куста.



За вербным перелеском
Куски речного льда
Несет с веселым плеском
Весенняя вода.
Стоит дымок в березах,
И солнце вдоль реки
Горит на красных лозах
Пушистой шелюги.
И от былой обиды,
От всех моих забот
Остался только битый
Голубоватый лед,
Изломанный и острый.
С подтаявших низин
Его вода уносит
До следующих весен,
До следующих зим.



Редко-редко покажется солнце.
От дождей почернели плетни.
И хромой журавель у колодца
Вспоминает весенние дни.
Скоро выюги засвищут, засеют,
Заиграет шальной хоровод.
И покроется жухлая зелень
Первым снегом осенних невзгод.
Безымянная речка застынет.
И над белой землей поутру
Только черные былки полыни
Будут тихо шуршать на ветру.



Поле, поле. Свет спокойный
Розовеет на стерне.
Словно все огни и войны
Грохотали в стороне...
Может, это только снится —
Эти желтые поля.

Эти узкие бойницы
Белого монастыря!
Может, вдруг ударит выстрел,
Словно гром над головой,
И растает в небе чистом
Серый дым пороховой!..

□ □ □



**Вадим
Никола**

Военрук

Каждый видел себя героем —
мы, взволнованные слегка,
на пустырь приходили строем
под командой военрука.
Забывались напрочь уроки,
все, чем радовала весна...
И коротким приказом строем
начиналась для нас война.
Мы ползли вперед по-пластунски,
прижимаясь к теплой земле.
И светило нам солнце тускло
в пыльном мареве,
в дымной мгле.
Деревянные автоматы
тяжелее, чем ППШ.
Кувыркаясь, летят гранаты,
замирает на миг душа.
На пригорке дымятся танки,
все упорней, все злее бой...
Но в разгар лихой контратаки
военрук вдруг сказал:
— Отбой!..
Сразу стало тихо и жарко...
И, усевшись устало в круг,
мы скрутили ему сигарку:
был безруким наш военрук...



По шпалам,
травой заросшим,
у сонных цветов на виду
иду я к березовой роще,
как будто бы в детство иду.

Как тесно уложены шпалы —
я это заметил сейчас.
Тогда же для шага хватало
меж ними пространства как раз...



Яблоня плодами одарила
женщину,
что нянчила ее,
берегла, поила и кормила,
как дитя любимое свое.
Женщина плодами одарила
внуков,
дочерей и сыновей.
Даже словом их не укорила,
что дорогу позабыли к ней.

Дети Освенцима

Страшнее
мир еще не видел
действия.
[Жестокости
предела нет
на свете.]

Идут
гуськом
под черной планкой
дети.

Она им отмеряет
жизнь
и детство.

Придумано забавно,
очень просто,
недаром автор метода
прославлен,—
кто хоть немного
ниже планки ростом,
без промедленья
будет в печь
отправлен.

И ребятишки знали
про условие.

О, как они на цыпочки
вставали!..
Гесс видел все.
Он молча хмурил брови,
и молча
цепь детишек
разрывали.
Не плакали.
Пощады не просили.
Вытягиваясь телом
выше,
выше,
шли дети Украины
и России,
Варшавы,

Братиславы
и Парижа...

...Я крик сдержу.
Повешен был палач
в Освенциме,
на этом самом месте.
Малыш,
сюда пришедший
с мамой вместе,
по гравийной дорожке
катит мяч.



**Владимир
Костров**

Сапоги

И пишет мне сестренка родная,
доярка пишет:
«Помоги.

Купи мне поскорее модные,
пришли из ГУМа сапоги!

Уже двенадцать лет я замужем,
так быстро пролетает жизнь.
А все равно в столичных, замшевых,
хочу по улице пройти.

Хочу пройти в них под гармонию,
чтоб бабы говорили «Ах!»
И чтоб на голенищах «молнии»
сверкали, как на небесах!

Мы вышлем деньги этой осенью,
сам знаешь, уж потороплюсь.
Я вместе с женщинами в очередь,
как муж законный, становлюсь.

И продавщицу долго мучаю,
и на размер своей ноги
я покупаю наилучшие,
по высшей ставке сапоги.

Иду домой.
Мне чище дышится,
гуляет голубь босиком,
кричит трамвай,
листва колышется,
автобус пахнет молоком.



В день моего рождения
мне оказали честь
крестный отец и шурин,
дядя жены и тесть.

Сидят на тесовых лавках,
стаканы в правой руке,
суп лоснится бараний,
сваренный на таганке.

Теща моя колдует
над жареным гусом,

щучьей икрой
и салом,
шпигованным чесноком.

Под толстым слоем сметаны
в тарелках сопят грибы,
от розовой самогонки
пот прошибает лбы.

И смотрят мутные глазки
ласково на меня.
Хмельная и неуклюжая —
все это моя родня!

Живущая льном и рожью,
сгорбленная в спине,
пулею и вошью
питанная на войне.

Как нам, ей бывает больно,
а может, еще больней,
она страдает и любит,
может быть, нас сильней.

Вот почему я считаю,
что мне оказали честь
дядя жены и шурин,
крестный отец и тесть.

Сказка о сказке

Укатилось солнце,
глохнут краски,
разгребают угли кочерга.
Тихо из углов выходят сказки.
— Добрый вечер, бабушка Яга!

Только мало в сказки верят нынче,
больше верят в данные анкет:

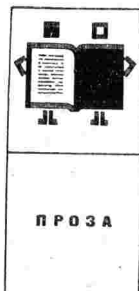
— Имя!
— Змей.
— По отчеству!
— Горыныч.
— А фамилья!
— А фамилья нет!

Ведьма спит,
и мучится покойник
над кроссвордами из «Огонька».
Царь Кощей и Соловей-разбойник
режутся от скуки в дурака.

Лошади колхозные не в мыле —
значит, их не мучит домовой.
Ну чего вы, черти, приуныли,
за трубой затихли дымовой!

Синие, горбатые, косые,
когти замаравшие в крови,
древние страшилища России,
милые чудовища мои.

В рамке телевизора светает,
там изображение рябит.
Бабушка на печке засыпает,
внучка математику долбит.



Александр Рекемчук

МАЛЬЧИКИ

ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. Басырова.

2

Концерт был в субботу. А в воскресенье утром — но не в следующее воскресенье, а через воскресенье — Колька Бирюков подошел ко мне. Всю эту минувшую неделю он ко мне ни разу не подходил и вроде даже не замечал меня, будто бы я — это не я, а пустое место.

Но тут подошел и сказал:

— Давай-ка, Прохоров, закатимся...

— Куда?

— Зверушек посмотрим. Птичек. Рыбок. Черепашек.

— В зоопарк? — разочарованно спросил я.

Мне уже до обалдения надоел этот зоопарк, расположенный под нашими окнами. Я в нем, в этом зоопарке, уже, наверное, раз сто побывал с тех пор, как впервые меня свел туда Николай Иванович Бирюков. И вот — снова...

— Нет, не в зоопарк, — покачал головой Коля. — На Птичий рынок. Поехали?

— А это где?

— Я знаю где.

— А зачем?

— Посмотрим, поглядим.

— Ладно, — сказал я.

И впрямь, почему бы не съездить? Воскресенье. И я еще никогда не бывал на Птичьем рынке. Все разные музеи, планетарии...

— Поехали, — сказал я.

Мы поехали. На метро до станции «Таганская», а там сели в троллейбус, а потом еще маленько протопали пешком. И вышли прямо к Птичьему рынку.

Вообще-то рынок называется вовсе не Птичьим, а Калитниковским — так, во всяком случае, было написано на воротах. И я тут же узнал, что рынок этот

работает только по выходным дням, а в остальные дни заперт на замок. Зато в выходные дни...

Что тут творилось!

Здесь была такая отчаянная людская толчея и мешанина, что нас с Колькой едва не задавили еще в воротах. А дальше — больше. Я тотчас убедился, что это на самом деле никакой не Птичий рынок. Уж скорее — Рыбий. Потому что вокруг, куда ни взгляни, куда ни сунь нос, были одни рыбы. Прилавки сплошь заставлены стеклянными банками, а в этих банках плавали и кувыркались забавные рыбешки. Красные, черные, полосатые.

Не только на прилавках, но и в самой толпе шла бойкая торговля. Тут все — и взрослые и детвора — тоже были с банками в руках. Рыбешки, подцепленные сачком, переселялись из банки в банку, деньги перекочевывали из рук в руки.

Кроме самих рыб, тут продавали и покупали все, что имеет отношение к рыбам. Аквариумы, разукрашенные ракушками. Живой, шевелящийся и дохлый, сушеный корм. Водоросли. Улитки. Резиновые клизмы. Электромашины для подкачки воздуха. Один мужик продавал песок: насыплет в кулечек песку — пожалуйста, с вас полтинник. А другой мужик (я сам это видел своими глазами) торговал водой; он нацеживал из-под уличного крана полное ведро воды, а потом ходил по рынку и кричал: «Кому натуральной озерной воды? Чистая озерная вода!» И некоторые покупали. Я сам видел.

Словом, это было какое-то рыбье царство.

Лишь в самом дальнем закутке, у забора, торговали не рыбами, а другим товаром. Там были клетки с канарейками и щеглами. Фанерные ящики с голубями. Лукошки с кроликами и морскими свинками. Все это было очень интересно, и мы с Колькой, наверное, часа два мытарились в толчее.

— А теперь... — сказал Колька и повел меня к выходу.

— Что теперь?

— Теперь самое главное.

— Как же?... — удивился я. Самое главное, а он тащит меня обратно к воротам.

Окончание. Начало см. в № 6 за 1970 год.

Мы обогнули забор снаружи.

И я сразу все понял. Здесь продавали собак.

Разноголосый и неумолчный лай, рычание, тавканье, скулеж наполняли переулок. Каких тут только не было собак! И взрослые псы и чуть зрячие, не ловкие щенята. Породистые тупорылые боксеры и дворовые шавки. Легавые охотничьи собаки и крохотные, с дрожащими лапками той. Оказавшись все вдруг в таком большом и пестром обществе, они вели себя шумно и развязно: затевали драки либо, наоборот, любезничали, нюхались, задирали ноги на столбы — кто выше сумеет.

Не менее шумно, азартно проявляли характер продавцы и покупатели. Они рядились, как и положено на базаре, уходили и возвращались, изучали родословные свидетельства, придирчиво проверяли прикус зубов, покачивали головами, со знанием дела обсуждали собачьи достоинства и пороки.

Раз или два мимо нас прошла какая-то тетенька в синем пальто, верхняя пуговица которого была расстегнута, и оттуда, из-за пазухи, свешивались наружу белые мордочки с розовыми носами: кутята-близнецы, очень смешные и симпатичные. Но это, конечно, были не настоящие собаки, а так, домашняя забава, вроде игрушек.

— Гляди-ка... — подтолкнул меня в бок Николай. Я посмотрел.

В самой глубине переулочка, у забора, сидел пес. Черный, с желтым брюхом, овчарка. Широкогрудый, остроухий. На ошейнике у него висели рядом медали: десяток, а то и больше, все золотые. Этот пес в отличие от своих собратьев не суетился, не лаял. Он чинно сидел на месте, сдержанный, мужественный. Морда его была отвернута в сторону от хозяина...

А хозяин — паренек лет двадцати, стриженный наголо, — смотрел в другую сторону.

И у того и у другого — и у собаки и у человека — глаза были одинаково тоскливы.

Наверное, этот хороший, заслуженный пес уже понимал, что его хотят продать, что его продадут. И, конечно же, ему не хотелось, чтобы его продавали, то есть он даже не мог себе представить, как это его можно продать, отдать в чужие, незнакомые руки. Но он, вероятно, все же отдавал себе отчет, что уж если хозяин решил его продать, то на это есть какие-нибудь особые и очень важные причины; и он, пес, должен и здесь подчиниться, проявить беспрекословное послушание.

А хозяин, стриженный паренек, стоял и сам чуть не плакал оттого, что ему вот приходится продавать такого замечательного и верного пса. Может, ему некуда было его девать, может, этого паренька в армию призывали, а может, он уезжал куда-нибудь, куда нельзя с собакой; или на него соседи заявили в милицию, что собака лает, мешает смотреть телевизор; может, у него просто не было денег, а деньги ему были позарез нужны — скажем, мать заболела, — и он решил пойти на эту самую крайнюю жертву, хотя и чувствовал, что это очень некрасиво и даже подло.

В руке у парня был поводок, другой конец пристегнут к собачьему ошейнику, но этот поводок провис, и хотя еще он как бы соединял их обоих, но только для вида...

Собака и человек тоскливо смотрели в разные стороны.

А я, как зачарованный, смотрел на этого прекрасного пса.

— Силен зверь, да? — сказал Колька.

— Да, — сказал я. — Интересно, как его звать?

— Интересно, — согласился Колька. — Интересно, сколько стоит?

Он, недолго раздумывая, вразвалочку направился к стриженному парню и о чем-то его спросил. Должно быть, как звать собаку или сколько стоит.

Но парень лишь покосился на него через плечо, сплюнул и произнес какую-то короткую фразу. Мол, так и так. Мне не слышно было.

Обиженный Колька вернулся и, ухватив меня за рукав, повел прочь.

— Дурак, — сказал он про этого парня. — Псих. Думает, я купить не могу. А вот и могу.

— Ну да... — в свою очередь, усомнился я.

— Могу. Не веришь?

Колька остановился, сторожко поглядел по сторонам, расстегнул какой-то внутренний карман и вынул оттуда пачку денег.

Я прямо-таки глаза вылупил, узрев эту пачку.

— Откуда? — спрашиваю.

— Оттуда, — гордо усмехнулся Николай Иванович. — Со стипендии. Целый год копил.

Тем, которые учились в старших классах, действительно выплачивали стипендию (у кого не было двоек и кто не сильно баловался на уроках), но стипендия эта, как я знал, была невелика. И меня поразило, что Кольке Бирюкову удалось сколотить с этой стипендии столь солидный капитал.

— Так что, если захочу, могу купить собаку, — сказал Колька. — Хоть эту, хоть любую.

— Куда ты ее денешь? В общежитие с собакой не пустят.

— Подумаешь, общежитие!.. Могу чью-нибудь дачу зимой сторожить — вместе с собакой. А могу в поезд сесть и уехать ко всем чертям. Я теперь все могу. У меня деньги есть.

— Но тебе ведь еще учиться два года, — попытался я его урезонить.

— Учиться?..

Колька посмотрел на меня с явным сожалением. И сплюнул, как тот стриженный парень.

— А зачем?

— Как зачем?

— Ну зачем?..

Вот тебе и на. Как это зачем? Зачем, видите ли, учиться? Всем известно, зачем. Все учатся.

Мы шли по скверу. Там были скамейки, сыроватые, правда. Колька сказал:

— Давай присядем.

Мы присели.

— Слушай, Женька... Ты только ничего такого не подумай. Ты, небось, подумаешь, что это я со зла. А я не со зла, наоборот. Потому что мне не нравится, когда маленьких обманывают.

— А кто обманывает?

— О ни.

— Как обманывают?

— Обманывают. Понимаешь, Женька, это такой разговор... — Николай Иванович поморщился, будто для него был неприятен и труден предстоящий разговор. — Это, понимаешь ли, взрослый разговор.

Я опустил голову пониже и приготовился слушать.

Что ж, взрослый так взрослый. Не привыкать. Мне и до этого приходилось терпеть всякие разговоры, которые старшие ребята любят заводить с младшими. И еще смеются при этом: вот, дескать, дурачки вы маленькие, ничего-то вы не знаете... И такого тебе порасскажут, что потом тошно глядеть на белый свет. Однако никто больше нам, мальчикам, ничего подобного либо взамен этого не рассказывал. Вот и приходится самостоятельно просвещаться, узнавать друг от друга.

Я не сомневался, что Колька расскажет мне сейчас какую-нибудь гадость. Потому я и голову опустил и заранее щеки заслонил руками, чтобы не было видно, если придется краснеть.

— Ты знаешь, отчего мне запретили петь? Потому что мутация. А что такое мутация? Знаешь? Не знаешь... Это когда пацаны становятся мужчинами. Вот ты, например, еще не становишься, а я уже становлюсь.

Допустим.

— И вот, когда бывает мутация, петь нельзя. Потому что ломается голос. Очень долго ломается: целый год. Это вроде болезни. Только не от микробов, а просто так — закон природы... И если у тебя сейчас дискант, то потом, после мутации, будет бас. А если альт, то будет тенор... Понял?

— Ну? — оживился я, отнимая ладони от щек.

Мне сделалось легче на душе. Я понял, что Колька не станет рассказывать гадости.

— Ну и что? Вот у тебя дискант и у меня дискант, значит, будут басы. Очень даже прекрасно...

Я поднялся, выпятил живот, потешно изломал брови и затянул утренним голосом:

— У-ужас смер-р-р-рти сеял мой була-а-ат!..

Но Колька Бирюков посмотрел на меня с явным сожалением.

— Не будет, — жестко сказал он.

— Чего не будет?

— Ничего не будет. Не будет никакого голоса.

— Как это не будет? Совсем?

— Ну, останется, конечно... разговаривать. Тарыбары.

— А петь?

— А петь не будет.

— А почему?

— Так. Закон природы, — повторил Николай Иванович. — У меня, например, не будет. Я это, понимаешь, чувствую. И у тебя, Женька, не будет... Только ты не обижайся: я ведь с тобой честно, по-товарищески. Чтобы ты заранее знал.

— Ну, ладно, — сказал я, подумав. — А откуда же тогда берутся певцы? Настоящие певцы, которые в опере поют и по радио... Откуда?

— Чудик ты! Ведь они не с детства поют. У них потом, когда взрослыми становятся, открывается голос. И уж это на всю жизнь. Но ты прикинь, сколько их, настоящих голосов? На тысячу людей один, и то навряд. А нас в училище — всего двести. Так ты хочешь, чтобы каждый остался при голосе? Не бывает этого, Женька. Закон природы. У нас, в старших классах, все безголосые, ни у кого не осталось. Я дольше всех пел: у меня задержалась мутация... А теперь и мне каюк.

— Так-таки ни у кого не остается? — Я недоверчиво покачал головой.

— Почти ни у кого. Я только про одного парня знаю, что он вроде бы сохранил голос, певцом стал. И то не из нашего училища, а из ленинградского... Один на тысячу.

Один на тысячу!

Нет, я хорошо понимал своего друга Николая Бирюкова. Я сочувствовал ему. Обидно, конечно: пел, солировал в концертах, вот такущими буквами фамилию печатали на афишах — и на тебе. Такое каждому будет обидно...

И еще, догадался я, Кольке немного завидно, что теперь вместо него пою я. И мне, а не ему хлопает публика. И даже цветы иногда преподносят.

На его месте я бы, наверное, тоже позавидовал.

А насчет того, что не у всех мальчиков сохраняются голоса, — это правда.

Я ведь нарочно притворился, будто не знаю. Я уже давно знал, что такое мутация. Мне об этом еще во втором классе один малый поведал.

Один на тысячу? Ну, это он, Колька, просто загнул для красного словца. Для страха. А хоть бы и один

на тысячу! Мне-то известно, кто им окажется, этот один на тысячу...

— Гляди-ка, — сказал Николай.

По переулку неторопливо шагал знакомый нам стриженный парень. А рядом с ним, наострив уши, бряцая медалями, вышагивал черно-желтый громадный пес. Шли прочь от рынка.

Значит, так и не удалось хозяину продать собаку. Должно быть, слишком дорого запрашивал.

Как же он теперь, этот парень, обойдется без денег, которые ему позарез нужны? Или если ему ехать в такие места, куда не берут с собаками? Если на него соседи заявление в милицию подали? Вот ведь задача какая...

Однако мне показалось, что этот идущий по улице парень не слишком убит. Лицо его было по-прежнему озабоченным. Но выражение отчаянной тоски вроде бы исчезло из глаз, и потому у него был теперь уже не такой мрачный вид, как тогда, когда он стоял у забора, а, наоборот, лицо парня было сейчас ясным и добрым.

А этот могучий черно-желтый пес, сдержанно и послушно шагавший у его ноги, вдруг ни с того ни с сего гавкнул во весь голос, вскочил на задние лапы, а передние лапы положил хозяину на плечо и лизнул его в щеку розовым длинным языком.

— Надо же! — восхитился Колька.

3

Меня вызвали к директору прямо с урока, с истории.

Недоумевая, зачем бы это, я подошел к высокой двери, постучал, вошел. И остолбенел.

Вот тебя вызывают к директору, ты стучишься,ходишь в знакомый кабинет. Директор восседает за своим директорским письменным столом. А рядом, в кресле, как ни в чем не бывало сидит Бетховен.

И ты поневоле впадаешь в столбняк.

А Бетховен, не замечая твоего появления, увлеченно рассказывает директору:

— ...ему нельзя было поручать пенальти — он очень волновался. И чересчур молод. Уж вы мне поверьте: одиннадцатиметровый должны бить старики. Но этот мяч — заложил он его — оказался бы девятнадцатым, и он стал бы лучшим бомбардиром сезона. Команда благородно пожертвовала ему удар. Одиннадцать метров — верно! При ничейном счете!.. Но он, конечно же, волновался. И отдал мяч прямо в руки Яшину...

Владимир Константинович слушал эту речь почти-тельно, но несколько рассеянно. Во-первых, как я знаю, наш директор не очень интересовался футболом и, может быть, даже не имел представления, кто такой Яшин. Во-вторых, он в отличие от Бетховена уже заметил, что я стою в дверях.

— Входи, — сказал он и представил меня гостю: — Это Женья Прохоров. Женья, надеюсь...

Да, конечно, он мог вполне надеяться, что я, ученик хорового училища, не осрамлюсь, не явлю своего невежества. Что я знаю композиторов, знаю классиков хотя бы по портретам.

А в кресле сидел живой классик.

Еще с порога я узнал это худощавое и бледное лицо. Эти тонкие губы. Эти волосы, ниспадающие на лоб.

И сейчас композитор протягивал мне руку.

— Здравствуйте. Очень рад, — сказал он. — Я слышал вас в концерте. Былина — это неплохо. Да, неплохо...

Я потупился. Я не стал спорить с классиком. Неплохо, конечно.

— Женья,— сказал он, расстегивая «молнию» кожаной папки.— Я написал новую песню. Она называется «Песня-пеленг». Вы знаете, что такое пеленг?

— Да.— Я старательно откашлялся.— Это...

— Вот именно,— подтвердил он.— Это радиосигнал. Постоянный, непрерывный. Когда ночью высоко в небе летит самолет, он должен все время слышать сигнал с Земли, ему нужен пеленг, чтобы не сбиться с курса. Понимаете?

— Да.

— Но здесь, помимо техники, важна символика. Хорошо, если таким пеленгом будет песня. Советская песня. Ее должен петь мальчик. Я хочу, чтобы ее пели вы.

Он протянул мне рукописные нотные листы.

— Попробуем?

Он оглянулся. Но в директорском кабинете не было фортепьяно. В этом кабинете стояла старинная фисгармония.

— Мы можем спуститься в зал,— предложил Владимир Константинович.

— Нет, зачем же.— Композитор быстро подошел к фисгармонии, приподнял крышку.— «Хофберг». Очень мило... Нет, это даже очень интересно.

Низко наклонясь, он разглядывал переключатели регистров. Потом сел, с очевидным удовольствием тронул подошвами тугие педали мехов. Обратился ко мне:

— Так. Вы сумеете с листа?

— Да,— кивнул я, вглядываясь в нотные знаки и расчлененный на слоги текст.

— Попробуем,— повторил он.

Задыхались мехи старинной фисгармонии.

Медленно вращалась бобина, как бы с неохотой и скарденностью уступая витки коричневой ленты другой, соседней бобине.

Динамики выдавали мощный и чистый звук.

Антенны,
антенны,
антенны,
Вы слышите голос Земли.
Антен,
Антен,
Антен...

Я слушал свой голос. И едва узнавал его. Наверное, и самый чуткий микрофон и самая дотошная запись все же чуточку меняют натуральное звучание голоса. Однако голос этот мне нравился чрезвычайно. И нравилась песня. Нравился сложенный, гибкий аккомпанемент оркестра — ведь я еще никогда не пел под такой аккомпанемент. И еще никогда в своей жизни не оказывался в такой обстановке...

Вот как все было. Через два дня после того, как училище посетил композитор, мне велели явиться в Дом звукозаписи. Опять же сняли с уроков (во жизни!), объяснили подробно, как добираться.

А добираться туда было не очень сложно. Выйти из училища, свернуть за угол, перебежать Садовое кольцо, затем чуть левее, потом чуть правее — и, пожалуйста, улица Качалова, Дом звукозаписи. Совсем рядом. Вообще наше хоровое училище на редкость удачно расположено. Тут все рядом, все в двух шагах.

В назначенный час я подошел к дому на улице Качалова. В бюро пропусков отыскивали мою фамилию в длинном списке и выписали мне пропуск.

У двери стоял важный и строгий милиционер. Он взял из моих рук этот пропуск, почитал, повертел, глянул на меня подозрительно, однако возражать не осмелился — ведь пропуск был в полном поряд-

ке, с печатью,— и пропустил меня. Даже честь отдал. Ну, то-то.

Я очутился в огромном зале, где кишмя кишел народ.

Бежали сотрудники, на ходу читая бумаги. Шли скрипачи и флейтисты с изящными футлярами в руках. Контрабасист, согнувшись в три погибели, нес на спине свой инструмент, будто небольшого китенка. Расхаживали женщины в длинных, до полу, белых платьях, наверное, из хора, и я несколько удивился, зачем же они так оделись, если по радио их все равно никто не увидит, а только услышат; впрочем, униформа как-то дисциплинирует, это я знал по себе.

Мне было велено явиться к двенадцати часам в первую студию. И я заявился туда аккуратно без пяти двенадцать.

Студия тоже была огромная. В ней сидел целый симфонический оркестр, весело и сумбурно настроиваясь на зычное «ля» фагота.

У пульта уже стоял дирижер. Он встретил меня очень ласково, погладил по головке, спросил, как звать. Я же его не спросил, постеснялся.

Прямо напротив оркестра в стене было широкое окно с двойным стеклом. И там виднелась лысая голова, оседланная наушниками.

— Начнем? Даю пробу,— прогрехотал голос из динамика, висящего над этим окном, и я понял, что команда выдана оттуда, из застекленной рубки, и что подал ее лысый человек с наушниками, звукооператор...

Не стану пересказывать дальнейшие подробности. В общем, я благополучно спел «Песню-пеленг». И сейчас в аппаратной медленно вращалась бобина:

Антен,
Антен,
Антен...

Мы слушали запись: дирижер, лысый звукооператор и я.

Отзвучал последний такт.

— Ну? — обратился к звукооператору дирижер.

— Нормально,— сказал тот.

— Да, вроде бы получилось,— согласился дирижер. — А что ты скажешь, Женья? Тебе самому нравится?

Я весь съежился от смущения и не знал, что ответить. Ведь это я пел, а не кто-нибудь другой. Не мог же я сам себя расхваливать. Тем более что мне самому до чертиков понравилось, как я спел. Я попытался изобразить на своем лице безразличие, однако вместо этого губы мои предательски расплылись в счастливой улыбке, и я признался:

— Да.

К счастью, в этот момент дверь аппаратной распахнулась, и вошли двое. Мужчина и женщина.

— Здравствуйте,— сказал мужчина, и, еще не успев разглядеть лица, я вздрогнул, услышав голос. Это был голос Лемешева.

И это был Лемешев. Я тотчас узнал его. Сперва по голосу: такой уж это особенный и неповторимый голос, что его сразу узнаешь, пусть даже по одному лишь «здравствуйте». А потом узнал и в лицо. Хотя мне ни разу не выпадало счастья своими глазами видеть Лемешева в концерте либо оперном спектакле, зато я сто раз видел кинофильм «Музыкальная история», где Лемешев играет шофера Петю Говоркова. Играет и поет. Мне очень нравится этот фильм, хотя его сделали давным-давно, еще до войны, еще до моего рождения. С тех пор прошло много лет. И, конечно, теперь Лемешев выглядел старше, чем в ту пору, когда он играл шофера Петю Говоркова. Но был все так же красив.

Дирижер устремился навстречу вошедшим. Звукооператор почтительно приподнялся со стула. Лемешев кивнул мне, а его спутница погладила меня по головке. Меня сегодня все почему-то гладили по головке.

Жаль, но я не знаю, кто была спутница Сергея Яковлевича. То есть она была певицей и, как я вскоре убедился, прекрасной певицей. Однако ее фамилии я до сих пор не знаю. А Лемешев называл ее Танечкой.

— Начнем, пожалуй. Да, Танечка?

— Да.

Они втроем направились в студию: Лемешев, Танечка и дирижер.

А мы с лысым звукооператором остались в аппаратурной.

Я, разумеется, понимал, что мне пора уходить, что мне тут делать нечего, что моя песенка спета — и до свидания. Но мне ужас до чего хотелось остаться.

— Можно, я посижу? — спросил я звукооператора.

— Что ж, посиди, — сказал он и, взглянув на меня, повторил с назидательной интонацией: — Посиди.

За широким двойным окном мне был виден просторный зал, был виден симфонический оркестр, в котором, кажется, прибыло музыкантов. Был виден дирижерский пульт. Были видны журавли-микрофоны. Был виден попи́тр, у которого встали рядом Лемешев и Танечка. Сергей Яковлевич, церемонно раскланявшись перед дамой, снял пиджак, повесил его на спинку стула, оттянул книзу узел галстука, распахнул посвободней ворот рубашки. Все это он проделал с видом человека, собирающегося взяться за тяжелую работу. Вот разве лишь рукава не засучил.

— Яков Насонович, пойдем без пробы, — раздался в динамике голос дирижера. — Мы берем за основу вчерашнюю третью репетицию.

— Хорошо. Я вас понял, — ответил звукооператор. Дирижер взметнул палочку.

Яков Насонович нажал кнопку.

Закружилась бобина. Это новый моток или тот же самый, на который чуть раньше записали «Песню-пеленг»? Там еще оставалось много ленты... И отчего это меня записали после первой же репетиции, а тут, оказывается, было целых три, да еще вчера?..

Я приготовился слушать.

Но в аппаратурной была полнейшая тишина. А между тем я видел сквозь двойное окно плавные взмахи дирижерской палочки. И скрипачи, прильнув щеками к декам, широко расставя колени, склонив головы, глядели в ноты. И пальцы арфисток касались струн.

Но я ничего не слышал. Как если бы мне зажали уши. Как если бы это было немое кино: люди бегают, разевают в крике рот, стреляют из пистолетов — а ни гу-гу...

Я заерзал на стуле.

Яков Насонович, не поворачивая головы, включил в гнездо еще один шнур и протянул мне наушники, запасные, должно быть, — сам-то он был тоже в наушниках.

И как раз вовремя. Потому что уже кончилось оркестровое вступление. И следом вступил женский — нет, девичий нежный голос:

О-о, милый мой, ты песни соловьиной
Так испугался?..

А мужской — нет, юношеский голос — ответил:

То-о не соловей...

Это были Ромео и Джульетта.

Она, Джульетта, верила своего друга, своего

возлюбленного, что еще не утро, что еще далеко до утра, что это всего лишь соловей, ночной певун, сыплет трели в саду, на гранатном дереве... Нет, еще не утро. Еще не час прощаться.

Но Ромео лучше своей подружки различал птичьи голоса. Он слышал, что это не соловей, а жаворонок. И если жаворонок — то, значит, уже утро. Свиданию конец. Пора расставаться. Иначе ему, Ромео, не сносить головы.

Это был Чайковский. Дуэт Ромео и Джульетты. Не из оперы, а просто так, сам по себе дуэт. Я хорошо знал этот дуэт. Я его много раз слышал по радио. И, кроме упоения музыкой, восхищался еще и другим: тем, что Чайковский взял из всей этой знаменитой истории лишь одну сцену — свидание. И даже не свидание, а расставание. Признаюсь откровенно: я еще не успел прочесть самой книжки «Ромео и Джульетта». Сто раз собирался, но так и не прочел. Но я в общих чертах знал, какое там содержание. Про Монтеки, про Капулетти. И про то, что там под конец все друг дружку перережут, поотравляют — известное дело, Шекспир...

И я испытывал чувство благодарности к Петру Ильичу Чайковскому за то, что он оставил в стороне все эти огорчительные события, а взял самое главное и самое прекрасное — любовь. Любовь Ромео и Джульетты.

Вот сейчас они вроде бы поменяются ролями. Уже сама Джульетта, убедившись, что настало утро, что и впрямь это не соловей, а жаворонок, станет умолять Ромео уйти поскорее. И тут уж он будет обманывать ее, уверять: нет, то соловей...

О миг блаженный,
Остановись,
А ты, ночь любви, скрой
И приюти под сень твою...

Два голоса. Они неразделимы. В созвучии. В мольбе.

Мне очень нравится голос Танечки. Прелестный голос. Однако для меня важнее другой голос — голос Ромео, голос Лемешева. Вот он. Я жадно ловлю его интонации, его движения. И обмираю от каждой ноты. Потому что это несказанное чудо — лемешевский голос, чудо из чудес.

И это уже прощание...

Они прощаются, Ромео и Джульетта.

Прости,
Прости-и...

Все.

Яков Насонович снимает наушники и отваливается к спинке стула. Отирает пот с лысины. Вид у него такой усталый, будто бы только что сам он и дирижировал оркестром, и играл на всех без исключения инструментах, и пел партию Ромео, и пел партию Джульетты. И даже сочинил эту музыку.

Я тоже снимаю наушники.

В дверях появляются улыбающаяся Танечка, спокойный дирижер, озабоченный Лемешев.

Они усаживаются и ждут, покада Яков Насонович перемотает обратную ленту. Готово. Щелчок. Пауза. И снова щелчок.

Оркестр. Вступление.

А ведь и я немного устал. Изрядно наволновался, покада меня самого записывали. Потом — это неожиданное появление знаменитого артиста. И музыка Чайковского, которую невозможно слушать равнодушно, не отзываясь на нее всем сердцем...

Пора, одно мгновение
Мне будет стоять жизни...

Нет, я очень устал. Я уже не способен улавливать ни голосоведение, ни оркестровые аккорды.

Какие-то посторонние и странные мысли лезут мне в голову. Что вот, хотя им в конце концов и

плоховато пришлось, Ромео и Джульетте, а всё же досталось им обоим это счастливое, это отчаянное, это единственное свидание, которое может быть, и стоит жизни... А ведь Джульетте, этой девчонке, как я слышал, всего-то и было четырнадцать лет. Что ж, и мне вот скоро уже стукнет тринадцать. Нет, я, конечно, еще и мечтать не смею о таких вот исключительных страстях. Я вообще не очень-то уверен, что меня, Женю Прохорова, может кто-нибудь полюбить — хотя бы и ненадолго. Но вот сам я, наверное, мог бы кого-нибудь полюбить. Не знаю кого, но, мне кажется, мог бы. Не хуже этого Ромео!..

Пусть будет так,
Умру я,
Но сладко мне
И умереть по твоему желанию...

— Нет-нет, остановите. Стоп!..

Лемешев, вскочив со стула, протестующе размахивал руками.

— Это не годится, ни-ку-да не годится!

— Ну что вы, Сергей Яковлевич... — Дирижер, в свою очередь, широко развел руки.

— Сергей Яковлевич... — прижала руки к груди Танечка.

— Мгм, — глухо кашлянул звукооператор и, отогнув рукав белого халата, посмотрел на часы. Наверное, ему пора было обедать.

— Не годится. Сначала! Всё сначала!..

И, не дожидаясь своих коллег, Лемешев решительно направился к двери.

Танечка и дирижер, обменявшись вздохами, покорно двинулись следом. Через несколько секунд я уже увидел их снова за широким двойным окном, в студии. И Лемешев снова пристраивал свой пиджак на спинку стула.

— До свиданья, — сказал я хозяину аппаратной Якову Насоновичу. — Спасибо.

— Пожалуйста, — ответил Яков Насонович. — До свиданья.

В глазах его была едва скрываемая насмешка: вот, мол, дружок, тебе и одной репетиции хватило, а товарищу Лемешеву — четырех мало...

Просто злятся, небось, что не дали пообедать. Так я еще тоже не обедал.

— Как убежал?

Убежал. Колька Бирюков.

— Как?

— Убежал — и всё.

Эта ошарашивающая новость уже была известна всем, когда я вернулся из Дома звукозаписи. Всем, кроме меня.

В общежитии ребята сгрудились у кровати, точно такой же, как и еще добрая сотня в этой огромной комнате. У койки, на которой до сего дня спал Николай Иванович Бирюков. Подле койки была тумбочка, и кто-то догадался туда заглянуть, раскрыв дверцу да так и оставил ее распахнутой, для наглядности: тумбочка была пуста...

Среди бела дня исчез Колька Бирюков.

— А Владимир Константинович знает?

— Знает. Он приходил сюда. И в милицию уже звонил, чтоб искали.

Все были заметно встревожены и подавлены неожиданным происшествием.

Однако я сразу почувствовал и нечто другое: робкое восхищение и даже зависть. Таинственный, дерзкий побег... Какой же мальчишка не почувствует в этом соблазна?

— Интересно, куда он? — расширив глаза, спросил Маратик Алиев. — Может быть, на Кавказ? В горы?

— На кой черт ему твой Кавказ? — Витюха Тита-

ренко презрительно сплюнул. — Скажи еще — на курорт... Я вот думаю, что он будет в Конго пробиваться. К Лумумбе. Воевать против белых.

— Так ведь он, Колька, сам белый!

— Что?.. — возмущился Витюха. — Он не белый, а красный. Понимаете? Тут не от кожи зависит...

Мы все замолкли, потрясенные этой догадкой Витюхи.

— Не пробьется, — покачал головой Гошка Вяземский, который, узнав о происшествии, тоже явился в общежитие, хотя сам-то он был приходящий. — На границе поймают. Там всех ловят. А вообще ему и до границы не добраться: как же он поедет без денег?..

Я закусил губу.

Только сейчас я все понял. В совершенно другом и новом свете предстало вдруг предо мной наше с Колькой недавнее посещение Птичьего рынка. «Давай-ка, Прохоров, закатимся...» «Учиться?.. А зачем?» «Мне не нравится, когда маленьких пацанов обманывают...» Да, все это он говорил тогда. Но еще чего-то недоговаривал. И смотрел на меня с насмешливым сожалением, сверху вниз, как на младенца... Значит, он уже тогда собирался убежать? А может быть, он хотел, чтобы я убежал вместе с ним, подсказывал мне это, только прямо не решился сказать? Да, конечно... Вот зачем он показывал мне собаку. Он ведь знал, что меня спасла собака, что я мечтаю заиметь пса. И подходил к тому парню, приценялся к его овчарке. «Думаешь, я купить не могу? А вот и могу». И показал мне толстую пачку денег... Вот оно что!

Я незаметно потянул Гошку Вяземского за рукав, чуть скосил глаза: выйдем, мол, туда, в коридор. Мы вышли.

— Ну, чего? — спросил Гошка.

Но я отвел его подальше, к умывалке, и там сказал:

— Слушай, Гошка... только ты никому не проболтайся, ладно?

— Ну ладно.

— У него были деньги. Я сам видел... Много.

— Откуда?

— Со стипендии. Он целый год копил. Понимаешь? Значит, он уже тогда решил...

Гошка отвернулся, помолчал, обдумывая мое сообщение. А потом неожиданно резко, жестко сказал:

— Ну и правильно решил.

— Как? — оторопел я. — Почему... правильно?

— Так.

В глазах Гошки Вяземского я уловил то же самое обидное высокомерие, с каким смотрел на меня тогда, на Птичьем рынке, мой таинственно исчезнувший друг.

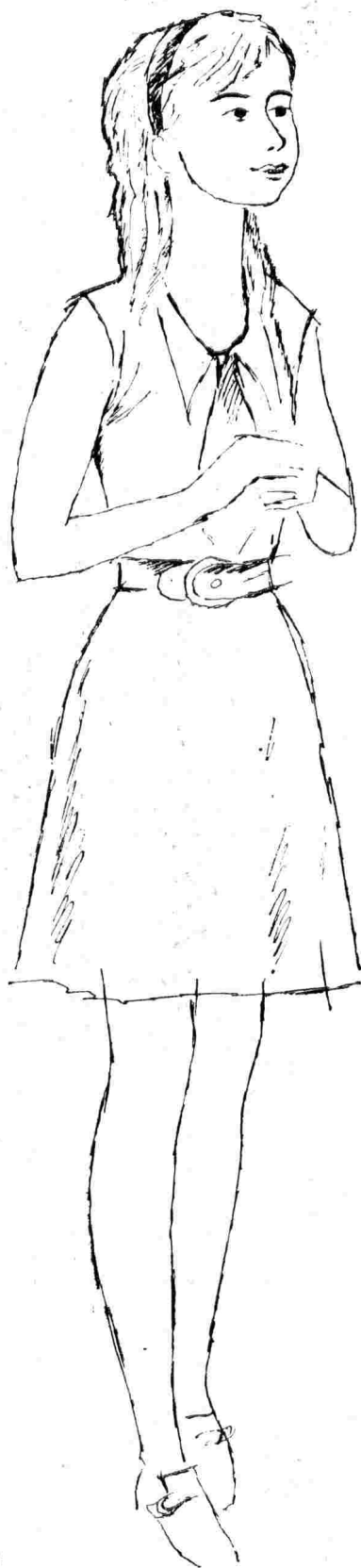
— Я бы и сам сбежал, да нельзя. У меня тут родители. С ума посходят...

Хмурое Гошкино лицо вдруг оживилось, он улыбнулся, положил мне руку на плечо.

— Да, вот какое дело...

— **А**а, вот какое дело, — сказал Гошка Вяземский. — Моя сестрица Майка велела пригласить тебя на день рождения. Она, понимаешь ли, в тебя влюбилась... Ду-ура.

Но, как я теперь припоминаю, разговор этот был уже позднее, ближе к лету. То есть совершенно точно, в мае. Именно в мае, поскольку я тогда немного даже удивился такому совпадению: что у девочки,



которую зовут Майя, день рождения в месяце мае. После, однако, выяснилось, что вовсе наоборот: Майей назвали оттого, что родилась в мае.

Словом, Майя. Та самая девчонка, которая осрамила меня перед всем Большим залом консерватории своими цветочками, своей запиской. В записке был номер телефона. Но я, конечно, звонить не стал. Я на нее страшно разозлился.

Но вот прошло несколько месяцев, и как-то моя злость сама по себе улетучилась. И я даже не стал отнекиваться, когда Гошка передал мне это приглашение: дескать, приходи на день рождения.

— Ладно, — кивнул я. — Приду. А ты где живешь?

— Да здесь, рядом. На Беговой.

У нас тут все, как нарочно, оказывалось рядом.

— В шесть часов, — сказал Гошка.

— Ладно.

Когда люди собираются идти на день рождения, перед ними возникают обычно два вопроса: что подарить и во что одеться?

Первый вопрос меня не мучил.

Спустя месяц или два после того, как я побывал в Доме звукозаписи, к нам в училище снова наведался тот самый композитор, меня опять вызвали в директорский кабинет, и там композитор собственноручно преподнес мне три новенькие грампластинки в цветастых бумажных конвертах. Одну из этих пластинок он вынул из чехла, и я увидел на круглой наклейке: «Песня-пеленг». Фамилия композитора. А пониже: «Поет Женя Прохоров». Он чуть повыше, я чуть пониже, но все равно, почти рядом, на одной и той же граммофонной пластинке...

Композитор достал из кармана авторучку, подумал немного, написал поперек наклейки: «Жене Прохорову — с добрыми пожеланиями». И размашистым росчерком.

Конечно же, эту пластинку с дарственной надписью я решил хранить до конца своих дней, никогда и ни за что не касаться ее иглой. Тут ведь не сама пластинка бесценна, а надпись.

Вторую пластинку я тогда же, забравшись в учительскую, раз сто подряд прокрутил на проигрывателе. Ее-то я и кручу до сих пор.

У меня, таким образом, оставалась третья, совсем нетронутая пластинка в очень красивом конверте. Чем не подарок?

И вот, собравшись на именины, я взял эту, третью пластинку и, когда в общежитии никого не было, вывел на этикетке: «Майе Вяземской — с добрыми пожеланиями». И тоже лихо расписался.

Блеск!

Гораздо тоскливей и затруднительней обстояло дело со вторым вопросом. Во что одеться? Тут я впервые с какой-то особой остротой почувствовал, что это довольно паршивое положение для человека — жить на казенных харчах и носить казенную одежду. Это значит все иметь и в то же время как бы ничего не иметь. Вот я и сыт, и одет, и обут. Чего еще надо? Ничего не надо. Но тут тебя вдруг приглашают в чужой дом на именины. А в чем идти? Я бы мог, конечно, выпросить у нянечек на один вечер свой концертный костюм, что заперт в шкафу. Может, и разрешили бы. Но я в глубине души понимал, что идти в этом концертном костюме было бы так же нелепо, как если бы, скажем, какого-нибудь дирижера пригласили на именины, а он возьми и заявились туда во фраке, пикейной жилетке, лакированных туфлях, еще и палочка в руке... Срамота, конечно.

Оставалось идти в гости в своей повседневной обычной суконной мышинной форменной школьной одежде: рукава потерты, брюки пузыряются в коленях. А там, в гостях, конечно же, соберутся всякие

маменькины да папенькины сынки в моднющих костюмчиках, в заграничных свитерах, в каких-нибудь мокасинах. И будут украдкой посмеиваться надо мной, гады...

Я до того расстроился, когда все это себе представил, что уж было решил не идти. Начхать мне на них на всех вместе с именинницей. Зря вот только пластинку уже измарал чернилами.

Но тут меня вдруг обуяла гордость. И не простая человеческая гордость, а особого порядка — профессиональная артистическая гордость. Я припомнил, что все мало-мальски приличные и талантливые музыканты, о которых мне доводилось читать либо слышать, — все они ходили в потертых штанах, грызли сухари, ютились по чердакам, не имели ни копейки за душой, и все же у них хватало достоинства и гордости, чтобы смотреть свысока на всяких расфуфыренных хлыщей, и, более того, эти хлыщи как правило, сами перед ними заискивали...

Убедив себя в этом, я до блеска надраил ботинки, взял пластинку под мышку и отправился на Беговую.

И там опасениям моим и всяким душевным терзаниям суждено было развеяться, едва я переступил порог дома Вяземских.

На потертые мои локти и пузырящиеся колени никто не обратил внимания.

Подарок мой был принят именинницей с таким нескрываемым восторгом, что было ясно: подари ей сегодня кто-нибудь драгоценные черевички, они бы не имели никакой цены в сравнении с обыкновенной граммофонной пластинкой Апрелевского завода.

Именинный вечер шел по такой программе: танцы, потом ужин, затем снова танцы.

Ужин я пропускаю — ну ужин как ужин. Танцы.

С танцами дело обстояло довольно затруднительно. Потому что нас, парней, то есть мальчиков, было десятка полтора, включая меня и Гошку. А девчонок всего лишь три: именинница да еще две — Страшок и Плюшка. То есть их, конечно, как-то иначе звали, но я теперь уже позабыл их настоящие имена, а запомнил только по виду: Страшок и Плюшка. Это уж точно, можете мне поверить — жуткие уродины.

Позднее, когда у нас с Майкой началась безумная любовь, я ее между прочим спросил: отчего у нее на именинах было столько парней, а девчонок всего лишь две — и то Страшок да Плюшка? И Майка прямо и честно сказала мне, что она вообще ненавидит и терпеть не может девчонок. Что она всегда дружила только с мальчишками и вся эта чертова дюжина симпатичных ребят, которых она пригласила на именины, не считая меня и Гошки, — это ее одноклассники, она с ними дружила попеременно на разных ступенях начальной и неполной средней школы. Все они, конечно, по сей день в нее влюблены, но ей самой давным-давно надоело. А насчет девчонок Майка заверила меня, что Страшок и Плюшка — единственно стоящие девчонки в классе, одна председатель совета отряда, другая редактор стенгазеты, и она лишь для этих двух делает исключение в своей непримиримости к женскому роду.

Впрочем, председателю и редактору, Страшку и Плюшке, на этих именинах вовсе не приходилось сетовать на свою злосчастную судьбу. Они были буквально нарасхват.

Потому что именинница, Майка Вяземская, танцевала только со мной.

Танцевали мы всякую муру: танго, фокстрот.

Ведь тогда еще не было твиста. Сейчас, конечно,



даже трудно вообразить, невозможно себе представить, что вот совсем недавно люди обходились без твиста, не имели о нем никакого понятия и даже не знали, что стоят на пороге этого открытия, что пройдут два-три года — и вдруг объявится твист, и все будут танцевать этот замечательный танец, удивляясь, как же это прежде не додумались до такой пустяковины: выворачивать подошвы и сучить ногами?..

Но тогда еще не додумались. И мы с Майкой танцевали разную муру. Танго. И при этом смотрели друг на дружку. Ведь мы впервые видели друг дружку вблизи.

Уж не знаю, как я ей показался при ближайшем рассмотрении. Должно быть, показался. Иначе она бы не стала танцевать все танцы подряд со мной.

Что же касается самой этой Майки, то при ближайшем рассмотрении она показалась мне очень красивой.

Вот я хотел бы пересказать ее красоту и не могу. Потому что пересказывать красоту так же невозможно, как и музыку. Неужели, если я расскажу, какие у нее были волосы, какие глаза, какой нос, какой рот, тут же всяк поймет и увидит ее, Майку? Никто ничего не поймет, не увидит. И вот тому прямое доказательство: Майка Вяземская была точной копией своего брата — Гошки Вяземского. Они были погодки, то есть Майка была годом младше моего товарища, а стало быть, меня тоже. Все у них было одинаковым: волосы, глаза, носы, рты. Полная одинаковость, как две капли воды. И вот поди ж ты: у Гошки Вяземского была обыкновеннейшая физиономия, по которой можно было судить лишь о том, что его, Гошку, родители заставляют каждый день глотать поливитамины и держат в доме хорошее мыло. А вот Майка Вяземская, его сестра, его копия — она была красавица. Честное слово.

И уж вовсе напрасно братец Гошка называл ее душой. Она, эта Майка, оказалась не только красавицей, но и умницей к тому же. Это сразу выяснилось из нашего разговора. Мы ведь с нею не только танцевали, но еще и беседовали при этом.

Она сказала:

— Знаешь, ты тогда так хорошо пел... ну просто замечательно пел!

Я не стал возражать.

— Знаешь, — сказала она, — у тебя вообще какой-то особенный голос. Я еще никогда не слышала такого голоса.

Я не стал лезть в спор. Не слышала, значит, и вправду не слышала.

— И это не только я так считаю, — продолжала настаивать Майка, хотя я ничем не проявлял своего несогласия. — Так все считают. И мама с папой. И наши знакомые. Все говорят, что у тебя исключительные данные. Понимаешь?

Я кивнул. Ну, раз все говорят...

Нет, этот Гошка возводил напраслину на свою сестрицу, будто она дура. Во всяком случае, он ошибался. Теперь я имел возможность лично убедиться, что Майка очень умная девочка. И было приятно знать, что родители ее, мама с папой, тоже очень умные люди. А также их близкие знакомые.

Меня, однако, все подмывало задать Майке один вопрос. Я уже давно его обдумывал и давно уже собирался задать. Я хотел ее спросить, откуда она могла знать тогда, в тот вечер, когда я дебютировал в Большом зале консерватории, когда она меня впервые увидела и услышала, откуда она могла заранее знать, что ей очень понравится мой голос и что сам я ей тоже понравлюсь? Ведь она не случайно явилась туда с цветочками?.. Неужели она сумела еще до этого концерта разглядеть меня и выделить среди

общего хора? Или же она влюбилась в меня заочно, со слов своего брата Гошки Вяземского?..

Я как раз собирался задать Майке этот вопрос, но тут в комнату, где мы танцевали, вошла Вяземская-мама, всплеснула руками, ужаснулась:

— Господи, и как вам не надоест? Танцы, танцы... Одно и то же. Ну хотя бы поиграли во что-нибудь!

— А во что? — осведомилась именинница. — В карты?

— В футбол? — спросил Гошка.

— При чем здесь футбол? — возмутилась мама. — Есть же человеческие игры для подобных случаев. Когда я была такая, как вы, мы играли, например, в фанты...

— Играем в фанты! — закричала Майка.

— По обычаю предков, — поддержал Гошка.

Он принес из прихожей синюю велюровую шляпу. И в эту бездонную шляпу мы стали складывать фанты — разные штучки, у кого что нашлось: один положил шариковую ручку, другой — носовой платок, Плюшка сняла с руки и положила в шляпу часики, у Страшка оказалась брошка, а я лично положил в шляпу расческу — ничего другого у меня с собой не было, не люблю таскать в карманах барахло.

Майка уселась на стул, и ей завязали глаза полотенцем.

А Гошка, встав за ее спиной, начал вытаскивать поочередно фанты из шляпы.

— Что должен сделать владелец этого фанта?

— Прокукарекать, — решительно приказала Майка. Кукарекать досталось Страшку. Она немного надулась, покраснела — видно, ей не очень понравилось это задание. Все же председатель совета отряда. Да что подлаешь? Такова судьба. Таков неумолимый закон игры. Закукарекаешь.

Она приподнялась на цыпочках:

— Ку-ка-ре-ку-у-у!..

Все покатались со смеху. Я тоже. И Гошка. И Плюшка. И мама Вяземская. Все без исключения.

Кроме Майки, которая сидела с завязанными глазами в суровой позе судьи.

— А этот фант? — спросил Гошка.

— Сделать стойку.

С дивана поднялся толстый парень, самый толстый и неуклюжий из этих симпатичных ребят, Майкиных одноклассников. Он беспомощно развел руками.

— Но... я не умею.

— Делай, как приказано! — потребовал Гошка. — Начальству виднее.

Увален, пытаясь оперся руками об пол и попытаться подбросить вверх ноги. Однако тяжелые пятки тотчас вернулись в исходное положение. Он сделал вторую попытку. Третью. Он брыкался, как бычок, но в конце концов просто не удержал равновесия и свалился на бок.

И опять все смеялись.

— Что должен сделать этот фант? — торжественно спросил Гошка. При этом мне показалось, что он украдкой наступил на Майкину туфлю.

А Майка столь же торжественно вынесла приговор: — Спеть!

У меня екнуло сердце. Я предположил, что случай сжалился надо мной и петь придется мне. Именно петь, а не кукарекать и не делать стойку. Что ж, я бы с удовольствием спел. А вон и пианино стоит. Наверное, Гошка смог бы мне проаккомпанировать... Но Гошка Вяземский держал в поднятой руке не мою пластмассовую расческу, а чью-то шариковую ручку.

И уже поднялся с места владелец этого предмета, озадаченно почесал макушку, набычился, затаил гнусаво:

Сам я вятский уроженец.
Много горюшка видал-повидал...

И в это самое мгновение именинница сорвала с глаз полотенце, вскочила, извернулась и вытянула Гошку этим полотенцем по шее.

Я уж после дознался, что Майка, оказывается, когда ей братец завязывал глаза, успела с ним договориться шепотом, чтобы он, когда очередь дойдет до моего фанта, наступил ей на ногу — незаметно и не слишком больно. Она, Майка, тоже хотела, чтобы петь досталось мне. Ей хотелось еще раз послушать, как я пою. И для этого она даже готова была нарушить железные правила игры, пойти на хитрость, на обман. Впоследствии она сама мне в этом призналась.

Но Гошка ради смеха решил подшутить над ней. Нарочно не вовремя наступил. И за то схлопотал по шее.

Лицо Майки пылало гневом.

— Это дурацкая игра! — заявила она. — И очень правильно, что в нее теперь никто не играет! Люди должны делать то, что умеют, а не то, что не умеют...

Нет, она была на редкость умная девочка, эта Майка. И очень красивая — даже сейчас, когда сердилась.

Обиженная мама, вздохнув, удалилась.

Майка, подбежав к проигрывателю, поставила новую пластинку. Мы опять с ней пошли танцевать. И опять я собрался было с духом, чтобы спросить Майку: откуда же она тогда, заранее, еще до концерта, могла знать? То есть почему она туда заявила с цветочками?..

Но мои ноги отчего-то спотыкались в танце, а слух тревожила странная невнятица музыки, под которую мы танцевали. Я издали посмотрел на вертящуюся пластинку.

— Что, тебе не нравится? — озабочилась Майка. — Неужели не нравится? А я это очень люблю...

— Нет, — сказал я, слегка смутившись. — Мне нравится. Только... наверное, это нужно на тридцать три оборота. А там семьдесят восемь.

— Да-а?.. — Майка испуганно округлила глаза. — Значит, я забыла переключить. — И вдруг рассмеялась: — Ну и пусть. Наплевать.

— Наплевать, — согласился я.

— Пускай они танцуют. А мы убежим.

— Куда?

Она потянула меня за рукав. Мы скользнули в дверь. Потом, миновав коридор, в другую дверь. А потом в третью дверь. И очутились на балконе, высоко повисшем над Москвой.

Как я говорил, был месяц май. Улица пахла горечью распускающихся почек и бензином. Город уже светился огнями. Я сразу же нашел знакомую громаду на площади Восстания — отсюда до нее, казалось, можно было дотянуться рукой. А чуть дальше — высотка на Смоленской площади. Гостиница «Украина». Университет. Ну все как на ладшке.

А сразу у балкона, чуть наискосок и правее, высилась колоннада, подсвеченная прожекторами. Над ней, вскинув копыта, летела четверка бронзовых коней. Возничий натягивал поводья.

Если бы к этому времени я не был старым москвичом, то, несомненно, подумал бы, что это Большой театр. Но я уже был старым москвичом. И знал, что это не. Большой театр, а, наоборот, бега, ипподром. Я, правда, никогда не бывал на ипподроме, но имел о нем некоторое представление. Мне Колька Бирюков рассказывал, что там, угадав лошадку, можно запросто выиграть кучу денег. Сам-то он, Колька, тоже не бывал на бегах, однако слышал об этом от знающих людей. Там можно было не только выиграть кучу денег, но и проиграть последние штаны.

А глянешь снаружи — Большой театр.

Даже мне, хотя я и был старым москвичом, сейчас

вдруг захотелось представить себе, что это никакой не ипподром, не бега, а именно Большой театр. Что это знаменитая на весь мир квадрига Большого театра.

Да, Большой театр. И мне до него отсюда рукой подать.

Мы стояли с Майкой на балконе и молчали.

Наконец-то у меня имелась возможность осуществить свое намерение. Задать этот глодавший меня вопрос: откуда она, Майка, еще тогда, еще до концерта, еще до нашей встречи, могла знать? Почему она заранее припасла эти белые с желтым цветочки?..

Вот сейчас возьму и спрошу. Соберусь с духом и спрошу.

Но я так и не собрался с духом, не спросил.

Откровенно говоря, я побоялся спрашивать. Мало ли что она могла мне ответить! Вдруг совсем не то, чего бы мне хотелось.

А мы стояли на балконе, молчали, и было очень хорошо. Безо всяких излишних вопросов.

Запряженная четверкой колесница неслась в небе.

Между прочим, однажды нас возили всем училищем в Большой театр на утренник, слушать оперу. И там — в самом конце, во время финального хора — на сцену выехали взаправдашние лошади. Честное слово.

5

Я получил три письма. И все в один день.

У нас в училище при входе, подле лестницы, есть такой небольшой столик, за которым сидит Полина Романовна, старушка — не сторожиха, не секретарша, а как бы привратница, хотя такой должности теперь и не существует, но дело в том, что Полина Романовна сидит там еще с тех пор, когда такая должность существовала и это было даже правилом, чтобы при входе сидела какая-нибудь старушка, вязала на спицах и справлялась у входящих: кто, мол, зачем и кого нужно?

Для окончательной ясности приведу такой пример: над входной дверью нашего старинного дома, о котором я давно собираюсь рассказать да все откладываю, изнутри, над самой дверью висит медный колокол. Когда-то, наверное, он был нужен. С улицы дергали за шнур, и этот колокол звонил, возвещая, что явился гость. Такой был порядок. Теперь этот древний порядок исчез, на смену ему пришло электричество. Однако медный колокол все висит над дверью. И, слава богу, до сих пор никому не пришлось в голову снять его оттуда и сдать в палатку утильсырья. Висит — пускай, висит. Кому он мешает?

Вот точно так же и с нашей привратницей Полиной Романовной. Она там сидит за своим столиком, вяжет на спицах, спрашивает незнакомых людей, кто, мол, и зачем, наблюдает, чтобы не шибко баловались на лестнице. И еще, когда приходит свежая почта, она раскладывает на своем столике письма — поучайте, кому есть, но сперва спляшите. А некоторым ребятам даже приходят из дому денежные переводы: тут уж и сам запляшешь!

Только лично меня этот столик мало интересовал. Мне неоткуда было ждать писем и тем паче денежных переводов. Ну и ладно. Я на этот столик с письмами никогда и не взглядывал.

И вот в один прекрасный день влетаю я в двери, на ходу говорю старушке «здрасьте», разгоняюсь к лестнице, как вдруг Полина Романовна окликает меня:

— Женя.

— Что?

- Тебе почта.
- Какая почта?
- Письма. Три письма.

Я возвращаюсь в некотором недоумении к століку. Смотрю: действительно, на століке лежат три письма, и все мне. Так и написано: «Прохорову Женя». Я, конечно, сразу же начинаю соображать, чьи это такие веселые шутки? Будто я не знаю нашего брата... Однако на конвертах наклеены настоящие марки и сверх того отштемпелеваны по всем правилам.

Вот это да. Сроду я не получал никаких писем и, откровенно говоря, не больно в них нуждался. И на тебе — сразу три.

Все же меня не покидало подозрение, что это шутки нашенских. Вскроешь конверт, а там и пусто. Либо череп с костями. Или еще что.

Поэтому на уроке я не стал распечатывать эти письма, не хотелось потешать публику. И лишь вечером прочел их в одном укромном уголке.

Привожу их целиком и полностью. Они у меня до сих пор хранятся.

Первое письмо.

Дорогой Женя!

С большой радостью следим мы за твоими успехами. Недавно Роза Михайловна сказала, что по радио передавали песню в твоём исполнении. Никто из нас, к сожалению, не слышал этой передачи. Тогда мы послали коллективное письмо в Комитет радиофикации с просьбой еще раз исполнить эту песню. Нам сообщили, что заявка будет удовлетворена семнадцатого в 10.30. К этому времени все собрались в зале, включили репродуктор. Наконец, диктор объявляет: «А сейчас по просьбе ребят из Липецкого детского дома будет исполнена «Песня-пеленг». Ее поет воспитанник этого детдома Женя Прохоров». Мы все, застав дыхание, слушали тебя, дорогой Женечка. Потом долго аплодировали. У нас теперь все дети новенькие, ты никого не знаешь, но они теперь тебя знают и очень гордятся тобой.

Мы надеемся, что когда ты станешь настоящим артистом, то приедешь к нам, в свой родной коллектив.

Будь здоров, учись хорошо.

Передай, пожалуйста, мой привет и сердечную благодарность Владимиру Константиновичу.

Твоя Вера Ивановна.

P. S. Большой привет тебе от Розы Михайловны. Сейчас она разучивает с ребятами «Песню-пеленг».

Второе письмо.

Здравствуй, Женя!

Пишет тебе из Липецка Тиунов Саша. Ты меня, наверное, не помнишь — мы были вместе в детдоме, в одной группе. Но я тебя хорошо помню, хотя уже прошло так много лет.

Теперь я учусь в шестом классе, в школе-интернате.

У нас иногда бывают вечера, мы выступаем, потом танцуем под радиолу. Но пластинок у нас мало, поэтому приходится танцевать под что попало. И вот вчера принесли новую пластинку, мы ее завели, и я пошла танцевать с Зиной Гвоздевой (помнишь, она тоже была в нашей группе?). Вдруг я слышу, что голос на пластинке какой-то очень знакомый, а чей, никак не угадаю. Когда музыка кончилась, я подошла к радиоле, взяла эту пластинку, посмотрела — и она у меня чуть из рук не упала. Оказалось, что это поешь ты. Я опять ее завела, хотя некоторые начали возражать. Они ведь даже не поверили, кроме Зины Гвоздевой, что мы тебя с детства лично знаем. И до сих пор никто не верит!

Женя, если ты можешь и если у тебя остается время от учебы и концертов, то напиши, пожалуйста, мне или Гвоздевой Зине хотя бы два слова, чтобы наши девочки не думали, будто мы нагло врем.

А если хочешь, то давай вообще будем с тобой переписываться.

Я, между прочим, тоже иногда пою на вечерах, но это просто так — художественная самодеятельность. Надо же кому-нибудь выступать.

До свиданья.

Твоя бывшая знакомая Тиунов Саша.

Третье письмо.

Женька!

Это я. Как ты поживаешь? Я поживаю нормально. Только ты никому пока не говори. Я нарочно не пишу на конверте обратный адрес, чтобы никто не узнал. Я даже тебе не могу сообщить, чтобы не подвести людей. В общем, я теперь живу в одном месте и работаю в зверосовхозе, кем,неважно. Мы выращиваем норки всевозможного цвета, они очень красивые, только жалко, что их потом продают за границу за иностранные деньги, будто свои хуже.

Женька, насчет меня ведется розыск. Это В. К. старается. Из милиции уже поступил запрос. Но его здесь нарочно маринуют, потому что через месяц мне исполнится шестнадцать лет, и тогда меня никто не может заставить вернуться обратно. Я сам, когда надо, напишу В. К., чтобы он выслал сюда мои документы и справку для получения паспорта.

Люди тут хорошие, они все понимают. Женька, у меня уже есть своя собака, зырянская лайка, зовут Пон, что по-здешнему и значит «собака».

Пока ты мне не отвечай, я нарочно не даю адрес. Вот когда будет паспорт, я сообщу тебе точные координаты.

А ты еще поешь? Ну, попой.

Счастливого.

К. Б.

Часть третья

1

В

и-итька!.. Витюха, давай! Жми-и...

Я орал как дурной, вместе со всеми вскочив со скамьи. А зачем, спрашивается?

Во-первых, он не мог ничего услышать, хотя и плыл без шлема: когда человек плывет кролем, голова у него все время под водой, а в те короткие мгновения, когда он, вывернув набок рот, хватается воздух, уши все равно полны воды.

Во-вторых, когда человеку остается до финиша пятьдесят метров, а позади уже три четверти дистанции, то, надо полагать, у него отключено за ненадобностью все, кроме мышц и сердца. Некогда тут ни смотреть, ни слушать.

А в-третьих, подгонять этого человека было просто незачем: у него не оставалось соперников. Еще на старте Витюха сразу же на целый корпус опередил остальных, потом с каждой секундой разрыв увеличивался, и сейчас, когда Витюха шел по последней прямой, те, другие, еще отталкивались на повороте от стенки...

Но мы кричали, не умолкая, благо, природа наделила нас добрыми глотками, размахивали руками.

Потому что это был наш Витюха, из нашего училища, из нашего восьмого класса — Витюха Титаренко.

Он победил.

Один за другим, щелкнув своими хронометрами, выпрямлялись судьи у дорожек. Потом они все отошли к судейскому столу, оживленно переговариваясь.

А Витюха еще, как положено, «откупывался», переводил дух. Соперники, ныряя под пенопластовые граничные канаты, подплывали к нему и тут же, в воде, жали руку, обнимали, похлопывали по плечу, демонстрируя спортивное благородство: вот ведь и это умеют уже...

— Победу одержал Виктор Титаренко, «Буревестник»! — возвестил диктор. — Его время на дистанции — две минуты, четыре секунды. — Диктор помолчал в нерешительности и добавил: — Титаренко выполнил норму мастера спорта. — Еще помолчал, совсем уж, видно, растерявшись и опасаясь высказать дальнейшее, однако пришлось: — Виктор Титаренко установил всесоюзный рекорд.

Батюшки, что тут началось на трибун! Теперь уже не только мы, Витькины однокашники, но и все остальные, нам незнакомые, может быть, даже чужие болельщики — все заорали, захлопали, затопали: шуточное ли дело — в пятнадцать лет установить рекорд, получить на грудь заветный квадратик «Мастер спорта». В пятнадцать лет!

Сияющий тренер накинул Витьке на плечи халат, повел его в раздевалку.

— Идем? — спросил взволнованный Гошка. — Поздравим.

— Там народу, небось... — усомнился я.

— Ну и что?

— А вдруг не пустят?

— Пустят. Ведь наш парень. Идешь?

— Я после. Дома.

— Как знаешь...

Исчезая, Гошка Вяземский метнул насмешливый взгляд на нас обоих. На меня и на Майку. Мы сидели с ней рядом на скамейке водного стадиона в Лужниках.

Вообще-то Майка пришла сюда не со мной, а с братом. Но мы заранее сговорились с ней, что она придет. Да, мы честно болели за Витюху Титаренко и от души радовались его триумфу. Для нас, однако, была важнее сама эта встреча.

Только что миновало лето. Училище наше вывозили в пионерлагерь, на Протву. А Майка уезжала с родителями в Крым, потом куда-то на Валдай — тоже не далеко. Почти три месяца мы не виделись с Майкой. И это уже было наше второе лето врозь. Откровенно говоря, первое лето после того, как мы подружились, я перенес довольно безмятежно. Купался, удил рыбу, ходил по грибы, наслаждался ничегонеделанием. Временами даже забывал о Майке.

Но вот это, нынешнее лето было уже другим. Оно тянулось невыносимо долго. К тому же лили беспрепятственные дожди. Я почитывал всякие книжки, брэнчал от скуки на рояле. И проклинал себя за то, что сам строжайше наказал Майке не писать мне писем: я боялся, что кому-нибудь они вдруг попадутся в руки, тогда — хоть утопись...

Однако и это, второе лето я перетерпел стойко. И мы опять встретились. Но теперь мне было совершенно ясно, что третьего лета, если мы снова окажемся врозь, я не вынесу.

Майка вернулась из своего Крыма, со своего Валдая какой-то очень вдруг пережившейся. Косы остригла. Сейчас ее волосы едва достигали мочек ушей, не покрывали шею, а сверху выгорели до пшеничной желтизны. Она сильно загорела. Но не эти перемены меня так поразили. Я просто едва узнал Майку, когда увидел ее после каникул. Это была и Майка и не Майка. Это уже была не девочка Майка, а такая ма-

ленькая и очень красивая четырнадцатилетняя женщина по имени Майка. Я просто обалдел, встретив ее.

И в данный момент, когда мы сидели рядом на скамейке в Лужниках, я отдавал себе полный отчет в том, что отныне мне понадобится видеть ее каждый день, иначе я помру.

— А знаешь, — сказала Майка, — в Австралии одна девочка установила новый мировой рекорд. Тоже по плаванию. Я читала в «Комсомолке». Там написано, что это не случайно. По плаванию взрослые не могут угнаться за детьми. Поэтому Витька — тоже не случайно... Молодец, правда?

— Молодец, — охотно подтвердил я.

Всем известно, что любовь облагораживает человека. Я не спорю. Это верно. Даже очень облагораживает. Но, по совести, я должен высказать робкую, лишь сейчас зародившуюся в моей голове мысль: должно быть, помимо бесспорного облагораживания, любовь еще делает человека немного скотиной...

Нет, ну как же я мог отказать от Гошкиного приглашения пойти в раздевалку и там поздравить от души своего товарища Витюху Титаренко с его победой, с его рекордом, со значком, который он вскоре получит?..

Стыдно. Подло. И тем не менее я совершил этот подлый поступок — отказался идти в раздевалку — вполне сознательно и обдуманно.

Я сразу же понял, что если пойду в раздевалку поздравлять Витюху, то Майке придется идти вместе с нами, со мной и Гошкой. Я представил себе, как мы явимся в раздевалку со своими улыбками и поздравлениями, и вот там Майка, моя Майка, увидит новоиспеченного мастера спорта, рекордсмена страны Витюху Титаренко во всей его атлетической красе, во всем сиянии славы... «Здравствуй, Витя. Я поздравляю тебя!» — скажет Майка и улыбнется ему той улыбкой, которая вот уже полтора года принадлежит лишь мне. А он скромненько, застенчиво эдак поведет своими покатыми плечами прирожденного пловца, протянет ей свою могучую руку...

Нет, любовь, безусловно, очень облагораживает человека. Однако мы посидим лучше тут, на скамье, побеседуем, а Витюху Титаренко я поздравлю чуть позже.

— ...кому пломбир, эскиммо, сливочное?

— Фьють! Сюда.

Я достал из кармана деньги. Теперь я получал стипендию, и уже не ездил в троллейбусе «зайцем», и мог раскошиться на пломбир. На один — для Майки. Мне-то ведь нельзя: горло.

— Спасибо, — сказала Майка и лизнула мороженое. — И не только по плаванию, — продолжала она. — Фигурное катание — тоже дети: Шварц, Кальма... А гимнастика?

— Угу, — кивнул я, от души ненавидя всех их разом.

Предстояли еще четыре заплыва. Сейчас был перерыв. Из динамиков на радость людям рвалась популярная музыка. И у меня заранее сосало под ложечкой, у меня не оставалось никаких сомнений, что вот сейчас, с минуты на минуту, мне предстоит встреча с самым главным моим соперником в мировом и вселенском масштабе...

Ну, конечно. Так и есть.

Джама-а-а-айка!..

На трибунах тотчас притихли.

Вот уж не знаю, как там лет через пять или десять будет реагировать почтеннейшая публика на эту самую «Джамайку», на этот голос, зазвеневший над стадионом. Не знаю. Не берусь угадывать. Пока же все распускают слюни.

Даже на моем недолгом веку такое случалось уже

не раз. Восторгал ценителей своей игрой и шевелюрой Ван Клиберн. Выдавала устрашающие портмоне от сих до сих Има Сумак.

Но в этом году безраздельно царствовал Робертино. Итальянский мальчик Робертино Лоретти. Мой ровесник.

Что творилось из-за этого Робертино! Вокруг только и разговоров было, что о нем. Все озабоченно гадали, когда же он приедет на гастроли в Советский Союз. В парках, в кинотеатрах, на площадях, на стадионах, в поездах, на пароходах, в банях и парикмахерских с утра до ночи распевал Робертино Лоретти. Люди давились в очередях за его грампластинками. Люди ходили по улицам, долдоня, как полагало: «О, паппагалло, паппагалло...»

Словом, это было какое-то всеобщее наваждение. Я тоже, конечно, слышал песни Робертино Лоретти. Мне нравился голос этого мальчика. Видел я в журнале и его портрет: чернявый такой, вроде нашего Маратика.

И кланусь, что я не испытывал ни зависти к нему, ни других низменных чувств. Просто возникало некоторое недоумение. Разве мой голос хуже? В последнее время я часто солировал в концертах. Была выпущена моя пластинка. Однако из-за этой пластинки никто не ломал друг дружке ребер в очередях. Никто не печатал в журналах моих портретов. И до сих пор почему-то меня не звали на гастроли в Италию...

Но, повторяю, у меня не было никаких претензий к Робертино Лоретти.

Я чувствовал его своим соперником лишь в те минуты, когда мы бывали вдвоем с Майкой, а в это время вдруг откуда ни возьмись:

Джама-айка,
Джамайка!..

Особенно я ненавидел именно эту песню, в которой так отчетливо слышалось: «...майка... Майка!..» Ему-то до нее какое дело?

— Он едет в Швецию, — сказала Майка.

Я насупился. Вот и хорошо. Туда ему и дорога.

Воровато оглянувшись, Майка наклонилась, будто хотела что-то сказать мне на ухо, и вскользь чмокнула меня в щеку. Губы ее были совершенно ледяными от мороженого. Либо мои щеки были чересчур жарки, и мне так показалось.

— Все это вранье, — заявила Майка.

— Что — вранье?

— А то, что мы теперь быстрее в длину растем, чем умом... Вранье. А зачем тогда спецшколы заводят? Английские, математические? Потому что знают: начинать нужно рано. Иначе будет поздно. Вот знаешь, одна девочка из нашей школы — только она пять лет назад окончила — поступила во ВГИК, на актерский. И теперь ей уже двадцать три года. Она к нам приходила на вечер. Девочки спросили: «Кого вы мечтаете сыграть?» А она говорит: «Мечтала — Наташу Ростову, а теперь придется Кабаниху. Стара». Ну, конечно, двадцать три года!

Это был Майкин конек — всегда о том же. Я с ней не спорил.

Я только никак не мог выяснить, какие же на этот счет имеются намерения у самой Майки. А вдруг она через три года, дождавшись последнего звонка, решит выйти замуж? То есть за кого она выйдет замуж — сомнений не было: за меня, конечно. За кого же еще? Но у меня не было уверенности, что к той поре, когда Майка сочтет нужным выйти замуж, — что к той поре у меня сложатся все необходимые для этого условия: ну, там, квартира, зарплата и прочее. Кастроли, автомобиль.

— Жень, а Жень!..

Я с трудом разлепил глаза.

Было это, помнится, после уроков, после обеда; я пришел в общежитие, разулся, завалился на койку и стал читать книгу Чернышевского «Что делать?». Я уже освоил два сна Веры Павловны, теперь добрался до третьего и сам ненароком заснул.

И вдруг меня разбудили, тормоша за плечо.

— А?

Подле моей кровати стоял Усачев из третьего класса. Забавный такой малыш. Очень похожий на меня, каким я был, когда меня сто лет назад привезли в это училище. Тоже с дискантом — и довольно приличным. Все минувшее лето он целыми днями ходил за мной по пятам, приставая с глупыми вопросами, которые горады выдумывать такие вот козявки. А потом слушал, разинув рот, каждое мое слово... Его, между прочим, как и меня, звали Женей. Женя Усачев.

И вот сейчас именно он тряс меня за плечо.

— Жень, ну, Жень...

— Чего?

— Там тебя какой-то дяденька спрашивает.

— Где?

— На улице. У ворот.

— Какой дяденька?

— Такой...

Он весь надул, напыжился, вытянул губы трубочкой — изобразил.

— А зачем?

— Не знаю.

Вот безобразие. Не дают человеку поспать. Почитать книгу.

Я сунул ноги в башмаки, пятерней пригладил вихры и сбежал по лестнице.

У ворот, что ведут к нашему общежитию, действительно прохаживался какой-то гражданин — неспешно эдак и важно. Я тотчас догадался, что это и есть тот самый, о котором говорил маленький Женья, которого он мне только что наглядно изобразил: гражданин и впрямь был очень представительный, прямо-таки надутый важностью, в твердой шляпе с короткими полями, вроде котелка, а во рту у него была сигара — ее-то, значит, и имел в виду Женья-маленький, трубочкой вытягивая губы.

Словом, я тотчас догадался, что это и есть тот самый. И, чуть убавив шаг, направился к нему.

А вот как же он узнает меня? Ему, поди, никто меня не изображал?

Однако гражданин в шляпе, заметив мое приближение, сразу же заулыбался мне, будто старому знакомому. Узнал, стало быть. Ну, что ж, ничего удивительного: наверное, в концерте видел меня либо в телевизоре — мы выступали недавно на Шаболовке.

Он протянул мне пухлую руку:

— Здравствуй. Я Виктор Викторович.

— А-а, — сказал я. — Здравствуйте.

Сроду я не видал, не слышал никакого Виктора Викторовича.

— Пройдемся? — предложил он.

— Давайте, — согласился я. Отчего не пройтись?

Мы двинулись по людной Пресне, но не в сторону училища, а в обратную сторону. Потом за комиссионным магазином свернули в тихий переулочек.

Он швырнул в урну бычок от сигары.

— Женья, — сказал он. — Тебе известно, что искусство принадлежит народу?

— Известно, — сказал я. — Кому же еще?

— Правильно, — сказал он. — Народу принадлежит. Массам. Верно?

— Еще бы.

— А известно ли тебе, что художник обязан нести массам свое искусство? Идти навстречу культурным запросам?

— Да, — согласился я. — Только нельзя ли покороче?

— Молодец, — рассмеялся он. — Как у тебя завтрашний вечер, свободен?

— Свободен, — сказал я. — Ну, уроки надо готовить... ерунда, в общем.

— Ай-я-яй, нехорошо! — Виктор Викторович укоризненно покачал головой. — Уроки надо делать пораньше. А в семнадцать ноль-ноль надо стоять вон там, на углу. Видишь? Подойдет микроавтобус. Я буду в нем. И поедем.

— А куда? — поинтересовался я.

— К народу, к массам. Недалеко. Сорок два километра. В двенадцать будешь дома... Нет возражений?

— Лично у меня нет, — сказал я. — Только вам нужно с директором договориться, с Владимиром Константиновичем.

Он остановился, полез за пазуху, достал оттуда новую сигару, отгрыз конец, выплюнул, раскурил от зажигалки, сощурился.

— М-да... — сказал Виктор Викторович с нескрываемым сожалением. — А я предполагал, что имею дело со взрослым человеком.

— Где уж нам? — вздохнул я. — Мы еще маленькие. Дурачки мы.

— Теперь вижу.

Я круто повернулся и зашагал прочь.

— Женя! погоди.

Он догнал меня, озабоченно дыша.

— Ну, зачем же... зачем же так? Давай поговорим серьезно. Я хочу, чтобы ты понял...

Чтобы я понял? А я и так уже все понял. Давно понял. С первого взгляда. И с первого его слова.

Я сразу же понял, что этот Виктор Викторович — жулик. Хотя он и был в модной шляпе, хотя он и дымил заграничной сигарой. Подумаешь! Всяк знает, что у нас эти дорогие сигары не шибко дороги, и любой пижон может курить тот же сорт сигар,

который раскуривает Форд или какой-нибудь там Роллс-Ройс.

Словом, я тотчас понял, что передо мной жулик. Из тех, про которых пишут фельетоны в газетах. И я не ошибся. Ровно через год этот Виктор Викторович угодил в фельетон, а потом в тюрьму. Хорошо, что к тому времени я перестал с ним знаться.



Но пока мы стояли с ним в тихом переулке близ Пресни и вели разговор лицом к лицу.

— Давай поговорим серьезно,— повторил Виктор Викторович.— Я хочу, чтобы ты понял. Ну, скажи, почему везде и всюду этот Робертино?

— Робертино,— поправил я.

— Ну да, этот самый Лоретти. Куда ни плюнь. Почему? Откуда у нас это преклонение перед заграницей, а?

Я пожал плечами: не знаю, мол. И действительно, откуда?

— Что же у нас, в России, нету голосов? — продолжал возмущаться он.— Нету талантов? Нету своего Робертино?

— Робертино,— поправил я, досадуя.

До чего малокультурный тип. Слова не может говорить. А ведь в шляпе, с сигарой. И хотя он, конечно же, явный жулик, но, наверное, имеет какое-то отношение к искусству. Хотя бы отдаленное, раз ведет со мной подобный разговор. Как это ни грустно, но среди людей, имеющих отношение к искусству, попадаются иногда очень малокультурные люди. Свое-то прямое дело человек знает — играть на скрипке, на трубе, и ведь неплохо играет, отлично даже, а вот после раскроет рот, скажет словцо — мать честна, прямо слушать стыдно, уши вянут. И вот сейчас мне было крайне досадно, что этот Виктор Викторович — такой малокультурный человек. «Робертино...»

Мне это было тем более досадно, что в его словах имелся свой резон. То есть я был с ним отчасти согласен. И впрямь, откуда у нас это преклонение перед заграницей? Робертино, Робертино, Робертино... Будто ничего другого и нет, кроме Робертино!

— Женя,— сказал Виктор Викторович, заметив, должно быть, что я раздумываю.— Ну что ты раздумываешь? Ведь ты будешь выступать не один. У нас концертная бригада. Готовая программа. Но в программе должен быть гвоздь. И гвоздем будешь ты. Ты будешь гвоздем!

Нет, это и впрямь какая-то вопиющая несправедливость. Что ж у нас, в России, нету голосов? Нету талантов? Да в одном только нашем училище найдется немало голосов не хуже, чем у Робертино.

— Женя,— сказал Виктор Викторович,— ты будешь получать двадцать рублей за каждое выступление. Пока договоримся — десять концертов...

Нет, это уж наверняка в нашем училище найдется двадцать таких голосов, как у Робертино Лоретти. А всего у нас в училище двести человек.

— Значит, завтра,— сказал Виктор Викторович.

— Во сколько?

— В семнадцать ноль-ноль. Вон на том углу, видишь?

— Да.

— Подойдет микроавтобус.

Он деловито оглядел меня с ног до головы.

— Так, насчет костюма... Ну, это мы подберем. А потом сам купишь. Теперь насчет репертуара. Надо бы что-нибудь дать из Робертино...

— Робертино.

— Ну да, из Лоретти. Публика потребует... Ты знаешь?

Я, конечно же, знал все эти «Джамайки», всех этих дурацких «Попугаев». Знал каждую ноту и каждую интонацию. Я ведь говорил, что еще с детства умел схватывать на лету любую мелодию. А тем более теперь. Но как быть со словами?

— Слов не знаю.

— Это я предусмотрел,— кивнул Виктор Викторович. И достал из-за пазухи бумажки, исписанные от руки.— Держи.

Я скользнул взглядом по верхней бумажке.

— Разберешь?

— Но ведь это... итальянский?

— Итальянский, конечно. Самый итальянский. Какой же еще?

— Я не знаю итальянского. Мы учим немецкий.

— Почему?..

Кто его знает, почему. Я и сам удивлялся, почему в нашем училище преподают немецкий язык. Ведь всем известно, что музыкантов следует обучать итальянскому. Должно быть, итальянского учителя трудно найти.

Виктор Викторович озадаченно повертел в руках листки. Наморщил лоб.

— Так ведь буквы одинаковые? Заграничные буквы? Какая разница?

«Заграничные буквы». Жуть, что за тип!

— Ладно,— сказал я, забирая листки.

— В семнадцать ноль-ноль,— напомнил Виктор Викторович.

— Ладно.

«Значит, завтра»,— сказал он. И до этого завтра, до семнадцати ноль-ноль, у меня оставались сутки с хвостиком. Еще было время подумать. Потерзаться сомнениями. Проявить сознательность. Все как следует взвесить... Представляю себе, как бы он там вертелся на углу, дожидаясь меня со своим микроавтобусом, со своей дурацкой сигарой. А я бы даже мог спрятаться за углом и хихикать в кулак. Можно бы и еще кого-нибудь позвать из наших, скажем, Гошку Вяземского, полюбоваться на эту картину. Ведь сдохнешь со смеху, а?..

Только ничего этого не было. Никакой картины. И никаких терзаний.

Вернее, так: просто неохота об этом рассказывать, про то, как меня грызла совесть. Как я целую ночь из-за этого не спал. Не хочу. Не желаю оправдываться. Потому что люди оправдываются вовсе не для того, чтобы их другие пожалели, а чтобы самих себя пожалеть: ах, я бедный, несчастный...

Нет, не буду. Тем более теперь, когда все и было и билем поросло.

А не спал я тогда всю ночь не из-за себя, а из-за нашего директора, Владимира Константиновича.

Дело в том, что незадолго до этого к нам в училище заявлялся милиционер — молодой щеголеватый старшина. Они с Наместниковым сидели в кабинете часа, наверное, два. И больше никого там с ними не было. Однако тотчас всем сделалось известно, о чем шла речь.

О Кольке Бирюкове! Его милиция все-таки нашла в том прекрасном месте, куда он забрался. Но ему, на счастье, уже исполнилось шестнадцать лет. И теперь он был полноправным гражданином, которого нельзя просто так ухватить за шиворот и препроводить в тюрьму. Милиционер-то, собственно, и приходил к Владимиру Константиновичу лишь затем, чтобы поскорее отправили Колькины документы туда, где он теперь проживает, чтобы ему там выдали паспорт. (Ну, все в точности, как он мне сам описал, будто бы по плану — вот каков он молодец, Николай Иванович!)

Однако для подобного разговора не требуется двух часов — тут хватило бы и пяти минут. А они сидели целых два часа: старшина милиции и Владимир Константинович Наместников.

И, как я слышал, беседа у них была не только насчет документов.

Вроде бы милиционер осторожно справился, как бы это так обеспечить, чтобы наши мальчишки больше никуда не сбегали и их не приходилось искать по



всему Советскому Союзу. А директор ему на это сказал, что случай с учеником Бирюковым не правило, а исключение, результат душевной драмы, э к с с с. А милиционер вежливо спросил: нельзя ли, дескать, в дальнейшем предотвратить эти эксцессы и душевные драмы, нельзя ли предпринять какие-нибудь меры, чтобы у мальчиков не пропадали голоса? И тут наш Владимир Константинович очень расстроился, даже раскричался и заявил, что он, к сожалению, не господь-бог и не царь природы, а то бы давно навел соответствующий порядок...

Тем бы дело и кончилось, и, может быть, об этом разговоре никто ничего не узнал, кабы там не произошло дальнейшее. Этот щеголеватый старшина милиции, уже откланявшись, чуть замешкался и робко попросил Владимира Константиновича послушать его. То есть послушать, как он поет. У него вроде бы лирический тенор, и он участвует в милицейской самодеятельности, и ему бы хотелось знать, что скажет профессор насчет его голосовых данных?

Вот уж это было в точности известно всем — не по слухам. Все слышали своими ушами, как старшина пел в директорском кабинете ариозо Ленского.

И все видели, как он уходил: сияющий от радости.

А Владимир Константинович Наместников сразу же после этого визита слег. У него и прежде было неладно с печенью, а теперь болезнь обострилась. И он после разговора с милицейским старшиной пролежал в больнице полтора месяца.

Вот из-за чего я не спал тогда целую ночь. Я думал о Владимире Константиновиче. То есть я думал о том, что сказал бы Владимир Константинович насчет этого типа, Виктора Викторовича. Что сказал бы наш старый директор, кабы ему сделалось известно насчет встречи, назначенной завтра в семнадцать ноль-ноль на углу...

Вот из-за этого я всю ночь и ворочался с боку на бок и никак не мог заснуть.

Но утром я встал как ни в чем не бывало. Голова моя была свежа и легка. Очень легкая такая, будто совсем пустая голова.

3

Я был «гвоздем». И потому меня, как водится, приберегали на самый конец.

Так что я имел удовольствие, стоя за сценой, наблюдать всю программу. «Большую концертную программу известных московских артистов», — как было написано на фанерном щите, встретившем нас у порога совхозного клуба.

Клуб этот был маленький, зал маленький, сцена маленькая. Но совхоз, по всей вероятности, был большой, потому что в этот маленький зал набилась уйма народу. И мужчины тут и женщины. И стар и млад. Всех потянуло на эту большую концертную программу. Должно быть, сюда, в этот совхоз, дажно не приезжали известные московские артисты. И наш шеф Виктор Викторович хорошо знал, куда везти свою «левую» бригаду. Здесь, в этом клубе, по всей вероятности, давно не было никаких концертов — ни «левых», ни «правых». Я об этом сразу догадался по тому, как сочувственно и радушно встречала публика каждый номер.

А их было не слишком много, номеров.

Когда ровно в семнадцать ноль-ноль к условленному месту близ Пресни подкатил микроавтобус и я туда залез, сказал «здрасьте», сел, осмотрелся кругом и заметил, что в этом микроавтобусе всего-то, считая меня и шофера, сидит восемь человек, я еще тогда, по дороге, задумался: а хватит ли этих сил на целый концерт? Прочитав же у входа афишу насчет большой концертной программы, я и вовсе смутился: семеро, не считая шофера — а он-то не в счет...

Но, как выяснилось, я недооценил возможностей нашей великолепной семерки.

Взять хотя бы Виктора Викторовича.

Я ведь сначала думал, что он всего лишь пронира и жулик, устраивающий «левые» концерты и полу-

чающий с них свой скромный процент. А оказалось, что он артист. Что он конференсье. Он первым вышел на сцену и стал рассказывать публике разные смешные анекдоты, которые лично я слышал еще в третьем классе, а позднее читал в «Крокодиле». И, может быть, людям, сидевшим в зале, эти анекдоты — про полотеров и милиционеров, кассиров и продавцов, про Аденауэра, про Эйзенхауэра — были тоже известны, они ведь наверняка учились в школе, заглядывали в журналы.

Однако Виктор Викторович смело вводил в эти забавные и общеизвестные истории самого себя, свою собственную личность. Либо приплелат своих близких знакомых. «Как-то я...» — говорил он. «Один мой приятель...» — рассказывал он. И в тоне его была такая подкупающая искренность, что никто не смел в этом усомниться. Всем — даже мне — казалось совершенно естественным, что именно он, Виктор Викторович, а не кто другой, общался с полотерами и продавцами, знался с кассирами и милицией, а его близкие приятели запросто яхшались с Эйзенхауэром...

Зал весело смеялся, а Виктор Викторович объявлял очередной номер.

Очередным номером была акробатическая пара. Он и она.

И я должен сказать, что это был очень оригинальный номер. Во всяком случае, ни до, ни после я не встречал такой акробатической пары.

Еще за сценой, перед выходом, когда они облачились в трико — она в белое с блестками трико, а он в черное с блестками, — я страшно удивился, я просто обалдел, представив себе дальнейшее. Дело в том, что она была молодой и рослой белокурой девицей, плечистой, с могучими ногами. А он — он был на целую голову ниже ее, тщедушный, костлявый, хотя и жилистый, но — что факт, то факт — довольно-таки пожилой мужчина. И вблизи было отчетливо видно, что голова его седа и волосы выкрашены черной краской — под цвет трико (а у нее — белой краской, тоже под цвет).

И я никак не мог себе представить, как же это он сумеет, такой тщедушный, оторвать от полу хотя бы на сантиметр такую здоровущую девицу?

Но в том-то и заключалась оригинальность номера.

Не успели они выбежать на сцену, как она — именно она, эта девица! — одним махом вскинула партнера себе на плечи.

Публика замерла.

Тогда, чуть поднатужась, она — именно она, эта девица! — выбросила его в стойку.

Зал ахнул.

И тогда он оперся рукой о ее макушку, освободил другую руку и медленно развел ноги в стороны...

Зал разразился аплодисментами.

А дальше пошло уже совсем невообразимое. Что она с ним делала, эта богатырская девица, со своим партнером! Она бросала его и ловила на лету. Она крутила его колесом. Она вила из него веревки. Она завязывала его узлом. Она его складывала лягушкой, а потом превращала в ласточку...

И по мере того, как на сцене творились эти чудеса, в зале нарастала оvação.

Признаться, в этот момент мной овладела некоторая неуверенность. Я уже засомневался: а выпадет ли на мою долю такой же успех? Смогу ли я превзойти эту пару? Точно ли я окажусь «взводом»?

Но следующие номера, включая трепотню Виктора Викторовича, меня приободрили — они были довольно тусклыми.

Соло на ксилофоне. А затем фокусы. Собственно, на них можно бы и не останавливаться — ну, обыч-

ная эстрада, кто ее не видал, не слышал! — кабы не два обстоятельства, которые я все же считаю нужным отметить.

Что касается соло на ксилофоне, то это было соло как соло: вышел человек в черном костюме, взял свои молоточки и сыграл попури из Штрауса. Сыграл, поклонился и ушел. Вроде бы ничего особенного.

А между тем он, этот ксилофонист в черном костюме, был вдребезги пьян.

Еще куда мы ехали в микроавтобусе, я заметил, что время от времени он достает из кармана плоскую флягу, отхлебывает из нее глоток, страдальчески морщится, потом удовлетворенно обмякает и сует флягу обратно в карман. Да и тут, за сценой, он поминутно прикладывался к этой фляге. И уже глаза его совершенно ослепели. И уже он мычал себе под нос что-то невразумительное...

Я хотел было даже подсказать Виктору Викторовичу, чтобы этого ксилофониста не выпускали, поскольку он вдребезги пьян и может, чего доброго, осрамиться на публике, сорвать концерт. Но вместе с тем я рассудил, что Виктор Викторович, по всей вероятности, знает этого музыканта лучше меня и что эту флягу он тоже приметил, и, стало быть, мне незачем соваться с подсказками. И оказалось, что я рассудил правильно.

Потому что, как только объявили соло на ксилофоне, этот человек в черном костюме вдруг строго выпрямился, весь подобрался, твердыми шагами вышел на сцену, взял свои молоточки и без единой запинки, уверенно, даже виртуозно сыграл попури из Штрауса. Затем положил молоточки, поклонился и ушел.

Что же касается фокусника, то он был трезвый.

На глазах всей публики он проделал свои загадочные фокусы и даже мне, стоящему за сценой, то есть немного сзади и сбоку, даже мне не удалось заметить, каким способом он их проделывает, вывести секрет. Ведь что там ни говори, а зрителей привлекают не сами фокусы, а надежда разоблачить махинацию, схватить фокусника за руку: ага, мол, попался!.

Но фокусник работал чисто.

Он рвал газету в клочья, комкал ее, скатывал шариком, а потом остороженько так расправлял — и газета оказывалась целой. Он извлекал из своего пустого цилиндра носовые платки, вороха разноцветных лент, букеты цветов, а напоследок вытащил оттуда живую квохчущую курицу — и я не только проглядел, как же она попала в пустой цилиндр, но еще поразился тому, что не заметил этой горластой курицы, когда мы ехали сюда на микроавтобусе. Вроде никакой курицы не было. Чудеса!

Однако самым захватывающим был фокус с деньгами. Это когда он, фокусник, оттянул манжету, поднял руку и стал шевелить пальцами. Шевельнет — и появляется красная десятка. Он ее прячет в карман. Еще раз шевельнет пальцами — десятка. Еще раз — и снова десятка. Десятка за десяткой. И он их одну за другой складывает себе в карман. А сам при этом улыбается. Десятка, десятка, десятка...

Не знаю, может быть, этот фокус с деньгами был и не самым сложным, может быть, вытащить курицу из пустого цилиндра гораздо труднее. Но я заметил — и по себе заметил и по притихшему залу, — что наибольшее впечатление произвели эти красные десятки, которые он с непостижимой легкостью добывал из ничего, из воздуха: едва шевельнет пальцами — и на тебе, десятка!

Справедливости ради, нужно упомянуть и об Асечке, последней из нашей семерки. Асечка была пианисткой. На протяжении всей концертной програм-

мы она так и не вставала с табуретки, так и не отходила от обшарпанного клубного пианино. Она исполнила бравурный марш, когда впервые раздвинулся занавес. Она сопровождала музыкой акробатическую пару, сопровождала фокусника с его курицей, а теперь ей предстояло сопровождать меня. Эта Асечка была старушенцией лет под сто, но все ее называли Асечкой. Я так и не смог выяснить настоящего ее имени-отчества и, разговаривая с ней, избегал прямых обращений. Еще до концерта, при задернутом занавесе, мы с Асечкой наскоро отрепетировали номер: я вполсилы, фальцетиком напел свои песни, а она тут же, с ходу, припорошила аккомпанемент, и теперь мы могли быть уверены друг в друге. Я сразу же понял, что Асечка не подведет.

Виктор Викторович вышел на сцену, рассказал очередную байку, насмешил публику, а потом, выпятив грудь, напыжась, провозгласил:

— Выступает Женя Прохоров! Наш советский... Л-лобертино Л-лоретти!

Вот уж срамота...

Однако в зале, должно быть, не расслышали этой постыдной оговорки или пренебрегли ею, обрадованные самим известием, что есть, оказывается, на свете и другой Робертино, притом наш собственный, советский, и они его сейчас увидят и услышат.

Что ж, смотрите. Слушайте. Вот он я — Женя Прохоров.

Суть маре люччика
Лястро дарге-енто...

Каково?

Меня не очень беспокоило, что я плохо спою. Я знал, что спою хорошо. Не привыкать. Меня другое тревожило. Весь минувший вечер я бубнил наизусть слова этих неаполитанских, этих итальянских песен. Заучивал слова, которых не понимал, а лишь угадывал, что они могут значить. Да и какая разница, что они значат? Лишь бы правильно их выговорить, лишь бы не уподобиться Виктору Викторовичу с его дурацким «Лобертино». Но в том-то и заключалась тревога: а верно ли я их выговариваю? Ведь слова эти были итальянские, а читал я их по-немецки, а выговаривал их по-русски. Черт его знает, может, и там имелись какие-то свои секреты, которые имеются и в русском языке и в немецком: пишется так, а выговаривается эдак. Так мог ли я быть уверенным в том, что правильно выдаю все эти «лястро» и «даргенто»?

Однако меня несколько утешало предположение, что в зале, перед которым я сейчас пел, наверное, тоже не все без исключения владели итальянским языком и могли бы заметить некоторые погрешности в моем произношении.

И еще меня утешало сознание того, что как бы то ни было, а уж два слова я произношу правильно — два самые главные слова в этой песне, два ликующие слова:

Санта-Лючия,
Санта-а-а-Лючи-ия!..

Виктор Викторович угадал. Все-таки «гвоздем» оказался я. Ни акробатической паре, ни фокуснику, никому так не хлопали, как хлопали мне, — без конца. Сначала обычно, а потом, когда уже поотбивали ладони, стали хлопать, как теперь хлопают, — вразбивку, дружно, настойчиво: е-ще, е-ще, е-ще... Давай еще!

А что еще? Мы с Асечкой успели согласовать всего лишь три песни. Другие же, которые я знал, Асечка не знала. А те, которые, может быть, знала Асечка, не знал я. А зал требовал — еще!

И приходилось снова и снова бесчисленно повторять одно и то же:

О дольче Наполи,
О суоль беато...

И опять и опять: «Санта-Лючия! Санта-Лючия!»

И еще раз, еще раз выходя на сцену раскланиваясь, я перестал попрекать себя тем, что поддался угворам Виктора Викторовича, нарушил дисциплину, тайком поехал в этот совхозный клуб.

Лучше бы, конечно, не тайком. Лучше бы, конечно, без Виктора Викторовича.

А кто виноват, что сюда ездят лишь тайком и только с Виктором Викторовичем — к этим хорошим, и добрым, и гостеприимным людям, в этот совхоз, не столь уж далекий от Москвы...

Всего сорок два километра. Но мы возвращались ночью. И путь этот казался бесконечным.

Я устроился на заднем сиденье микроавтобуса, забился в уголок. Я очень устал. И, помимо воли, вздремывал. Потом просыпался. Снова засыпал. А мы все ехали...

Я просыпался и видел летящую навстречу полосу бетонки, освещенную дальним светом фар. По обе стороны дороги клонились черные разлапистые сосны.

Я засыпал. Я просыпался. Летела навстречу бетонка. Клонились черные сосны.

Я засыпал. Я просыпался. Я уж в точности не помню: то ли это была первая моя поездка, то ли вторая, то ли третья.

Всякий раз, просыпаясь, я видел одно и то же. Ночь. Бетонка. Сосны.

4

-И

-и-и...

— Так. Хорошо. Следующий.

— И-и-и-и...

— Хорошо, Усачев. Можешь идти. Следующий.

Был понедельник. Тот самый день, когда, согласно неизменному, неумолимому порядку, все училище — класс за классом — водили на осмотр к врачу, к отоларингологу, к горловику, вернее, к горловишке — к нашей Марии Леонтьевне.

— Алиев! Садись-ка, дружок.

— И-и-и...

— Так. Еще раз.

— И-и-и-и...

— Так-так. Любопытно.

— Фто? — все еще с марлей на языке, испуганно округлив черные глаза, спросил Маратик Алиев.

— Нет, пока ничего.

Мария Леонтьевна мельком, но значительно взглянула на директора училища, сидящего рядом.

— Можешь идти, Марат. Следующий.

— И-и-и...

— Хорошо. Следующий.

— Здравствуйте, Мария Леонтьевна.

— Здравствуй, Женя... Так. Ну-ка.

В лицо мне ударил ослепительный желтый свет, отраженный круглым зеркалом на ее лбу. Я ощутил в горле знакомый металлический холодок ларингоскопа.

— И-и-и...

— Еще раз.

— И-и-и-и...

— Еще.

— И-и-и...



— Так. Достаточно.

Звякнул отложенный инструмент. Мария Леонтьевна легким движением руки отвела зеркало.

— Ну вот, Женя. Теперь нам придется некоторое время помолчать. Поберечь связки. Такие связки стоит беречь. Ты понял?

Она спокойно и ласково смотрела на меня.

А я почувствовал, как внезапно пересох мой язык, пересохло горло. Зато — я это тоже ощутил — на лбу выступила испарина.

Но я молчал.

— Владимир Константинович, — сказала она все так же спокойно и мягко, — Прохорову петь нельзя. У вас не предвидятся концерты?

— В ближайшее время нет. Мы готовим новую программу... Что ж, нельзя, стало быть, нельзя.

Он сосредоточенно протирал очки носовым платком. Кажется, его немного удручило это известие. Хотя, вероятно, он и догадывался, что рано или поздно такого известия не миновать. И все же оно удручило его... Вот почему он решительно воздел очки на переносицу и сурово изрек:

— Нельзя — значит, нельзя. Кстати, Женя, у тебя тройка по геометрии?

Я молчал. Я просто был не в силах выговорить ни слова. Я вдруг онемел.

— У тебя тройка по геометрии, — повторил Наместников. — Вот и приналяжешь, голубчик, на геометрию.

— Следующий.

Я все еще сидел в кресле. Я не мог шевельнуть ни руки, ни ног.

— Ты напрасно так волнуешься, Женя, — наклонясь ко мне, тихо сказала Мария Леонтьевна. — Это совершенно естественно. Это возраст. Ты становишься взрослым. И должен вести себя, как настоящий мужчина... Иди же. Следующий.

— И-и-и...

— Хорошо. Очень хорошо... Следующий.

— И-и-и-и...

Мы встретились, как было условлено, после уроков, в том же переулке.

— Дворец культуры металлургов! — сияя от удовольствия, сообщил он. — Только что отгрохали. Тысяча мест. А-кус-ти-ка!

— Виктор Викторович...

— Уже малюют афишу. Начало в девятнадцать ноль-ноль. Дотуда час езды. Значит, собираемся...

— Виктор Викторович...

— Что?.. Ох, чуть не позабыл: тебе тут еще причитается...

Он, улыбаясь, полез за пазуху.

— Виктор Викторович... Я не поеду.

— А? — Брови его поползли вверх. Рука, сунувшаяся было за пазуху, там и застыла, там и осталась. — Как это не поедешь?

— Я не смогу поехать.

— Что значит — не смогу? Там уже афиша висит. Билеты продают... Что за глупость?

— Это не глупость. Правда, я не могу.

— Но почему?

Ноздри его раздувались от возмущения.

Я опустил голову. Мне было неловко и стыдно. Я ведь понимал, что крепко его подвожу, этого Виктора Викторовича. Пускай он и малокультурный тип и наверняка жулик, однако все же человек. Мотался, хлопотал, договаривался — и на тебе. Мне было очень стыдно, что я подвожу человека.

— Женя, в чем дело?

— Мне... нельзя петь.

— Как это — нельзя?

— Нельзя. Врач запретил. Но это пока, временно, — поспешил я заверить его.

— Ах, вот оно что?

Его рука, оттопыренная в локте, поднятая на уровень плеча, потому что он все еще держал пальцы за пазухой, ожила, задвигалась: он вытащил из-за пазухи сигару, щелкнул зажигалкой, пахнул сизым дымком.

— Ах, вот оно что... — задумчиво повторил Виктор Викторович.

— Да, — кивнул я. — Временно. Может быть, ненадолго. Бывает, что это совсем ненадолго.

— Значит, в с ё?

— Что всё?

Я не понял его вопроса. Этого страшного вопроса: «Значит, в с ё».

— Что всё?

— Значит, в с ё, — повторил он.

Однако на сей раз вопроса не было. То есть в его интонации не слышалось никакого вопроса. Он вроде бы ни о чем даже не спрашивал. Он просто сказал: «Значит, в с ё».

— Что всё?... — удивленно спросил я.

Я, ну, ей-богу же, ничего не понимал. Какой-то совершенно непонятный и дурацкий разговор шел у нас с этим типом.

— Да, Женя. В с ё.

Он сказал это, глядя на меня с откровенной жалостью. С откровенной жестокостью.

И только тут до меня дошло, о чем он говорил. Что он имел в виду. Лишь сейчас я догадался, какой смысл вкладывал он в это «в с ё».

Я закричал:

— Нет!

Мы стояли с ним на улице. Точней, не на улице, а в переулке, что за комиссионным магазином, близ Пресни. Это был довольно тихий переулок. Не то, что сама кипящая, звенящая, дудящая, свистящая, шаркающая, грохочущая Пресня. Нет, это был тихий и малолюдный переулок. Но, конечно же, он был не совсем безлюден: мимо нас шла какая-то бабушка с кошелкой, а ей навстречу шли две маленькие девочки — в зоопарк шли, наверное; чуть поодаль стояла «Волга» с открытым капотом, и под этим капотом, согнувшись, копошился шофер; дорогу — от дома к дому — не спеша пересекала рыжая кошка...

В общем, тут было тихо.

И в этой тишине я закричал во весь голос:

— Не-е-ет!!!

В то мгновение у меня будто помутилось в глазах, помрачилось в голове, но я все же заметил, как рыжая кошка опрометью бросилась в подворотню; как из-под капота «Волги» высунулась лохматая голова; как оглянулась бабушка с кошелкой, а две маленькие девочки, которые шли в зоопарк, вдруг рассмеялись...

Виктор Викторович недовольно и встревоженно огляделся по сторонам.

— Ну, что ты, что ты? — забормотал он. — Ну, зачем же, зачем же...

— Когда? — спросил я.

— Что — когда?

— Когда ехать?

Я стоял, сжимая кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони.

— А ты... сможешь?

На лице его появились одновременно тень сомнения и свет надежды.

С каким наслаждением вот сейчас я ударил бы по этому лицу.

— Когда?

— Завтра. В половине шестого. Как обычно — здесь.

— Хорошо. Я буду. До свиданья.

— Женя, погоди. — Он стал опять суетливо шарить за пазухой. — Тут тебе еще...

Но я повернулся и зашагал, не оборачиваясь.

— ...наш советский Робертино Лоретти!

Наконец-то. Впервые он правильно выговорил это имя. Хотя чему-то я его научил.

Забухало, заскрипело: это он опускал штангу микрофона, прилаживая к моему росту.

И теперь предстояло выполнить то, чему научил меня он.

Я вышел из-за кулис, улыбаясь простодушно и застенчиво, с деланным смущением моргая на лучи софитов, на встречные, пока еще жидкие аплодисменты. Я приблизился к микрофону, осмотрел его с одной стороны, с другой стороны, постучал пальцем по сеточке, недоуменно пожал плечами: мол, зачем это? — и, ухватив поперек железину, понес ее на край сцены — заберите, мол, нам такие штуки без надобности...

Этот фокус действовал безотказно.

По залу покатились одобрительный смех, и меня еще до того, как я начал петь, вознаградили рукоплесканиями. Половина успеха, таким образом, была в кармане.

Я милостиво кивнул Асечке.

Этот зал в подмосковном городе металлургов действительно был великолепен. Просторный, высокий, облицованный деревянной рейкой, кажется, еще пахнущей сосновым лесом. Ряды расходились полукругом, круто ниспадали к сцене — и, наверное, каждому, кто там сидел, было все хорошо видно, хорошо слышно.

И насчет акустики Виктор Викторович не ошибся.

Я сам чувствовал, как ясно звучит мой голос, как отчетлива любая интонация. Ни одно усилие не пропадало зря, ни одно тишайшее вибрато не оставалось неслышанным.

И та же акустика сделала совершенно оглушительными аплодисменты, когда я вслед за «Лючией» и «Солнцем» выдал на полной страсти и честной слезе «Вернись в Сорренто».

Ряды бушевали.

Асечка украдкой, перелистывая ноты, сморкалась в платочек.

Виктор Викторович, околачивающийся меж кулис (я победно оглянулся на него), улыбался во весь рот.

Я же в эту минуту окончательно понял, что Мария Леонтьевна ошиблась. Хотя она и доктор, но ведь бывают, как я слышал, такие отдельные случаи, когда доктора ошибаются. И вот это был именно такой случай. Она ошиблась. Наверное, у меня еще не началась мутация. Или же — вот было бы здорово! — она уже состоялась, минула. Дело в том (об этом я тоже слышал), что бывают мгновенные мутации: сутки — и уже другой голос. Правда, у меня не появился другой голос, он у меня остался прежним — и это было загадочно. Но каких только чудес не бывает на свете! Во всяком случае, Мария Леонтьевна, безусловно, ошиблась. Я буду петь. Я пою.

Шуберт. «Аве Мария».

Ровно, сберегая дыхание, я начинаю это тягучее, смурное, молитвенное «А-а-а...»

Все идет хорошо. Теперь — верха.

И на первой же верхней ноте произошел «кикс». Голос вдруг сам собой соскочил, соскользнул, как соскальзывает, соскакивает с бильярдного шара нацеленный кий — там, кажется, это тоже называется «киксом»...

Я тотчас выправил ноту.

Но Асечка от неожиданности сбилась, аккомпанемент дрогнул.

Я почувствовал, как перехватило горло — его будто сжало железной рукой. Я напрягся, стараясь разжать эту душащую руку. И разжал. Но в голосе появилась угрожающая хрипотца.

О, эта проклятая акустика! Теперь она выставляла напоказ, предательски удваивала, удесятеряла каждую шершавую ворсинку и каждую оголенность в звуке, каждый сбой и каждый перехват дыхания.

В зале была мертвая тишина. Какая бывает в цирке, когда канатоходец, черной повязкой закрыв глаза, ощущает носком невидимую для него проволоку и делает первый шаг. А под ним нету сетки...

Я чувствовал, как бледнею. Казалось бы, при таком невероятном напряжении связок, напряжении всех еще оставшихся сил я должен бы, наоборот, побагроветь от натуги. Но я знал, что бледнею.

Да. Все-таки я прошел долгую и суровую школу Владимира Константиновича Наместникова. Там, на спектакх, за поптитром. Это была надежная школа. Она выручила меня.

Я последним усилием совладал с голосом. Я допел до конца.

Я сорвал голос.

5

Впоследствии я часто думал: а что, если бы не сорвал? Если бы судьба не столкнула меня с этим гнусным и малокультурным жуликом, если бы я не повадился ездить на эти «левые» концерты? Если бы я не ослушался нашей горловочки Марии Леонтьевны?

Что бы тогда? Неужто я остался бы при голосе, вернее, обрел новый?

Кто знает? Может, и остался бы и обрел. Всякое бывает. Но теперь, когда непоправимое случилось, я почему-то все более склоняюсь к мысли: нет, все равно не было бы. «Не будет. Ничего не будет. Не будет никакого голоса», — вспоминал я наш с Колькой Бирюковым разговор на Птичьем рынке. «Как это не будет? Совсем?» — усомнился я тогда. «Ну, останется, конечно... разговаривать. Тары-бары».

Да. Колька оказался прав. Вот и они, тары-бары. Между прочим, ведь Колька еще вполне мог ожидать, уповать на лучший исход — он не срывал голоса, ему просто велели молчать до поры до времени, и он дисциплинированно молчал. Молчал, как рыба. А сам готовился в бега... Значит, и он не шибко верил в свое исключительное счастье.

Ну, а если иначе? Если человек беззаветно и несокрушимо уверует: будет, обязательно будет! Или если он соберется с духом и на какой-то срок просто выбросит вон из головы эти никчемные гадания: будет — не будет?... Может, именно в таких вот случаях судьба оказывается добрее, снисходительней и вознаграждает человека: на, мол, тебе — за терпение, за веру, держи, не роняй...

Не знаю.

Могу лишь сказать, забегая вперед, что из всего нашего класса, из всей нашей голосистой, а теперь замолкшей братии, из всех нас лишь один оказался счастливчиком. Запел снова — да как! Именно он оказался тем самым «одним из тысячи». Но это был не я. Увы. А кто? Секрет покуда.

Один-единственный. Но не я.

И опять подтвердилась правота мудрейшего из мудрых Николая Ивановича Бирюкова, сказавшего тогда, на Птичьем рынке: «Закон природы».

Закон не обойдешь. На то он и закон.

Но, между прочим, был такой способ. Но об этом уж очень противно рассказывать.

Да, в старину — еще сто лет назад и раньше. И не у нас, в России, а там, у них, в Ватикане. Они там делали детям одну мерзкую операцию, после которой голос уже никогда не менялся. Навсегда сохраняя ангельскую высоту и ангельский тембр, он делался лишь безмерно сильнее. И такие голоса там ценились дороже золота, потому что каждой церкви хотелось иметь свой ангельский хор, а в особенности ангелов-солистов. И некоторые из этих ангелов сделались знаменитыми на весь мир. Они зарабатывали на своих глотках такие деньги, что, к примеру, один такой ангел, Каффарелли, позволил себе роскошь купить целое герцогство и сделался герцогом. Вот уж, небось, задавался он, этот герцор!.. Однако герцогу Каффарелли некому было оставить свои земли, свой дворец и свой титул: ведь у него не было герцогини и не могло быть герцогиня.

Теперь, по прошествии времени, я уж куда спокойней перебираю в памяти эти минувшие события моей жизни.

Но тогда, в те дни, даже страшно вспомнить, что со мной делалось. И что со мной делали.

Сперва задушевный разговор с директором училища. Потом педсовет. Потом комсомольское собрание.

Ведь уже в очередной понедельник Мария Леонтьевна все обнаружила своим ларингоскопом, как она любит выражаться: «Мне в этом зеркальце все прекрасно видно». А тут еще кто-то из наших интернатских (уж это, прямо скажем, свинство) наябедничал Владимиру Константиновичу, что я обзавелся заграничным костюмом, нейлоновой сорочкой и галстуком «линкольн». А няньки, как выяснилось, доложили начальству, что Прохоров тогда-то и тогда-то пропадал до поздней ночи.

Отпираться я не стал. Я и так был убит — чего уж убитому отпираться! Я был совершенно убит.

Я сидел на уроке музыкальной литературы, заслоня лицо ладонями с обеих сторон, и слушал, что рассказывает учительница. Вернее, делал вид, что слушаю.

Мне было до крайности обидно. Вчера на собрании все наши ребята голосовали за строгий выговор с занесением. И Витюха Титаренко, и Марат Алиев, и все остальные (кроме Гошки Вяземского — он нарочно смылся с собрания). Не то, чтобы я обиделся на это единогласие. Что ж, виноват, каюсь — наказывайте, воздавайте сполна, на всю катушку. Хотя можно бы, конечно, и без занесения.

Но почему никто не взял в расчет, что я и так уже покаран самой тяжелой карой — лишился голоса? Выговор, ну, тот еще можно со временем снять. Заслужить прощение. Вернуть доверие. А вот голоса мне уж не вернуть. Никогда... Я лежу, сраженный наповал, бездыханный, безголосый. Лежу. И уж Витюхе Титаренко, поскольку он мастер спорта, следовало бы знать, что лежачего не бьют. А он... Ну, ладно.

Я рассеянно, вполуха внимал тому, что рассказывала преподавательница музыкальной литературы. Рассказывала она о Бахе.

Я покосился на стену. Как раз в нашем классе висел на стене портрет Иоганна Себастьяна Баха. Он в расстегнутом камзоле с бронзовыми пуговицами

на обшлагах, в расстегнутой жилетке — дородный такой и важный. Брови нахмурены, глаза строги. Пышный белый парик венчает голову. В руке нотный лист, а что там — «Бранденбургский концерт», или знаменитая ре-минорная Токатта, или «Страсти по Матфею» — не разобрать...

Великий, недостижимый Бах.

Я на своем веку много играл Баха. Когда совсем маленьким был, играл его забавную «Волынку» и грустный Менуэт. Позже — баховские инвенции. Потом — «Хорошо темперированный клавир»: прелюдия и fuga, прелюдия и fuga, тональность за тональностью, страница за страницей...

Я подолгу просиживал за фортепьяно. Даже в ту пору, когда пел — когда я пел, и был знаменит, и был всеми обласкан, и был счастлив, — я не забывал фортепьяно, хранил верность этому инструменту, прельстившему меня еще в детстве, еще в Липецке.

Игра на фортепьяно обязательна для всех музыкантов. Потому, что этот инструмент — царь царей. Он общий для всех. В музыкальных училищах, в консерваториях прямо так и называется предмет: общее фортепьяно. И будь ты хоть скрипач, хоть флейтист, хоть барабанщик, хоть певец, чем бы ты ни занимался, на кого бы ни учился — ты еще непременно должен играть на фортепьяно. Обязан! Но кое-кто смотрит на это общее фортепьяно, как на докучку. Ему неохота. Ему это кажется излишним. На скрипке, допустим, он уже скоро догонит Ойстрахотца и Ойстраха-сына, а на фортепьяно — тут он еще осваивает «Детский альбом»...

Я, между прочим, слышал, что один чудак из «Гнесинки» нарочно сочинил «Концерт для общего фортепьяно с оркестром». Там симфонический оркестр выдает на полной мощи бетховенское «Та-та-та-та-ам! Та-та-та-та-ам!», а парень, который сидит за роялем, в ответ — одним пальцем: «Во саду ли, в огороде...»

Но — шутки в сторону — для меня лично фортепьяно всегда было и святыней и делом. Я много играл. И на протяжении всех лет мне сопутствовал Бах. То есть бывали у меня и более страстные увлечения, о которых я говорил и еще расскажу, но при этом неизменно оставался Бах, и я думаю, что это навсегда.

Так вот, о Бахе. Я прочел о нем все, что нашлось в библиотеке, и знаю о нем больше того, что спрашивают на экзамене по музыкальной литературе.

И могу, кстати, сообщить, что однажды Иоганн Себастьян Бах тоже получил выговор. С занесением. Наверняка с занесением, поскольку документ этот сохранился до наших дней.

Ему тогда было... что-то около семнадцати лет. Совсем еще молодой, юноша. Он служил церковным органистом в Арнштадте. Ему приходилось исполнять различные хоралы перед началом проповеди, а затем еще и после проповеди. Да и сама эта проповедь, бывало, затягивалась на целый час — разговорится проповедник, не уймешь... И Баху было скучно сидеть, сложа руки, слушать эти речи. И он приспособился между двумя хоралами бегать в ближнюю пивнушку: отыграет начало — и туда; пока длится проповедь, вполне успеваешь вытянуть кружечку, поговорить с друзьями; а как проповедь подходит к концу, он опять на месте, за органом, опять — хорал...

И какой-то поганец донес об этом церковному начальству. Может, из тех же дружков.

А тут еще он, Иоганн Себастьян Бах (ведь совсем молодой был!) привел как-то ночью в церковь одну девушку и там ей сыграл на органе свои ранние сочинения. А куда же ему было ее вести? Дома у него не то что органа, а даже собственного клавесина не

имелось — на чем бы он ей мог сыграть? Ведь хотелось, наверное, показать свой талант? Ну, что тут заторного?..

И опять об этом донесли начальству.

Баха вызвали на церковный совет и там объявили ему выговор. За то, что в пивнушку бегал, и за то, что приводил ночью в церковь «постороннюю девушку». (Так прямо и сказано в этом документе.) Постороннюю!.. А она, эта девушка, Мария-Барбара, была его кузиной. И он на ней вскоре женился. А потом она, бедняжка, умерла. Но выговор так и остался, по сей день...

Да что там начальство, дружки! Его, Баха, собственные дети — и те под конец его жизни стали насмехаться над своим престарелым отцом, хотя он и вывел их в люди, сделал приличными музыкантами, даже композиторами. Они насмехались над своим родителем, называли его «старым париком», хвастались, будто сами они в сто раз гениальнее отца...

Великий, недостижимый Бах!

А его не успели схоронить, как тут же благодарные сограждане решили проложить через кладбище дорогу, сровняли могилу с землей, замостили булыжником — так до сих пор никто и не знает, где покойся Иоганн Себастьян Бах...

Я еще плотнее загораживаю лицо ладонями. Потому что чувствую, как на мои глаза навертываются слезы.

Мне очень жалко его, Баха.

— Да не надо, — сказал Гошка.

— Почему?

— Ну, так...

— А почему?

— Говорю: не надо.

Вот еще новости.

Мы стояли с ним, с Гошкой Вяземским, подле станции метро. И я выпрашивал у него две копейки: мне было совершенно необходимо позвонить по телефону-автомату, однако у меня как на грех не имелось двухкопеечной монеты (был двугривенный, был даже полтинник, но двух копеек не было). А Гошка не давал, хмурился, отворачивал лицо и все твердил: «Не надо».

Между тем звонок этот был необходим. Позарез.

Уже прошла целая неделя, как я не видел Майку. Сначала мне самому было не до нее: педсовет, собрание. Потом я несколько дней подряд звонил ей домой, и как-то так получалось, что всякий раз ее не было дома: то она в библиотеке, то в театре (без меня!). Об этом мне исправно и вежливо сообщала ее мама, когда я звонил. И у меня зародилось подозрение, что это именно она, мама Вяземская, узнав про то, как меня разбирали на педсовете и собрании, решила оградить свою дочь... Вообще мне эта мама не внушала доверия. Я ее терпел только потому, что она была матерью Майки и Гошки. Майки, которую я любил, и Гошки, с которым я дружил....

Три дня подряд я не мог дозвониться Майке. Всякий раз к телефону подходила мамаша.

И сегодня я дерзнул на хитрость.

Я решил воспользоваться Гошкиной помощью. А он не только остался равнодушным к моей идее, но даже уверял, что у него нету этих несчастных двух копеек.

— Жмотничаешь, да? — рассердился я и протянул ему свой тяжеловесный полтинник. — Бери.

Но тут и Гошка страшно рассердился. Он вывернул наизнанку карман, выгреб оттуда белую и желтую мелочь, встряхнул, обнаружил двухкопеечную монету и зашагал к стеклянной шеренге автоматов.

Мы втиснулись вдвоем в телефонную будку. Гошка набрал номер.

— Мама? Это я... Что? Скоро приду. Майка дома? Позови-ка.

И поспешно сунул трубку мне.

— А? — тотчас отозвалась трубка беззаботным Майкиным голосом.

— Здравствуй, — сказал я.

— Что? Кто это?..

— Это я. Здравствуй, — повторил я, улыбаясь трубке.

Трубка затаилась. Потом ответила тихо:

— Здравствуй.

Да, судя по всему, Майка сильно побаивалась своей мамы.

— Здравствуй, — сказал я еще раз. — Когда и где?

У нас ведь с Майкой подобные разговоры были коротки: когда и где. Без лишних слов. Остальные слова — при встрече.

— Я не знаю... — Голос в трубке сделался еще тише и настороженней.

— Сегодня, — предложил я наиболее желанный для меня срок. — На Маяковке.

— Сегодня я не могу. У меня уроков много. Будет контрольная.

— Завтра, — не пал духом я. — Завтра. Там же.

— Завтра я тоже не могу, — вздохнула трубка. — Я... мы с мамой идем к портнихе.

— А послезавтра? — с надеждой спросил я.

— Послезавтра? — Майкин голос в трубке зазвучал уверенней. — Послезавтра я никак не могу. Это будет суббота, а в субботу я иду в Дом кино. Одна девочка достала билеты: всего два билета — себе и мне.

Да. Жалко, что всего два.

— Значит, в воскресенье? — сказал я уныло, потому что до воскресенья оставалась целая вечность.

— В воскресенье к нам придут гости, — сообщила Майка. — Нет, я не смогу.

— А когда же? — совсем уж удивился я этому злосчастному стечению обстоятельств. — Когда?

— Не знаю...

После этих странных слов трубка совсем замолкла. В ней было слышно только дыхание. Майкино дыхание.

— Майка! — позвал я.

И тогда в трубке задолбонили короткие прерывистые гудки.

Только сейчас, в недоумении отстраняя трубку, я увидел, что Гошки Вяземского уже не было в кабине. Он стоял за стеклом, снаружи. Когда он успел выйти? И почему я этого не заметил? И отчего бы ему отсюда высказываться?

Не хотел подслушивать чужой разговор? Или он не мог его слушать?..

Я покинул будку.

Гошка смотрел на меня неодобрительно, хмуро и чуточку жалостливо.

— Ну? Говорил же...

— Что?

— Я говорил: не надо.

Да. Говорил.

— Мамаша, значит? — спросил я, сощурясь.

— При чем здесь мама! — Он грозно надвинулся на меня. — Она здесь ни при чем. И ты — не смей... Она только в одном виновата, что говорила, будто дома нет. А ее Майка заставляла врать. Понял? Вот и все. Теперь ты все знаешь.

— А... почему? — спросил я.

Я задал этот вопрос машинально. Мне вовсе не

нужно было ответа. Мне вдруг, в одну секунду, все на свете сделалось совершенно безразличным.

Гошка помялся, потом сказал небрежно:

— Новая у нее дурость. Появился там какой-то... задохлик. Шахматист.

Но вдруг оживился:

— С Тиграном Петросьяном — ничья. Во Дворце пионеров, на сорока досках. Представляешь, ничья! В пятнадцать лет — ничья с Петросьяном...

— Пока, — сказал я.

И пошел.

— Женька...

Он догнал меня.

— Женька, я сегодня собираюсь в одну компашку. Магнитофон там колоссальный — «Грюндиг». Послушаем, потанцуем... а?

— Пока.

Я пересек площадь.

За склизкой от дождя оградой зоопарка стояли голые деревья. Аллеи, огибающие пруд, обычно такие людные и шумные, сейчас были пусты. Да и сам этот пруд будто вымер, лишь пара лебедей лениво плавала вокруг дощатого домика, а поодаль, на берегу, зябко отряхивались утки. Остальных птиц уже попрятали в помещения, чтобы они не простудились. Да и этим — лебедям, кряквам — по нормальным законам их жизни, наверное, уж давно полагалось бы отлететь в теплые края. Но они, конечно, никуда не улетали: или привыкли зимовать тут, или, как я слышал, им на всякий случай подрезают крылья, чтобы не сбежали.

Зато, как всегда в осеннюю пору, заметно прибыло другого населения, не обозначенного на табличках, а добровольно, по своей охоте обживающего зоопарк: ветки деревьев были черны от сидящего на них горластого воронья, а на слякотных дорожках шевелились воробьиные стаи...

Да, зима на носу. Еще одна зима. Зима.

А у ворот зоопарка стояла лоточница в белом халате, надетом поверх пальто, и торговала мороженым.

Она тут стояла вечно: и летом, и зимой, и весной, и осенью. Торговала мороженым.

Но, странное дело, все эти минувшие годы я как бы не замечал ее. Я несколько раз в день проходил мимо, но при этом никогда ее не замечал. Она как бы исключалась из моего поля зрения. Поскольку я не должен был ее замечать — ни ее, ни ее лотка. Мне это было заказано видеть. Мною руководил непререкаемый запрет, выслушанный давным-давно, именно здесь, на этом самом месте, у этих ворот.

И я ничего не видел.

И вот лишь сейчас, приблизившись к воротам зоопарка, я увидел, я обнаружил, что это не просто лоточница в белом халате, торгующая мороженым, а та самая лоточница, которая стояла здесь давным-давно, сто лет назад. Я узнал ее. Та самая пожилая женщина. И меня вдруг поразило своей очевидностью то, что за минувшие сто лет она, эта лоточница, насколько не переменилась: она осталась точно такой же, какой была.

А я за те же сто лет, за те же восемь лет переменился настолько, что меня-то, конечно, она ни за что бы не узнала, если б я даже ей напомнил, как однажды по неосторожности и неведению вздумал купить у нее «эскимо» и что потом из этого вышло.

Нет, конечно, не узнала бы.

И я, признаться, тоже сам себя не узнавал. Не только такого себя, каким я был в ту безумно дале-

кую пору, но даже такого себя, каким я был неделю назад, еще два дня назад, всего лишь час назад...

Я подошел к лоточнице, протянул ей полтинник и сказал:

— Пожалуйста, «эскимо».

Часть четвертая

I

— Женя, — сказал он, — я ничего не понимаю. Когда у тебя не ладилось с геометрией, то еще... то есть это было совершенно постыдно, однако...

— Я исправил по геометрии.

— Очень хорошо. Но... что это такое?

Он повернул лежащий перед ним лист — какую-то учительскую ведомость, — чтобы мне было видно, и ткнул в него своим коричневым пальцем.

— Что это такое?

Как что? Мне было прекрасно видно даже вверх ногами: «3» и «2». Против моей фамилии. Тройка — это по фортепьяно, а двойка — по теории музыки. Все в точности, никакой ошибки. Заработано на прошлой неделе.

— Женя, — сказал он тихо, — что это такое? Я просто не понимаю. Я отказываюсь понимать!

Вот уж это зря. Одно дело не понимать, а другое — отказываться.

Я стоял перед директорским столом, переминаясь с ноги на ногу, одергивая рукава. Меня в последнее время заела дурацкая эта привычка: поминутно одергивать рукава. Не то, чтобы они были мне коротки — вовсе нет, мне недавно выдали новую тулужурку, и она была в самый раз. Но я продолжал очень быстро тянуться вверх. Иногда я вроде бы даже чувствовал, как расту. Я, казалось, ощущал, как моя шея, а с нею и голова постепенно приподнимаются над плечами, как пальцам моих ног делается тесно в башмаках, а запястья сами собой лезут наружу из рукавов — и я поминутно одергивал рукава.

— Я исправлю.

Надо, конечно, исправить. Ведь эдак можно и остаться без стипендии на следующее полугодие.

— Женя, пожалуйста, сядь, — сказал Владимир Константинович Наместников и откинул в сторону ведомость. — Ты мне все-таки должен объяснить...

А что объяснять?

— Исправлю, — глухо повторил я.

Не мог же я, в самом деле, объяснить ему, что ненавижу теорию музыки. И практику заодно. Что я ненавижу музыку.

Ну, может быть, это и чересчур, и не совсем так, и даже вовсе не так — никакой особой ненависти я, конечно, не испытывал. Просто мне вдруг стало все равно. От спевок я был освобожден. От концертов я был освобожден. Впервые за всю свою жизнь я испытывал это жутковатое чувство освобожденности. Оно увлекало. Уроки? Но их можно учить, а можно и не учить — пронеси, господи. Фортепьяно — тоже дело хозяйское: хочешь — сиди, а хочешь — гуляй...

Я гулял.

Гулять по Москве очень интересно. Даже если кружить по одной только нашей Пресне, исхаживать ее вдоль и поперек, вкось и вкривь.

На перекрестках я читал таблички: Баррикадная



улица, Дружинниковская улица, улица Тысяча Девятьсот Пятого года, Декабрьская улица... У станции метро стояла бронзовая фигура рабочего, сжимающего гранату.

Я подолгу рассматривал тихие особняки на Большой Грузинской и на Малой Грузинской. Я вглядывался в их фасады, как в лица. Лица были каменные. Они, безусловно, хранили какие-то тайны.

Да, с некоторых пор у меня не оставалось сомнений в том, что все старинные дома битком набиты тайнами. Включая наше хорзое училище.

Однажды, когда я еще учился в восьмом классе, к нам явились люди с папками и чертежами, а следом другие люди — те уже с молотками и железными ломиками. Сверясь по чертежам, они взялись простучивать стены. Все подряд: и на первом этаже, и на втором, и в подвале. Стучат, прислушиваются. Потом, на перемене, видим — ломают стену...

Мы, конечно, еле высидели оставшиеся уроки. Кроме этого стука, уже ничего не слышали и строили

на сей счет различные догадки. Одни говорят: «Клад ищут». А другие говорят: «Ищут бомбу. Во время войны угодила в дом, не взорвалась и до сих пор сидит в стене». Не правда ли, большое удво-вольствие? Но все же интересно.

Однако тем дело и кончилось. Ничего как будто не нашли. Заделали стену. Собрали свои чертежи да железки и ушли — извините, что малость наследили.

А между тем искали именно клад.

Узнал я об этом из верных уст. От Полины Романовны, нашей привратницы, о которой я уже рассказывал. Она ведь, Полина Романовна, спокон веку сидит под этой дверью, под бесполезным медным ко-локолом. А живет в бревенчатой развалюхе — все никак не соберутся снести, потому, наверное, что с улицы ее, развалюху, не видать.

И само собой разумеется, что Полина Романовна знала всю подноготную старинного особняка, где помещается наше училище.

Как-то зимним вечером я засиделся за фортепьяно (тогда я еще сживал допоздна) и, спускаясь по лестнице, перекинулся парой слов с Полиной Романовной: нет ли мне, дескать, опять каких-нибудь неожиданных писем, как здоровье, как погода, то да се. А было это вскоре после того, как у нас простукивали и ломали стены.

Полина Романовна тоже, видно, скучала в этот долгий зимний вечер. И от скуки поведала мне такую историю.

Что жил в этом доме, где теперь хоровое училище, богатый купец, действительный статский советник Петр Иванович Щукин. Он владел мануфактурами в Москве и близ Москвы.

Только сперва он жил не в нашем доме, не на Большой Грузинской, а неподалеку — на Малой Грузинской. В роскошном дворце, который выстроили ему на заказ: чтобы дворец был похож на боярский терем — с затейливыми столбцами, коньками, крылечками, но чтобы все это было не деревянное, а каменное, кирпичное да еще украшенное изразцами.

Дворец построили. Он и по сей день стоит на Малой Грузинской. Я ходил, смотрел. Довольно красивый дворец.

Однако и этот дворец не разорил Петра Ивановича Щукина. Деньги еще оставались. Они не убывали, а прибывали. Тогда он решил собирать коллекцию. Но он не марки собирал, и не спичечные коробки, и не конфетные бумажки. У него была другая страсть. Он собирал предметы русской старины. Золотые вазы, серебряные блюда, хрустальные кубки, фарфоровые чашки. Еще древние рукописные книги, мечи и сабли, парчовые одежды. То есть все подряд скупал — лишь бы старинное, лишь бы русское.

Вообще московские купцы-богатеи были охочи до подобных затей: собирать коллекции, заводить галереи, везти диковины со всего мира в Россию.

Вот и младшие братья Петра Ивановича пристрастились к тому же. Дмитрий Иванович разъезжал по Европе и скупал там картины старинных мастеров, а Сергей Иванович — тот предпочел новых: он отправился в Париж и увез оттуда в Москву самые лучшие картины Моне, Дега, Ренуара...

А у старшего брата к тому времени во дворце на Малой Грузинской скопилось такое невероятное количество вещей, что это уже стал не дом, а музей. И Петр Иванович Щукин решил: «Коли музей — пусть и будет музей». Взял да и подарил этот свой дворец вместе со всем драгоценным скарбом Историческому музею, городу Москве.

Сам же перебрался в маленький особняк на Большой Грузинской — тот, где теперь помещается

наше хоровое училище. Он купил его за сто пятьдесят тысяч рублей. Поселился тут и вскоре умер.

А перед тем замуровал клад.

Наверняка замуровал. Ведь вот, когда пробивали Новый Арбат и когда там начали крушить старые дома, в которых до революции проживали богачи, то чуть ли не в каждом доме обнаруживали клады: экскаватор лишь тронет ковшом стену — и вдруг оттуда посыплются золотые монеты, ожерелья... Я об этом даже в газете читал, в «Вечерке».

Так что все наши мальчишки были уверены, что и в училищных стенах замурован клад. И после того как у нас побывали эти люди с чертежами и кирками, а потом ушли, ничего не добившись, мы еще целый год самостоятельно простукивали стены. Это сделалось даже привычкой: идешь по коридору — и стучишь согнутым пальцем. То повыше, то пониже. Чутко ловишь звук. Однако толстые стены старинного особняка повсюду отвечают одинаково глухой непро-ницаемостью.

Где же тайник? Ведь должен он быть, этот чертов клад!..

Одна лишь Полина Романовна сомневается, покачивает головой и твердит, что, мол, Петра Ивановича клад — в Историческом музее, а клады Сергея и Дмитрия Щукиных — те на Волхонке.

Я и прежде бывал на Волхонке, в Музее изобразительных искусств. Нас водили туда всем училищем, просвещаться.

Но от первых походов остался довольно неприятный осадок. И об этом надо рассказать, если уж быть до конца честным.

Дело в том, что среди развешанных в этом музее картин было очень много таких, на которых голые женщины. Где слегка прикрытые, а где во всей своей неприкрытой наготы. Были и статуи того же приблизительно содержания: голые женщины.

Лично меня это нисколько не смущало. Я уже знал о том, что художники и скульпторы любят воспевать красоту человеческого тела. Так что я не видел в этом ничего зазорного. Я просто ходил по музею и смотрел.

Однако должен заметить, что вообще мальчишки ведут себя довольно безобразно в таких вот музеях, где выставлена обнаженная натура.

Там ведь не только мы были в тот день — были и другие школьники, обыкновенные, из обычных школ. Пионеры, небось. И если девочки держались вполне достойно, с благоговейным и серьезным видом созерцали великие творения и даже что-то записывали в блокнотики, то некоторые ребята, увы, вели себя нескромно, неприлично: они у каждой такой картины и подле каждой такой статуи подталкивали друг друга плечами, хихикали, перемигивались. Впрочем, я думаю, что это скорей от смущения, чем от безнадежной испорченности. Но когда подле тебя люди ведут себя так, поневоле и сам засмущаешься, разозлишься даже...

А теперь я бывал на Волхонке один. Теперь, когда я был «освобожден» и упивался горькой своей свободой.

Я гулял по Москве, часто ездил на Волхонку. Вот так получилось, что именно теперь, когда я возненавидел музыку, ну, во всяком случае, теорию музыки, меня вдруг отчаянно стало тянуть сюда, в этот музей, где не было никакой музыки, но где всякий раз я испытывал ту же радость, то же счастье, какое прежде дарила мне музыка...

Оно было очень светлым, это новое счастье. Свет-



лым — в самом прямом смысле слова. В смысле света.

Вот бывает, что ты идешь по каким-нибудь загородным местам. Справа от тебя зеленый лес, а слева — голубая река. Посредине вьется желтая тропинка, обок ее колосятся хлеба, а в них мелькают васильки да ромашки. Очень все красиво, все радует глаз. Но солнца при этом нет: оно скрыто облаком,

и поэтому все окрест постоит в сплошной и ровной тени.

Как вдруг — неожиданно, мгновенно, будто выскерк молнии — солнце вырывается из-за облака. И тотчас все преображается.

То есть лес по-прежнему остается зеленым, река голубой, тропинка желтой, ромашки белыми — но как все изменилось! Это уже совсем другая зелень,

другая голубизна, другая белизна. Все другое. Другой, ослепительный, невозможный, солнечный мир!..

Вот примерно это же было в музее на Волхонке.

Я неторопливо шел, огибая стены, из двери в дверь, из зала в зал. Повсюду висели картины. Там были леса и поля, реки и горы. Человеческие лица. Были столы, заваленные дичью и фруктами. Улицы и площади незнакомых мне городов. Кое-где рубились насмерть конные и пешие воины. Кое-где объяснялись в любви. Однако все это без исключения пребывало в тени. Горы в тени, улицы в тени. Рукопашные схватки происходили в тени, и влюбленные целовались в тени. Между тем на некоторых картинах можно было различить места, освещенные солнцем, и места, на которые падала тень. Но — не знаю даже, как это объяснить, — солнечные места все равно оставались в тени, просто они были немного светлее, чем те, что уж совсем тонули во тьме.

Как вдруг, едва я переступил порог нового зала, все переменялось. Возникло то самое ощущение, о котором я только что говорил: долго не было солнца, оно пряталось среди туч — и внезапно вырвалось из-за края...

Меня ослепило. Я зажмурился. Я подумал даже, что нечаянно ошибся дверью и попал не из зала в зал, а прямо из музейного тихого сумрака — на яркую летнюю улицу...

Я снова раскрыл глаза. Нет, это был по-прежнему музей. На стенах висели картины. И, в общем-то, было на этих картинах все то же самое, извечное, что облюбовали для себя художники: леса и горы, мосты и церкви, лица людей, тела людей, цветы.

Но каким пронзительным светом было все здесь озарено! Как обжигали солнечные пятна, как свежа и прохладна тень! Воздух струился, тек, журчал — подойди и глотни. Листья деревьев явственно трепетали. Цветы терпко пахли. Море дыбилося. Женские глаза были нежны и влажны...

Такие чистые краски. Такая живая жизнь.

Теперь, бывая на Волхонке и часами простаивая перед этими картинами, я пытался угадать, как же они сделаны, я рассматривал их близко, в упор, я уже различал запечатленные движения кисти, бросавшей краску на холст. Щедрую лепнину Моне. Уложенные рядками мазки Ван Гога. И как бы источающие друг дружку краски Ренуара...

Я выходил из музея.

Я вышел из музея, миновал колоннаду, остановился на широкой лестнице, ниспадающей к скверу, к Волхонке. Присел на ступеньку.

Был солнечный и жаркий день. Люди шагали торопливо, будто асфальт жег им пятки. Они были одеты по-летнему пестро: ситцевые платья и сарафаны, рубахи навыпуск. Все больше молодежь — ведь тут университет рядом, Ленинская библиотека, бассейн «Москва», справа метро и слева метро. Поперек улицы стояли красно-белые решетки и колышки с натянутой веревкой: дорожники сновисто рисовали на черном асфальте белые пунктиры разграничительных линий. Машины гуськом шли в объезд — зеленые, синие, желтые, серые и даже розовые машины. Мигали светофоры: красный, желтый, зеленый...

Все вокруг было ярко, шумно и празднично.

А я сидел на ступеньке лестницы — очень одинокий и очень несчастный человек. Потерявший все на свете. Потерявший голос. Потерявший Майку.

Позади меня, там, в музее, были эти радостные, полные жизни картины. Хотя их создатели уже ушли с земли. Передо мною, на улице, кипела и гомонила эта обычная и прекрасная жизнь.

А я был где-то между.

Я сидел на ступеньке. Потерявший все. И сам потерянный.

Вот так же я когда-то, давным-давно, потерялся в зоопарке. Совсем еще малыш. Это был мой самый первый день в Москве. И я в первый же день потерялся. Сел на скамеечку и заплакал.

А разве я тогда заплакал?.. Ничего подобного. Я тогда встал, огляделся и пошел. И это было правильное решение.

Я встал. И пошел. Асфальт действительно был так горяч, что даже сквозь подошвы обжигал ступни. Я ускорил шаг. И теперь меня никто не обгонял: я теперь шел наравне со всеми, уловив тот напористый, энергичный темп, который свойствен московским пешеходам в будничные, деловые часы дня.

Я шел в густом потоке людей, устремленном к Манежной площади, улице Горького и Красной площади.

И тогда я услышал это.

То есть я услышал шаги. Свои шаги. И шаги окружающих меня людей.

Но это были уже другие шаги.

Это были шаги басовых октав. Тррам-там-там-там... тррам-там-там-там... Сначала вверх, потом вниз. Опять вверх... Повторяющиеся ходы басов, неизменные в своем рисунке и ритме. Упорные басы... Так это и называется в музыке: «бассо остинато» — упорные басы. Нет, лучше — упрямые басы!.. Тррам-там-там-там...

Я заметил, что мизинец и большой палец моей левой руки сами собой растопырились на полную октаву и вздрагивают в такт.

Да, это левая рука. А что правая?

Я вслушался...

Нет, пока я еще не мог уловить самой мелодии. Я только угадывал, что она должна делать — эта правая рука. Она, конечно же, должна заспорить с упрямыми ходами басов: мол, вы упрямы, а я вас все равно переупрямлю. Я нарушу ваш точный ход. Я сломаю размер. Вот вам: та-та, та-та, та-та... острые, колючие синкопы... Или еще лучше — морзянка: все пять пальцев правой руки поочередно, прерывисто выстукивают точки на одной и той же высокой клавише, чуть задерживаясь, когда длится тире...

А все это вместе...

Дико скрежетнули тормоза. Милицейский свисток рассек воздух. Автобус, брыкнув грузным задом, остановился перед самым моим носом.

А, черт, ведь я и позабыл, что здесь нельзя перебежать улицу, что здесь недавно прорыли подземный переход.

С опаской оглянувшись на милиционера, я метнулся к подземелью. Водитель автобуса ругался вслед.

Я бежал по тоннелю.

Между прочим, я несколько не испугался. Мне было даже отчего-то весело.

Потому что я уже знал — я уже твердо знал, — что если бы этот дурацкий автобус и сшиб меня, и я лежал бы плашмя на дороге, неподвижный, но, конечно, живой, — и отовсюду бы уже сбегались прохожие, и где-то вдалеке уже завывала бы «Скорая помощь», а я лежал бы ничком, беспамятный, — то и тогда, и тогда бы растопыренные пальцы моей левой руки шарили бы по земле упрямым ходом басовых октав, а пальцы правой руки, поочередно стучась в одну и ту же точку, выбивали бы суматошную морзянку...

Но, по правде говоря, это началось раньше. Только я не придавал значения.

Ведь тогда я был еще при голосе. Мы летом жили в Верее, в пионерском лагере, и я сильно скукался по Майке и, чтобы пересилить эту скуку, много играл на фортепьяно. Я целые дни проводил в одиночестве на веранде, где стоял старенький кабинетный «Беккер».

Другие в это время купались в речке, загорали, ловили бабочек, валялись дурака, то есть делали то, что положено делать нормальным людям, когда у них каникулы.

А я сидел за роялем.

Тогда у меня было два божества: Шопен и Скрябин. Даже верней будет сказать, что я уходил от одного божества к другому — от Шопена к Скрябину. И сам Скрябин деятельно помогал мне в этой смене божеств. Играя его вещи, я воочию видел, воочию — если можно так выразиться — слышал, как и Александр Николаевич Скрябин одолевал в себе шопеновское наваждение. Ведь ранний Скрябин похож на Шопена. И я думаю, вовсе не потому, что он подражал великому поляку, повторял зады. О, нет! Просто они были очень схожи как люди — благородной своей деликатностью, мятежностью своего духа...

Но Скрябин уже уходил от Шопена — к себе. И уводил меня следом.

Я до хруста выламывал пальцы, стараясь ухватить аккорды Третьей сонаты... Нет, не получается. У меня просто не хватает рук. Что ли, руки у меня малы?... А как же он играл? Ведь у него, я знаю, были маленькие, совсем детские руки. И он, должно быть, тоже изрядно мучился, распластывая кисть, чтобы взять эти чудовищные, им самим же изобретенные аккорды и эти пассажи...

Однажды он доигрался до того, что отнялась правая рука. И тогда он сочинил прелюдию для одной левой.

Нет уж, спасибо. Нам это ни к чему. Я убираю пальцы с клавиатуры, встряхиваю ими, поднимаю руки вверх, расправляю натруженные плечи. Хватит...

Однако руки снова сами собой тянутся к бело-черной дорожке.

Как же все-таки он, Скрябин, управлялся с этими аккордами?

Для начала я беру октаву: ми-один — ми-два. Это легко. Но звучит слишком пустынно, слишком голенько. А ну-ка: ми-один понижаем на целый тон — взято! И теперь это уже не октава, не восьмая ступень, а девятая — нона. (Так называется. А ведь, правда, красивое название: «Нона»? Будто имя девушки.) Только вот название красивое, а сам этот интервал не шибко ласков для уха. Хотя я и не боюсь диссонансов, но — бр-р-р... Зато сейчас я воспользуюсь одним секретом. Если этот интервал, нону, заполнить в середине еще тремя звуками, шагающими на терцию, через клавишу, то случится чудо: вместо неприятного и резкого диссонанса вдруг вспыхнет, засверкает необычайной красоты созвучие, чарующее слух... Это нонаккорд.

Скрябин очень любил нонаккорды. И я их люблю.

Но сейчас у меня другая забота. Надо тренировать руку. Тренировка — это все. Так. Теперь, значит, верхнее ми попробуем повысить на полтона... Тянишь, чертов мизинец, тянишь... Взята высота? Взята. И что у нас получилось? Получилась десятая ступень, децима. Очень хорошо.

А в какой же последовательности я все это выстраивал? Повторим. Итак: ми-один, ми-два, ре-один,

фа-два... Стоп, стоп! Если первое ми кратко, будто затакт, ведет ко второму протяжному ми, то это уже несет в себе размер — вероятно, три четверти... И фа уже требует какого-то естественного разрешения всей этой диковатой мелодии...

Мелодия? Да, это мелодия. Откуда же она взялась? Не знаю. Я просто брал поочередно большие интервалы: октаву, нону, дециму...

Три четверти. Вальсовый ритм. Тональность ля-минор.

А что, если в левой руке, в аккомпанементе на «раз, два, три» дать вначале разделенный нонаккорд другой тональности?..

Разве так сочиняется музыка? И вообще музыка ли это?

Не знаю. Не берусь ничего доказывать. И впрямь, как я могу утверждать, что это музыка? И кто может объяснить, как сочиняется, как возникает музыка? К тому же если она впервые рождается под твоими пальцами...

Но я рассказал все по правде. Все как было. Для меня это началось именно так, а не иначе.

И когда, уже перед самым обедом, Гошка Вяземский выскочил вдруг, как черт из преисподней — загорелый весь, черный, в одних трусах и еще в самодельных бусах из шиповника на шее — и оседлал загородку веранды, — в этот момент я уже не то, чтобы нащупывал, а довольно уверенно играл свой «Нона-вальс». (Так я и решил его назвать.)

Гошка послушал, перекинул вторую ногу, подошел, осведомился небрежно:

— Прокофьев, что ли?

Ну, и лопух.

— Ага, — подтвердил я.

Он еще послушал, отозвался снисходительно:

— Ноночки тут хороши...

— Ага, — согласился я.

Он еще послушал и сказал:

— А знаешь, Женька, ведь это все можно высчитать.

— Что — высчитать? — удивился я, прекращая игру.

— Все. Вычислить математически... Вот, например, если октава, то там будет соотношение один к двум. По частоте колебаний. Простая кратность. А если нона, то тут уж гораздо сложнее, но высчитать все равно можно. И нонаккорд можно запросто рассчитать... Любую музыку можно рассчитать!

— А зачем? — спросил я.

— Нет, погоди, — помаленьку заводился Гошка. — Вот у тебя тут, на рояле, сколько в октаве звуков, а?

— Двенадцать...

Я не переставал удивляться. Неужели Гошка Вяземский в течение одного лета успел позабыть все, чему нас учили многие годы? Или ему сегодня напекло голову? Вон ведь какой весь черный...

— Две-над-цать? — Гошка усмехнулся ехидно. — Не двенадцать, а восемьдесят пять. Это еще древние знали, сам Пифагор высчитывал. Ясно? А двенадцать для удобства оставили, чтобы попроще было... Вот ты бы попробовал сыграть на восьмидесяти пяти!

— А зачем? — спросил я.

— Как это — зачем?

— Ну, зачем? Мне и двенадцати хватает.

— А мне не хватает, — напустился Гошка и стал сердито тереть на шее свои дикарские бусы. — Мне, наверное, и восьмидесяти пяти не хватит...

— Почему?

Я участливо смотрел на него. Как-то странно выглядял сегодня Гошка Вяземский. Не заболел ли?

И тут Гошка — в одних трусах да босиком — вдруг стал в эдакую важную позу и торжественно изрек: — Я алгеброй гармонию поверил! — Потер лоб, задумался, уточнил: — Нет, не так. «...поверил я алгеброй гармонию». Сечешь?

— Что? — не понял я.

— Эх ты! Да это Пушкин. «Моцарт и Сальери» читал?

— Ну...

Откровенно говоря, я не читал «Моцарта и Сальери». В программе этого не было, а по внеклассному чтению как-то не успел. Но я все же имел представление об этой вещи. Я знал, что там Сальери отравляет ядом своего лучшего друга Моцарта. Бывают такие дружки.

— Ну? — на всякий случай переспросил я.

— Так вот, — жестко сказал Гошка. — Потянуло меня, старик, на чистую алгебру. Без гармонии, без музички... Буду готовиться в университет, на физфак.

— Брось, — не поверил я.

— Это решено, Женька. Только вот конкурс там страшный. — Он вздохнул. — Придется с осени идти в вечернюю...

3

Осенью многие ребята из нашего класса записались в вечернюю школу.

Благо, что рядом — и даже не рядом, а в том самом здании, где и наше общежитие, только вход с другой стороны. И все равно нелегкую ношу взвалили они себе на плечи: учись тут да учись там, туда и сюда одинаково надо готовить уроки...

Записался Гошка Вяземский. Записался Витюха Титаренко. Еще кое-кто из нашей безголосой отныне братии.

А я не записывался.

Некоторых, вероятно, удивит: ну зачем ребятам, которые уже учатся в одном заведении, начинать учебу в другом? Откуда эта безумная тяга к знаниям?

Тут все и просто и непросто.

Дело в том, что при выпуске нам не дают аттестатов зрелости. У нас ведь не обычная школа и даже не специальная школа, а училище — хоровое музыкальное училище. Нас выпускают отсюда готовыми специалистами. И вместо аттестата зрелости вручают документ, где фирмой печатью удостоверено, что ты проучился десять лет в музыкальном училище и стал заправским музыкантом: сам ученый — и других имеешь право учить.

С таким документом можно прямо поступать на работу. В школу, например. Учителем пения.

Только жаль, что в школах пение считают какой-то блажью, вовсе не нужной человеку в наш современный век.

Вот я расскажу про Владика Цифрина. Он закончил училище в позапрошлом году, и его взяли преподавателем пения в одну московскую школу.

А надо принять во внимание, что Владик не очень-то задался росточком, был тщедушным по сложению и даже болезненным на вид пареньком.

И вот он приходит на свой первый урок. В пятый класс. И там сразу же начинается сумасшедший дом. Пятиклассники эти — здоровенные парни, охламоны, дылды, все на целую голову выше Владика — они от смеха хватаются за животы, а девчонки, эдакие дуры, тоже фыркают в платочки да еще подначивают ребят. Владик, переждав чуточку, садится к роялю и говорит: «Дети, хоровое искусство возникло в глубо-

кой древности...» Они же после этих слов окончательно валятся с ног, начинают кувиркаться, ползать на четвереньках, мяукать, лаять и тому подобное. Владик Цифрин тогда говорит им уже поостроже: «Прекратите безобразие, вы в школе, а не дома...» Но и это не помогает. Кто-то из дылд включает в кармане на полную громкость транзистор и, разевая рот, изображает из себя Эдиту Пьеху, а двое других прямо на уроке начинают кидать рок-н-ролл... Тогда Владик встает и спокойно говорит: «Предупреждаю — я бью всего два раза: первый по голове, второй — по крышке гроба». (Это он говорит, наш хлипкий Владик, им, здоровенным дылдам.) Что ему было еще делать? Но, самое главное — это сразу подействовало: все эти охламоны испугались, присмирели, выстроились вокруг рояля, и Владик благополучно довел до конца свой первый урок.

Но эти поганцы тотчас нажаловались своим родителям, что учитель пения грозил им физической расправой, а папаши и мамы, возмущившись, побежали к директору школы, и уже на следующий день Владика Цифрина уволили.

Теперь он руководит фабричным хором. На кондитерской фабрике.

Помимо такой вот очень соблазнительной перспективы, документ об окончании училища дает еще одну возможность. Учиться дальше. Поступить в консерваторию или, например, в Гнесинский институт. Туда наших ребят берут охотно, поскольку знают, какой выучкой обладают питомцы Владимира Константиновича Наместникова. И если перечислить дирижеров и хормейстеров, которые начинали свой путь на Большой Грузинской, — все ахнут: такие это известные имена.

Словом, бумага об окончании хорового училища — надежная бумага. Надежная бумага и верный хлеб.

Однако минувшей осенью многие наши ребята записались в вечернюю школу. Им понадобился аттестат зрелости. Вот такая штука.

Ведь когда нас, семилетних да восьмилетних горластых мальчишек, привезли сюда, на Большую Грузинскую, мы еще не очень-то задавались вопросом: кем быть?

А тут выяснилось, что далеко не все мечтают стать хормейстерами, что не все желают обучать пению трудновоспитуемых подростков и не всех прельщает кондитерская фабрика.

И в эту самую пору Витюха Титаренко вдруг объявил мне, что он будет военным.

«Военным дирижером?» — спросил я его. «Нет, просто военным, — рассмеявшись отчего-то, сказал Витюха. — Я поступлю в военное училище». «А-а! Значит, в космонавты метишь?» — догадался я. «Нет, — замотал головой Витюха. — Я поступлю в пехотное, общевойсковое». «А зачем?» — удивился я. «Как это зачем? — в свою очередь, удивился и, кажется, даже рассердился Витюха Титаренко. — Я хочу быть военным. Офицером. Неужели не понимаешь?» «А-а! — наконец-то понял я. — Ну, теперь все ясно... Это потому, что тебя из «Буревестника» к себе ЦСКА переманило, вот почему. Верно?» «Балда, — глянул на меня презрительно Витюха. — Никто меня не переманивал, наоборот, я сам туда попросился, в ЦСКА. Может, это повлияет, когда будут анкету изучать... Знаешь, сколько туда желающих — в военное училище?» Витюха призадумался, потом сказал: «И еще туда, да аттестат зрелости представлять. Наше свидетельство не годится. Там ведь самое главное — математика, физика. А у нас эти предметы — по верхам...» «А как же музыка?» — спросил я. Витюха неопределенно пожал плечами.

Этот же самый прямой вопрос я задал Гошке Вяземскому, когда он поступил в вечернюю школу и стал с великим упорством готовиться на физфак. Он ведь задался целью не только получить аттестат зрелости, но еще и заработать — ни больше ни меньше — золотую медаль.

— Там все с золотыми, — объяснил он мне. — Конкурс золотых медалистов. Кто — кого... Без медали лучше и не соваться.

— А как же музыка? — спросил я, волнуясь.

— Музыка? — Гошка загадочно улыбнулся. — Будет музыка. Если примут — я там живо склею какой-нибудь джазик. «Веселый тангенс», а? И будем рвать призы на всех смотрах. Начальство это очень уважает! Не меньше ка-вз-зна... Знаешь, у нас в вечерней школе один парнишка учится — тоже собирается подавать на физфак, — вот если бы его заманить в такой джазик: понимаешь, он сам песенки сочиняет... Кстати, Женька, я хочу тебя с ним познакомиться. Завтра мы собираемся, все вечерники — отличные ребята! И девчонки есть забавные... Пойдешь?

— Не знаю.

— А чего тут знать? Пойдем — и все...

Ох, уж до чего настойчиво зазывал меня Гошка Вяземский, мой друг, во всякие свои компании! С чего бы?

— Ну пойдешь?

— Пойду, — согласился я.

И на следующий вечер мы с Гошкой действительно отправились в эту его компанию. Я еще расскажу об этом вечере, но только чуть позже, иначе позабуду о более важном. О гораздо более важном, хотя и не касающемся меня.

Маратик Алиев. Марат Алиев. Вот кто оказался одним из тысячи. Избранником судьбы.

Мутация у него началась раньше всех в нашем классе. И молчал он больше всех — года два молчал. А потом запел. У него открылся баритон — да какой! По тембру похожий на голос Лисициана, но, пожалуй, богаче лисициановского — да простит нас за это Павел Герасимович Лисициан, может быть, мы и ошибаемся, но все же следует принять во внимание, что Маратик Алиев из нашего класса, из нашего общежития...

Да, нам так нравился голос Марата Алиева, что едва ли не каждый вечер перед сном мы заставляли его петь. Силком заставляли. Он отнекивался, говорил: «Спать хочу». А мы: «Пой! Пой сию же минуту, а то, знаешь...» Бедный Маратик, тяжело вздыхая, подымался в рост на кровати, закутывался простыней, сплетал пальцы на уровне пупа, вздымал подбородок — и:

Пою-у тебе-э, бог Гименей!
Ты, кто соединяет
Невесту с женихом...

Мы замирали. Такой это был голос. А ведь мы понимали толк в голосах. У нас у самих когда-то были голоса.

Слава и хвала
Кризе и Неро-ону!
Слава и хвала-а-а...

В коридоре уже шлепали босые пятки: это подкрадывались ребята из соседней комнаты, это все общежитие собиралось, чтобы послушать концерт, послушать Марата Алиева.

А он между тем, позабыв, что ему хотелось спать, входил в раж. Его большие черные глаза округлялись вдохновенно и грозно. Вслед за рубин-

штейновской «Эпиталамой» звучали баритональные признания Онегина, за «Песней Веденецкого гостя» — «Фигаро, Фигаро, Фи-ии-га-ро...»

И теперь уже у нас самих смыкались глаза, мы зевали украдкой, борясь с подступающим сном.

А Маратик, стоя на кровати, все пел и пел...

После девятого класса он поехал на каникулы в свой родной город.

А в начале сентября к подъезду нашего училища подкатила сверкающая черная «Чайка».

Как раз была большая перемена. И мы все видели, все слышали.

Из черной «Чайки» вылезли два черных человека — у них были: черные волосы, густые черные брови и такие же, как у нашего Маратика, черные глаза. На них были чопорные черные костюмы, черные галстуки, черные штиблеты. На лацканах — какие-то важные значки, наподобие разноцветных флажков.

Как позже выяснилось, это были министр культуры и постпред (вроде чрезвычайного посла) той кавказской республики, откуда был родом Маратик Алиев.

Высокие гости чинно проследовали по лестнице и скрылись за белой дверью директорского кабинета.

Ну, а мы сгрудились под этой дверью и стали подслушивать. Интересно ведь. Кстати, подслушивать было нетрудно, потому что разговор в директорском кабинете сразу же после первых взаимных учтивостей перешел на высокие тона.

Я уж в точности не помню всего этого разговора и дословно не могу его передать, но отдельные фразы врезались в память.

«Нет, ни в коем случае! Мальчик должен окончить училище...». «Можете не беспокоиться, товарищ директор, он окончит другое училище». «Он поступит в Московскую государственную консерваторию!» «У нас есть своя консерватория, тоже государственная — ничем не хуже». «Это воспитанник нашего коллектива! Здесь его сделали человеком, музыкантом...» «Товарищ директор, его сделали человеком в нашей республике — он родился у нас. И мы тоже сделаем из него музыканта». «Я сейчас же позвоню Екатерине Алексеевне!» — задыхаясь от волнения, пригрозил наш директор. «Мы были вчера у товарища Фурцевой. Она просила передать вам сердечный привет...» — миролюбиво ответили гости.

Короче говоря, нашего Маратика похитили, умыкнули. Прямо с Пресни черная «Чайка» увезла его на Внуковский аэродром.

Весной он получил первый приз на международном конкурсе.

Ну, а в ту компанию, куда зазывал меня Гошка Вяземский, я сходил разок.

Это была довольно веселая и дружная компания — все вечерники, все отчаянные математики.

Познакомился я и с этим парнишкой, про которого мне говорил Гошка, что мечтает его заманить в «Веселый тангенс». Славный такой малый. И он на самом деле сочинял песенки. То есть мы весь вечер только и делали, что слушали эти песенки, которые он сочинил. Хорошие песенки. Одна про трамвай, которому надоело ползть по рельсам взад-вперед, и он нарочно сошел с рельсов, чтобы убежать в лес и там попрыгать по зеленой травке. Другая песенка про футбольный мяч, который все жестоко пинают ногами, и лишь один вратарь, поймавши, прижимает его к груди — хоть он весь и в грязи и в садах. И еще песенка...

Главное, что этот парнишка все сочинял сам: слова — сам, музыку — сам, сам пел и сам очень здорово играл на гитаре. Я его спросил: «А где ты учился играть?» «Нигде, — говорит. — Сам». «А сочи-

нять музыку?» «Нигде. Тоже сам». «А стихи?» «Сам». И петь — сам.

Вот бывают же такие счастливики! Которым все так легко дается. У которых все получается само собой. Шутя, играя. И ведь совсем не плохо получается.

А тут... Ну, ладно.

Еще в этой компании была одна девчонка. Рыженькая такая. С конским хвостом. Меня Гошка с ней познакомил и усадил рядом. А потом я ее провожал домой, в Новые Кузьминки. И там, в подъезде, мы с ней часа полтора целовались. Она мне свидание назначила на следующий день. Только я не пошел. Почему? А черт его знает. Может, и зря не пошел. Вполне нормальная девчонка.

4

— Жень, а Жень!..

Это опять меня тряс за плечо неугомонный Усачев, мой тезка. Теперь он уже в пятом классе.

— Чего тебе?

Я тяжело ворочнулся в постели. Вскользнув из-под щеки, шмякнулась об пол книга. Нет, положительно в этом доме человеку невозможно при полном покое и тишине почитать художественную литературу.

— Ну, Жень...

— А?

— Там тебя какой-то дяденька спрашивает.

— Что?

Меня как ветром сдуло с кровати. Даже не поинтересовавшись подробностями, я загрохотал вниз по лестнице. Руки мои, на ходу перебравшие все должные пуговицы, сами собой туго сжались в кулаки.

Откуда он взялся? Ведь я сам читал фельетон в газете. А вскоре после фельетона — еще маленькую такую заметочку: мол, три года. Нет, трех лет еще не минуло. Что-то рановато...

Но в воротах, к которым я решительно устремился, маячила совсем другая, даже издали непохожая фигура. Подтянутый такой гражданин в кожаной куртке, пестрой ковбойке, фотоаппарат через плечо. Беретик.

«Кто бы это еще?...» — всматривался я, замедляя нарочно шаг.

Но гражданин в куртке сиял мне навстречу улыбкой настолько радушной, что она как бы раздвинула скулы, отдала ухо от уха, и все его лицо вдруг сделалось в ширину просторней, чем если мерить ото лба к подбородку...

— Ко-о-о-лька! — заорал я, бросаясь к нему.

Мы обнялись. Мы сто лет не видались. Это был Колька Бирюков. Собственной персоной.

— Да чего же ты сам не зашел? — спросил я. — Дорогу забыл? Ну идем. Ребята, знаешь как...

— Нет, — нахмурился он. — Не могу. Времени, понимаешь, в обрез. Я ведь с поезда на поезд... А ты свободен?

— Я? Конечно.

— Ну и порядок.

Он оборотился, сделал знак.

Серая «Волга» с шашечками на борту и с погашенным огоньком, стоявшая невдалеке, послушно двинулась к нам.

— Куда? — спросил я.

— На Киевский вокзал.

— На Киевский? — удивился я. — Так это же рядом. Пешком можно... (Киевский вокзал и впрямь был сов-

сем рядом — рукой подать. Тут ведь у нас все рядом.)

— Садись-садись. — Колька похлопал меня по плечу, открыл дверцу. — Времени мало. С поезда на поезд.

Мы покатили.

— А ты куда едешь? — спросил я.

— В Трускавец. В санаторий.

— А... что у тебя?

Я невольно с испугом покосился на его живот. Мне было известно понаслышке, что в Трускавец ездят лечиться те, у кого «в животе всякие неполадки». Надо же, совсем молодой парень...

— Заболел, что ли?

— Нет, — отмахнулся Николай. — Просто, понимаешь, путевка горела в месткоме. Прислали путевку — никому не надо, не годится. А у меня как раз отпуск... Вот и пришлось ехать. Скука там, говорят.

Через пять минут мы были на Киевском вокзале.

Колька расплатился с таксистом и, как я заметил, дал ему сверх счетчика полтинник. Фу ты, ну ты!

Мы пересекли зал ожидания и вошли в роскошный ресторан, где гомонила публика, витало гулкое эхо и пахло жареным луком.

Сели за столик, покрытый жесткой белой скатертью. В стеклянной вазе были цветы — белые с желтым... нарциссы, что ли? Да, кажется, они так называются.

— Ну, как дела? — спросил Колька Бирюков, широко расположив на скатерти локти, наклонясь ко мне, потому что вокруг очень сильно галдели. — Как жизнь?

— Ничего, — ответил я. — Нормально.

— Заканчиваешь?

— Да, последний год.

— А это... — Колька щелкнул себя по кадыку. — Есть?

— Нет, — покачал я головой. — Нету. Давно нету.

— Понятно. Куда же собираешься двигаться?

Я неуверенно пожал плечами.

То есть я мог бы, конечно, рассказать ему, Кольке Бирюкову, о своих намерениях. Поделиться с ним своими пока еще робкими планами, но... мне было просто неловко и стыдно тратить на эти пустяки драгоценное время, тем более что Колька сам говорил: времени в обрез, с поезда на поезд. И прежде всего надо было его самого расспросить о его делах, о его житье, обо всем, что было с ним за эти долгие годы... Я все еще не мог прийти в себя от неожиданности и поверить, что сейчас предо мною собственной персоной сидит не кто-нибудь, а именно он, Коля Бирюков, сидит себе, разложивши локти, и улыбается от уха до уха, как ни в чем не бывало.

Впрочем, нашу беседу прервал официант.

— Слушаю вас, — сказал он.

Колька раскрыл меню. Распорядился:

— Две селедки, два борща, двое котлет.

Потом взглянул на меня и снова щелкнул себя по кадыку:

— А это?

— Что?..

Я уж было подумал, что он опять спрашивает, остался ли у меня голос. Но догадался, что он не об этом спрашивает, а о другом.

— Нет, — сказал я, слегка смутившись.

— Нет? Ну, тогда и я нет. Нет, — объявил он выжидающему официанту. — Ситра дайте.

Все-таки он был мировой парень, Колька Бирюков. Железный друг.

— А ты как поживаешь? — спросил я, когда отошел официант. — Все там?

— Там. Хорошо поживаю. Вот уже четвертый год,

северные получаю... И я теперь, Женька, между прочим, председатель месткома. В зверосовхозе.

— Иди ты, — не поверил я.

— Ей-богу, недавно выбрали.

Я сидел и хлопал глазами, все еще не смея поверить. Председатель месткома... Это просто поразительно, как у нас смело выдвигают молодежь. Вот теперь-то, небось, он и в самом деле Николай Иванович.

Нам принесли борщ. Горячий, красный, пахучий. Чудо, а не борщ.

— А собака твоя как поживает? — спросил я.

— Пон? — Колька полез в нагрудный карман. Достал оттуда тугой бумажник, вынул фотокарточку. — На, погляди.

С фотокарточки смотрел на меня, высунув язык, очень потешный пес, белый с черными пятнами, ужасно лопоухий и потому отдаленно смахивающий на самого Кольку Бирюкова. Отличный пес.

— Это я сам снимал, — пояснил Николай, похлопав кожаный футляр своего фотоаппарата. Потом достал из бумажника еще одну карточку, протянул мне. — И вот еще, сам снимал.

С карточки смотрела на меня какая-то незнакомая девушка. С чуть раскосыми глазами, скуластенькая такая, широко улыбающаяся и тоже чем-то похожая на самого Кольку Бирюкова.

— А кто это? — спросил я.

— Это Люба. Моя жена.

Я балдел от минуты к минуте. Ну, надо же — с таким вот достоинством выдавать одно за другим: «Председатель месткома...», «Моя жена...»

— А почему она с тобой вместе не едет на курорт?

— Ей сейчас нельзя ехать, — ответил Николай. — Мы скоро ждем... сына либо дочку.

На сей раз, как мне показалось, Колька и сам немного засмутился: концы оттопыренных ушей явно покраснели. Но, может быть, это вовсе не от смущения, а от гордости и счастья.

Да, передо мною сидел счастливый человек. Со всем уже взрослый человек, если принять во внимание только что выясненные обстоятельства, и еще не окончательно взрослый, коли у него краснеют уши. Во всяком случае, это был определившийся в жизни человек, который знает свое место и который знает себе цену.

Что я был перед ним?

И мог ли я доверить сейчас ему, старому другу, мои мечты, мои надежды и планы? Мне очень хотелось их поведать, потому что никому иному, кроме Кольки Бирюкова, я не мог бы до конца открыться.

Мне хотелось объяснить ему, что, кажется, мне не прожить на этом белом свете без музыки. Ну вот, когда оглох Бетховен — он ведь все равно не смог жить без музыки. Или Скрябин, сочиняющий прелюдию для одной левой. Да останься он без обеих рук, он зубами грыз бы клавиши, и они бы у него звучали!..

Так вот. Если бы мне все начинать сначала, вернуться на сто лет назад, если бы мне заранее знать, что я поеду из тихого Липецка в Москву и буду счастливым человеком, у которого есть голос, а потом стану несчастным человеком, у которого нет голоса, — кабы все это мне знать наперед и решать самому, я бы все равно поехал, да-да, поехал бы!

Я уже твердо решил стать музыкантом. И у меня были надежды, имелись кое-какие планы. Мне очень хотелось рассказать о них Кольке Бирюкову.

Но я не посмел.

Я боялся, что с Колькой Бирюковым могло приключиться то, что бывает иногда с людьми после

горькой неудачи: они и оглянуться не хотят туда, где им не повезло, ну разве затем, чтобы плюнуть...

И я постеснялся заводить этот разговор.

Тут нам принесли котлеты. С жареной картошкой и дольками соленого огурца. До чего же здесь здорово кормят — в этом роскошном ресторане на Киевском вокзале!

— Ну, а как поживает Владимир Константинович? — справился Николай.

Я вслушался в интонацию, с которой был задан этот вопрос, и для верности всмотрелся в Колькино лицо: не кроется ли за этим вопросом старая обида или мстительная насмешка?.. Но нет, ничего такого не крылось. В этом заданном вопросе был лишь искренний интерес. И даже более того, мне показалось, что в этом вопросе прозвучала та сдержанная почтительность, с какой председатель месткома должен справляться о том, как поживает директор.

— Хорошо, — сказал я. — Работает. Только иногда хворает — у него печень...

— Печень? — воскликнул Колька. — Так вот с печенью и надо ехать в Трускавец. Там как раз печень вылечивают. Ему туда путевку надо. А они, елки-палки, засылают путевки без надобности, где никому не годится... Вот и приходится мне самому ехать. Скука там, говорят.

— Ты бы на обратном пути зашел к нему, — посоветовал я. — К Владимиру Константиновичу. Он, знаешь как... Он до сих пор из-за тебя переживает.

Я из скромности умолчал о том, что нашему директору случалось переживать и по другим поводам.

— Что ж... может, и зайду, — сказал, поразмыслив, Николай. — Только на обратном пути. Мне на обратном пути много чего надо проверить... Слушай, Женька, — вдруг озабочился он, — ты не знаешь, как сейчас в Москве насчитают пианин?

— Каких пианин?

— Ну, я имею в виду — свободно с ними или записывают на очередь?

— Не знаю, — с сожалением признался я. Меня как-то в последнее время не сильно занимал этот вопрос. — А зачем?

— Купить надо.

— А зачем тебе?

— Да это не мне, — сказал Колька, и концы его ушей опять запунцовели. — Это не мне, а сыну... или дочке... еще неизвестно кому.

— А-а.

— Да, — сказал Николай. — У нас там, правда, еще нет музыкальной школы. Но я буду сам учить. Для начала сойдет: я ведь все помню.

Он опять наклонился ко мне и, пытая взглядом — верю я или не верю, — повторил:

— Я все помню, Женька. Все.

Но тут репродуктор, висевший в ресторане, сообщил, что начинается посадка на львовский поезд. Тот самый поезд, на котором Кольке предстояло ехать.

Мы поспешно допили сидро.

5

Я видел. Я будто видел это своими глазами. Как их ведут — совсем еще маленьких и ни в чем не повинных детей, мальчишек и девочек — туда, на смерть. К газовым камерам. К страшному крематорию Треблинки, над которым стоит черный столб дыма.

Как по бокам колонны, в касках, в грузных сапогах, возложив на автоматы волосатые ручки, шагают эсэсовские солдаты.

41

И как впереди колонны, обняв за плечи мальчика и девочку, гордо подняв голову, идет Януш Корчак, воспитатель, учитель и друг этих детдомовских детей.

Они идут, а впереди столб дыма. И они уже все понимают. Они уже знают, что совсем-совсем скоро они не будут жить на земле, а станут этим черным дымом...

О господи, почему я опоздал родиться? Почему я не родился раньше лет на двадцать, чтобы поспеть на ту войну? Почему на моем счету лишь те фашисты, которых убил мой отец? А я даже не знаю, сколько он их убил.

Ну, ладно. Спокойней. С чего это я вдруг завелся? А вот отчего.

Я решил написать оперу. Детскую оперу. Ведь я уже знал, что скоро покину училище, этот дом, где я провел десять лет своей жизни. И мне захотелось оставить тут какую-нибудь память о себе, что-нибудь оставить тем мальчишкам, которые будут здесь после меня. И я решил сочинить детскую оперу.

Прежде всего надо было найти сюжет.

Я вспомнил, как два года назад, когда мы были в пионерском лагере близ Вереи и я там был пионервожатым у третьеклассников, — как однажды на берегу Протвы я читал им, своим огольцам, книжку Януша Корчака «Король Матиуш Первый». Про мальчика-короля Матиуша, про его друга Фелека, про маленькую негрятючку Ключ-Ключ...

Это очень хорошая книжка.

Ребята слушали, боясь шелохнуться. Они пооткрывали рты от негодования и страха, когда Матиуша повели через весь город, поставили у столба на площади перед выкопанной ямой, и взвод солдат зарядил ружья...

Я заметил, с каким облегчением вздохнули они, когда Матиушу заменили расстрел ссылкой на необитаемый остров.

Я закрыл книжку. Посмотрел на них. И вдруг у меня на голове сами собой зашевелились волосы.

Я представил себе, что именно этих ребят — мальчишек, моих корешей, третьеклассников, сидящих на берегу в одних трусах, загорелых, облепленных песком, — что именно этих ребят фашисты ведут под конвоем к газовым камерам. Туда, навстречу черному дыму...

Меня настолько потрясла эта мысль, что я, признаюсь, даже не посмел рассказать ребятам о самом Януше Корчаке и о судьбе его питомцев.

А, наверное, надо было. Надо, конечно, всю правду...

И вот теперь я решил написать оперу «Король Матиуш Первый». Но не просто оперу, а если так можно выразиться, двойную оперу. Чтобы в ней разыгрывались сказочные события, которые есть в самой книжке, а рядом, параллельно, вернее, контрапунктом, шла настоящая трагическая история, происшедшая в Трехлинке.

Именно так. Лично у меня не оставалось сомнений в том, что только так и надо делать эту оперу.

Загвоздка была в другом. Ведь книга Януша Корчака написана прозой. А для оперы все это требуется переложить на стихи. Кто их сочинит? Я в этом деле совершенный дуб. И, насколько я знал, в нашем училище никто стихами не баловался.

Но мне не хотелось откладывать весь этот замысел на после. Ладно, пока обойдемся без стихов. Я взялся за музыку.

Я сочинил два хорала: вокализных, без текста. Один — вступительный, радостный, вместо увертюры. А второй — реквием. Памяти погибших. Оба хорала — для детских голосов. И уж если я напишу эту

оперу (а я ее обязательно напишу), наши мальчишки так споют эти хоралы, что все обалдеют.

Писал я вечерами.

Дело в том, что у нас очень туго с инструментами. То есть сами инструменты есть — и рояли и пианино, — но комnat не хватает. Они, инструменты, распаханы по всем классам и даже по всем коридорам. А в одном коридоре стоят друг против дружки два пианино. А бывает так, что играют сразу на обоих. Ведь всем надо заниматься — вон сколько нас тут! И случается так, что за одним инструментом сидит один малый, играет занудные гаммы, а напротив сидит другой малый, играет моцартовскую сонату. Оба вместе играют, одновременно, стараясь не слышать друг друга, а как же не услышишь!.. Это и есть самый настоящий сумбуз вместо музыки — нехватка помещений.

Вот почему я дожидался вечера, когда уже все наиграются до полного изнеможения и отправятся спать. Тогда-то и наступал мой черед.

Я садился к роялю, выставлял на пюпитр нотную тетрадь, клал карандаш... Я играл. И записывал.

Я играл, искал. А оно не сразу находилось. Иногда очень долго не находилось. Но все же находилось. И я торопливо записывал найденное на нотном листе.

В обстановке сейчас было непривычно тихо, совсем тихо. И за окном было тихо. Там стыла зимняя ночь. Черно и бело. Как эти клавиши.

В коридоре слышались шаги.

Кто бы это мог быть в такой поздний час? Кому тут быть, кроме меня? Да еще Полины Романовны? Но она редко поднимается на второй этаж. И это не ее шаги...

Шаги помедлили у двери. Потом дверь приоткрылась. Я встал.

— Сиди, сиди... Полуночицаешь? Я так и подумал, что это ты.

На нем была тяжелая шуба, круглая шапка с бархатным верхом. В руке — суковатая палка.

Неужели он еще не уходил с работы? Или вернулся? Что-нибудь позабыл да вернулся — с ним бывает... Или просто так, гулял по улицам, по морозцу, увидел светящееся окно, непорядок...

Владимир Константинович Наместников опустился на стул подле рояля. Снял шапку, расстегнул воротник.

— Ну-ка, дай посмотрю...

Я покорно протянул лист.

Ведь он все равно знал, что я сочиняю музыку. И об опере знал. Он все про нас знал, всю подноготную.

— Хорал?

Его глаза скользнули по строчкам — слева направо и в то же время сверху вниз.

— Мм-м-м...

Он цедил звук носом. Первый голос. А теперь четвертый. Хорал был шестиголосный.

— М-да.

— Плохо? — напрямик спросил я.

— Нет, почему же? Совсем неплохо. Во всяком случае, интересно...

Он еще раз введливо стал изучать строки.

— Только, видишь ли, друг мой... Это как-то распадается надвое: вот левая рука, вот правая. Сразу видно, что ты сочинял на фортепьяно. А ведь это совсем другая стихия! Хор... Ты должен был это услышать иначе. Ведь ты сам пел в хоре.

Да, пел. Пел в хоре. Пел и без хора. Было когда-то.

Я сидел, опустив голову.

— Да ты что приуныл? — засмеялся Владимир Константинович. — Грех невелик И не с тобой одним



этот грех. Вон у Скрябина в Первой симфонии не получился хор — нет, не получился. Поют, поют, а все не хор...

Я еще ниже склонил голову. Я терпеть не мог, когда богохульствовали. Когда бранили Скрябина.

— Вот в «Прометее» у него хор отлично сделан! — сказал он, сжавшись все-таки надо мной и над Скрябиным. — А ведь я, Женя, видел его, слышал его — Александра Николаевича... Да. В одиннадцатом

году. Впервые играли «Прометей», Кусевицкий дирижировал, а за роялем — Скрябин, ма-аленький такой... ну, сверху казалось: я на хорах сидел, студентом консерватории был еще... Как он играл, брат ты мой, как играл! Ведь и звук у него был не силен, не то что, скажем, у Рахманинова, а какое подавал форте — мороз по коже!..

Он рассказывал, наклонясь ко мне, и я отчетливо видел сеточку красных жилок в его глазах. И сеточка эта густела, покуда он вспоминал.

Неужто он и впрямь слушал Скрябина? Неужто он так стар, наш старик?

— Есть у тебя что-нибудь новенькое для фортепьяно? — вдруг спросил он, изменив тон. — Ну-ка, выкладывай опус...

Я раскрыл портфель. Подал ему опус. Инвенцию, которую сочинил на прошлой неделе. Мне самому она очень нравилась.

Владимир Константинович снова погрузился в чтение. Потом сказал:

— М-да.

— Что? Тоже плохо?

Я был в полном отчаянии.

— А ты думаешь, я знаю?

— Как то есть...

Он опять заговорщицки склонился ко мне.

— Ты, значит, думаешь, что я все знаю? А вот и не знаю... Представь себе. — Он расстегнул еще одну пуговицу своей жаркой шубы, оттянул шарф. — Хор — вот это я знаю. И как из вас, сорванцов, людей делать, — тоже знаю. Хотя, положим, не всегда удается... — Директор задышал сердито.

Я тотчас догадался, что он имел в виду. У нас тут недавно один малый из девятого класса напился водки. Купил бутылку водки и выпил. Для пробы. Но я-то тут при чем?

— Пойми меня правильно, Женя. То, что ты написал, уже слишком серьезно, чтобы я мог судить: хорошо или плохо. Это уже не отметка — проставлять в дневник! Тут нужен другой судья... Знаешь, что? Сходи-ка ты к нему.

Он не сказал, к кому. Но я понял, кого он имел в виду.

— Да-да. К нему. Покажи, сыграй. Я тебе сейчас дам телефон...

Владимир Константинович, распахнув шубу, стал рыться в кармане. Но остановился, передумал.

— Нет, пожалуй. Не добьешься. Он ведь прячется — ему тоже надо музыку писать... Я позвоню сам.

Стоит ли говорить, что я пришел по указанному адресу на целый час раньше, чем было мне назначено. Опоздание, таким образом, исключалось. Но и являться в чужой дом прежде времени тоже как-то некультурно. Оставалось ждать.

Я битый час околачивался во дворе этого дома, где жил композитор и где, как я слышал, проживали одни композиторы, чтобы им было поближе ходить друг к другу в гости и чтобы их было полегче собирать на всякие там собрания.

Как видно, и дети, которые играли сейчас в этом дворе, были композиторские дети.

Я целый час наблюдал за ними.

Они, например, вот до чего додумались. Там, напротив подъездов, выстроились длинной шеренгой автомобили. Наверное, из-за того, что зима выдалась очень холодная, владельцы сейчас на них не ездили. Попробуй заведи. И эти машины были сплошь засыпаны снегом. Снег лежал толстым слоем на крышах, а колеса утопали в плотных сугробах: это, надо полагать, дворники накладывали, расчищая дорожки.

И вот целая шайка прилично одетых ребят занялась такой веселой игрой: они с разбегу вскакивали на эти частные машины, карабкались на крыши, а потом оттуда съезжали на зад, как со снежной горки, — кто быстрее съедет...

Правда, среди этих машин было несколько совершенно задрипанных «Побед», «Москвичей» допотопного выпуска — им и так уж пора было на свалку, и они не вызывали у меня особой жалости. Но вот, например, с краю этого ряда стояла «Волга». Она

тоже была густо облеплена снегом, но даже из-под снега было видно, что машина новехонькая, распоследней модели. Чудо, а не машина. И вот с этой новехонькой, роскошной машины один за другим съезжали на зад композиторские сынки...

Я до того возмущился, что хотел уж было шугануть их как следует, разогнать и добавить по паре подзатыльников. Но передумал. Я вдруг представил себе, как я их гоню, раздаю подзатыльники, а в это время на каком-нибудь высоком этаже отворяется форточка, и оттуда высовывается разгневанное лицо папашки: «Ты чего, бандит, моего мальчика трогаешь? Это моя машина, и сын тоже мой. Пускай ребенок играет... Ты сам кто таков, а?.. Милиция! Где милиция?»

Нет уж, ну их к лешему. Мое дело — сторона.

Сколько там натикало? Без пяти. Пора.

Я поднялся на лифте. Позвонил.

Дверь отворил он сам.

— Прощу! Сердечно рад...

Мне даже показалось по его улыбке, что он и впрямь очень рад меня видеть, своего старого знакомого. Что это он не из вежливости, а от всей души.

— Раздевайтесь... Вот сюда.

Я бы не преминул описать во всех подробностях квартиру, в которой жил композитор. Кому не интересно? И меня самого, конечно, эти подробности интересовали. Ведь я не знал, попаду ли сюда еще когда-нибудь.

Но я почти ничего не видел. Дело в том, что хозяин не стал водить меня по всем комнатам и хвататься: дескать, вот гостиная, вот спальня, а это у нас столовая — прошу, мол, к столу. Ничего такого, увы, не произошло.

Я видел только прихожую, где снимал пальто, а затем кабинет, куда он меня провел. Да и в этом кабинете, признаться, я тоже ничего не увидел. Кроме рояля. И кроме самого хозяина.

Я страшно, я дико волновался. Я отдавал себе отчет, какое значение для всей моей будущей жизни имеет эта встреча.

И я просто-напросто ничего вокруг себя не замечал.

Я смотрел на него. А он смотрел на меня своими заволаживающими очками с очень толстыми линзами.

— Итак, мы заканчиваем училище, — сказал он. — Мы пишем музыку.

Ага, вот именно. «Мы».

— Может быть, с музыки и начнем? Это всего понятней. Не правда ли?

Я кивнул, соглашаясь. Я тоже считал, что всего понятней на этом свете музыка.

— Прощу, — пригласил он меня к роялю.

А я думал, что сперва он посмотрит мои хоралы, которые изругал Владимир Константинович. Но я не посмел перечить. Подчинился.

Я сел к роялю.

— Что мы будем играть?

— «Нона-вальс», эту, — взялся я перечислять, — «Басно оstinато», инвенция...

— Инвенцию, — приказал он.

Я вытер о штаны потные ладони, навесил их над клавиатурой.

И тотчас зазвонил телефон. Ну, конечно. Это уж всегда так. Рок...

— Извините. — Он встал, подошел к телефону. — Да... А, здравствуйте, коллеги!

Ладно. Послушаем разговор коллег. Это тоже не лишнее. О таких беседах впоследствии рассказывают потомкам.

— Что? Да, разумеется, был... Это потрясающе! Невероятно...

Я наострил уши.

— Вдохновение? Это само собой. Но тут не только вдохновение. Тут прежде всего мастерство... Он? Он просто гениален. Уверю вас, голубчик, что равного ему сейчас нет во всем мире...

Я заерзал на табуретке от удивления. Вот как? А я пребывал в уверенности, что гениальнее всех он, хозяин квартиры, разговаривающий по телефону в моем присутствии. Что именно ему сейчас нет равного в мире.

— Да-да! А вторая шайба? Из-за ворот, под таким острым углом! Я не видел ничего подобного...

Разговор продолжался еще минуты две. Потом он положил трубку, развел руками.

— Извините...

И отошел к окну. Кажется, он был не на шутку возбужден.

— Инвенция, — напомнил я.

— Да. Пожалуйста.

Я заиграл инвенцию. Она была дьявольски трудна, хотя я и сам ее сочинил.

Но все же я поспевал следить не столько за своими пальцами, но еще — краем глаз — и за ним.

Он стоял у окна, спиной ко мне. Вдруг спина его как-то странно напряглась, плечи обострились. Он принял лицом почти вплотную к стеклу, и оно стало запотевать от его сердитого дыхания...

Я сцепил зубы от злости. Я все понял. У меня теперь не оставалось сомнений, кому принадлежит та «Волга» во дворе, с краю ряда. Я вполне мог себе представить, какую впечатляющую картину наблюдал человек, которому я играю свою инвенцию...

Ах, черт, все-таки надо было мне шугануть их как следует, надавать подзатыльников! А теперь истану все прахом. Сейчас вот брошу играть, встану, поблагодарю, уйду.

Но я продолжал играть. Потому что началась самая главная часть инвенции, и пальцы мои были так надежно опутаны сплетением голосов, что я, наверное, просто не смог бы оторвать их от клавиш...

Он был передо мною. Он стоял, облокотившись о крышку рояля, и смотрел на меня.

А я и не заметил, как он отошел от окна, как он оказался рядом. Но сейчас он был здесь. Я чувствовал на себе пристальный взгляд его очков. Мне даже показалось, что он слушает этими очками.

Он слушал.

И я уже знал, что он будет слушать, покуда я играю. Если даже там, во дворе, его машину перевернут вверх дном.

Он слушал. А я играл, убыстряя темп.

Лишь бы не зазвонил телефон... Нет, не зазвонит.

экзамен в консерватории. Самый главный, по композиции. А там еще куча других экзаменов. Я всю ночь напролет сидел за книгой, потом, когда уже не мог сидеть, прилег с этой книгой и, должно быть, нечаянно заснул: вот она под щекой, эта самая книга, учебник гармонии...

Наверное, я всего-то и проспал часа два. И в башке сплошная муть. Нет, ни за что не встану...

Я лягнул пяткой наугад. Но не попал.

А этот вездесущий Усачев уже тормозил меня с другой стороны кровати:

— Жень, а Жень...

Вот разбойник. Всегда меня будит именно он. Не кто другой, а обязательно Усачев. До чего неутомимый малый... И откуда он взялся? Почему он здесь, а не в пионерском лагере? Ведь уже месяц, как младшие классы отправили на Протву. Общежитие опустело. Все разъехались — кто куда. Лишь нам, абитуриентам консерватории и института Гнесиных, Владимир Константинович Наместников великодушно разрешил пожить на старом месте, покуда идут экзамены — хотя, откровенно говоря, мы уже по всем законам были здесь чужаками.

Но почему тут снова оказался Женька Усачев? Сбежал из лагеря? С него станется...

Ах, да! Я совсем забыл. Я все начисто перезабыл в этом утреннем изнуренном и тяжелом сне. Ведь они сегодня возвращаются оттуда, из пионерлагеря. Всем гамузом, всем хором.

Они, изволите ли видеть, едут за границу. В Польшу. На какой-то там детский певческий фестиваль. Им еще за полгода до этой поездки начали шить ноющие костюмы. Они уже месяца три долдонят на сценках польские песни: «Карлику, карлику...» Знают, небось, чем брать тамошнюю публику. А Женька Усачев будет запевать — теперь именно он, Женька, солист хора. Преемник Николая Бирюкова. Преемник Жени Прохорова. Отправляется, видите ли, за границу... Везет чертям: в наше старое время мы не шастали по заграницам, сидели дома. А эти — от горшка два вершка — за границу!

— Ну, Жень, слышишь? Вставай...

Погоди, вот сейчас тебе будет заграница. Я вскочил рывком. Заорал:

— Чего надо?

— Там тебя тетенька спрашивает.

— Какая тетенька?

— Не знаю... вот такая.

Он изобразил. Сложил губы бантиком, изогнул брови. А руками сделал эдакое плавное движение — широко, потом узко, потом снова широко. Вот же стервец. Пятый класс!

— Не знаю я никаких-таких тетенец, — сказал я. И опять повалился на кровать. Закрыв глаза.

— А она тебя спрашивает. Говорит, позови Женю Прохорова...

Но я просто хитрил. Я, закрывши глаза, обдумывал ситуацию. Я старался догадаться: кто бы это мог быть? Ну, кто?.. Майка Вяземская? Опамятовалась, значит, раскаялась? Пришла с повинной? А мне наплевать. Я уж давно позабыл. Все прошло, перегорело, покрылось пеплом... Впрочем, я знал от Гошки, что Майка недавно уехала в «Артек». Значит, она не может быть в Москве. Значит, не она... А кто? Неужели та рыженькая, с которой я познакомился в Гошкиной компании, а потом целовался в Новых Кузьминках? Заявилась... М-да. Как бы тут половчее смыслить? Скажем, тихонечко выйти черным ходом — и через забор, в зоопарк. Путь знакомый.

— Жень, а Жень...

Я с превеликим трудом раскрыл один глаз, посмотрел — еще сквозь поволоку сна: ну, конечно, он самый — Женька Усачев.

— Пошел на фиг, — сказал я. И перевернулся на другой бок.

— Ну, Жень!..

Он тряс меня за плечо.

Господи, когда мне дадут выспаться? Ведь я уже окончил это замечательное училище — не во сне, а наяву. Да, окончил. И завтра у меня вступительный

6

— Жень, а Жень... — канючил Усачев, не отходя от кровати.

Ладно. Будем мужчинами. Мы ведь уже совсем взрослые товарищи. Нам уже выдали бумагу с гербовой печатью. Паспорт выдали. Мы уже в консерваторию норовим поступить. Нам ли бояться подобных инцидентов? Объяснения с какой-то рыжей девицей? Ну, подумаешь, целовался! Так что из этого?

— Жень...

— Пошел на фиг, — сердито сказал я и решительно встал.

Одеваться мне было незачем: я ведь как лег, так и заснул одетый. В рубашке, в брюках. Вот только сандалии нацепить. И надо сполоснуться в умывалке. Причесаться малость.

Все это проделав мигом, я спустился по лестнице и двинулся к воротам той цепкой походочкой, какой выхаживают ковбои в иностранных фильмах, когда знают, что у ворот их поджидают старые приятели, по паре пистолетов в карманах — ну, и я тоже небрежно эдак сунул в карманы руки...

В воротах маячило что-то ослепительно белое. Белое — прямо до боли в глазах.

Белое платье. Вроде бы для выпускного вечера. Или даже скорее из магазина для новобранцев. Та-ак. Стало быть, разок поцелуешься в подъезде — и к тебе уже заявляются прямо в свадебном платье. Давай, мол, поехали во дворец бракосочетаний. Вон гляди, и машина стоит в переулке. Белый ворон...

Однако по мере моего приближения к воротам от сердца постепенно отлегалось.

Я уже был уверен, что это не рыженькая из Новых Кузьминок. Потому что стоявшая в воротах была совсем не рыженькая. И что не Майка. Потому что это была не Майка. То есть я окончательно успокоился. Потому что в воротах стояла совершенно незнакомая мне девушка. Довольно миленькая, довольно стройненькая, в ослепительно белом платье, но я мог поклясться, что сроду ее не видал. И, таким образом, никакой прямой опасности она для меня не представляла.

Тем более что она улыбалась мне навстречу какой-то очень несмелой и застенчивой улыбкой.

— Здравствуй, Женя, — сказала она, когда я подошел вплотную. И протянула мне руку.

— Привет, — сказал я, пожав эту руку.

— Ты меня, наверное, не узнал, — сказала она.

— Нет, почему... — сказал я. — Даже наоборот.

Чтоб мне провалиться на этом самом месте, у ворот, если я когда-нибудь ее видел.

— А вот я тебя узнала сразу, хотя ты и очень изменился. А я очень изменилась?

— Ничуть, — заверил я. — Нисколько.

Она посмотрела на меня внимательно. И губы ее слегка дрогнули.

Неужто заревет? Еще не хватало...

Но она опять улыбнулась:

— Я так и думала, что ты меня не узнаешь. Я Саша Тиунова. Из Липецка. Помнишь?

Мы шли по бесконечному метромосту — вниз.

Под нами была Москва-река. Слева, на мысу, круглился кратер стадиона — из него доносился глухой рык: там, наверное, происходил футбольный матч, там, наверное, сейчас сидело пол-Москвы, потому что был воскресный день. А справа, у Нескучного сада, близ монастырской стены жарилась на солнце и плескалась в воде другая половина Москвы. А прямо, где кончается мост, трепыхались флажки Лужни-

ковской ярмарки, там тоже кишмя кишел народ, и это, можно сказать, была третья половина Москвы: приезжий, проезжий люд...

Вот и рядом со мною, слегка откинувшись, потому что дорога под уклон, идет приезжая гостья, Саша Тиунова.

До этого мы долго стбляли с ней на бровке Ленинских гор, у парапета, вели беседу.

Я все уже знал. Что Саша приехала на экскурсию. Что в Липецке она работает на силикатном заводе, в лаборатории, лаборанткой. Что сей год она окончила вечернюю школу. (И, как я уже сам догадался, блистала на выпускном балу в этом белом платье.) Что Зинка Гвоздева поступила в медучилище. Что Верка Ивановна умерла.

Ну, и я, в свою очередь, рассказал Саше Тиуновой про себя — все как было, как есть. В общих, конечно, чертах.

Был уже четвертый час дня, я был зверски голоден (ведь и не завтракал), да и спутница моя, поди, тоже успела проголодаться, откуда мы гуляли.

У меня еще кой-чего шуршало в заднем кармане, а мы как раз достигли Комсомольского проспекта, и я пригласил Сашу в молодежное кафе. Я знал, что там подают сильно наперченный люля-кебаб и немного дерут за эту пищу.

Саша согласилась. В кафе было еще нелюдно. Мы выбрали столик у окна.

На эстраде, к моему удивлению, несмотря на столь ранний час, уже сидели парни в красных рубашках — пятеро: кларнет, саксофон, бас-гитара, пианино и ударник. Они играли «Мэн ай лав» Джорджа Гершвина, но, пройдя десяток тактов, смолкли безо всякой причины — и начали снова. Я понял, что это еще не концерт, а подготовка, что парни просто репетируют свою программу на глазах у жующей публики — может, у них не было для репетиций другого подходящего места. Совсем молодые парни. В красных рубашках.

Я, признаться, не люблю таких вот мелких самодельных джазов. Я люблю настоящий джаз. Большие, сыгранные, богатые медью оркестры: из наших — Олега Лундстрема, а из чужих мне понравился недавно приезжавший в Москву джаз Бенни Гудмана; он, пожалуй, был даже чересчур велик по составу, и, как говорили, оттого, что половину мест там занимали агенты цэ-рэ-у... Во гады!

Нам принесли по бокалу пунша с торчащими соломинками. Очень вкусный и недорогой напиток. Там одного льда по полбанки. Пьешь себе, а лед тем временем тает, и вроде питья не убавляется.

Парни смолкли. И начали снова — с того же самого такта.

Ну-ну, валяйте. Шлифуйте. Оттачивайте.

— Женя, — сказала Саша Тиунова, внимательно глядя на меня, — а почему ты не ответил на мое письмо? Я писала тебе. Ты получил?

— Получил. Оно у меня даже есть, это письмо, до сих пор сохранилось. Я его где-то спрятал.

— А почему ты мне не ответил?

— Не ответил? Я хотел ответить. Я все время собирался... Но так и не собрался.

— Почему?

— Не помню. Тогда, кажется, что-то такое случилось, и я не смог ответить.

— А что случилось?

Я сморщился, припоминая.

— Не помню... Я только помню: что-то случилось. А вот что, не помню. Ведь это давно уже было.

— Ты совсем ничего не помнишь, — сказала Саша. — У тебя очень плохая память.

— Нет, у меня хорошая память, — сказал я. — У меня, например, музыкальная память очень хорошая. Но я все эти дни занимался, занимался... Может быть, я немного перезанимался.

— У тебя завтра экзамен?

— Да. Завтра.

Кафе постепенно заполнялось. Пришли еще несколько молодых ребят, вроде меня, со своими девушками. Им тоже поднесли пунш. Ввалился какой-то небритый мужик, выпил рюмку у стойки и вызвали обратно. А так, в большинстве своем, заходили одни парни без девушек, должно быть, с футбольного матча (тут ведь рядом), рассаживались вокруг столов и заказывали жигулевское пиво. А поскольку они были без собственных девушек, то нахально разглядывали чужих, которые сидели в этом молодежном кафе.

Я заметил, что они особенно заглядывались на мою соседку, на мою девушку, на Сашу Тиуну. Не знаю, может быть, их привлекало то, что она была в белом платье; вроде бы с выпускного бала, вроде бы невеста. А это уж есть такие любители, которыми только подавай, чтобы с выпускного бала, чтобы обязательно чья-нибудь чужая невеста.

И на улице — ведь мы сидели у самого окна — то и дело кто-нибудь, поравнявшись с окном и покосившись в него, вдруг останавливался как вкопанный, столбенел и начинал хлопать себя по карманам, где мол, они там, сигареты да спички — курить захотелось...

Ну и народец! Болельщики чертовы. Шах-матисты.

И что они в ней находят? Я куда ничего особенного в ней не находил. Ей-богу.

— Жень, а ведь я тебе назрала...

— Что наврала?

— Будто я в Москве на экскурсии. А я вовсе не на экскурсии.

Потупясь от неожиданности, я стал сосредоточенно ковырять соломинкой талые крохи льда, оставшиеся на дне бокала.

То есть это не было для меня полной неожиданностью. Я как-то и сам уже догадывался, что она не на экскурсии. Мыслимое ли дело, чтобы человек приехал на экскурсию, а его до сих пор не свозили на бровку Ленинских гор — полюбоваться Москвой. Туда сразу и везут. А она — это уж точно — впервые побывала на бровке сегодня, со мной. И я тогда же догадался, что никакая, значит, не экскурсия. И я тогда же учуял, что она приехала не ради того, чтобы посмотреть на Москву...

Но я не ожидал так скоро этого признания.

— Еще два пунша, — попросил я официантку.

А ребята в красных рубашках, сидевшие на эстраде, между тем все играли «Мэн ай лав». Только теперь они играли уже, не сбиваясь, не возвращаясь к печке. То ли они уже кончили репетировать. То ли, нечаянно увлекшись, они позабыли, что это репетиция, что еще не пора начинать вечерний концерт — увлеклись мерным ритмом, чудесной мелодией и пошли, пошли, уступая друг другу попеременно соло...

Нет, вот что действительно хорошо в маленьких джазах — это свобода фантазии, свобода импровизации.

«Мэн ай лав». Человек, которого я люблю. Так вроде бы... Это женщина признается мужчине.

Неужели она все эти годы помнила обо мне? Ну, когда появилась пластинка, когда меня что ни день передавали по радио — тут, конечно, вспомнишь. А когда я перестал петь, замолк — что же ей обо мне напоминало? Или так и напоминало, что замолк, исчез? Может быть, ее встревожило это и она спе-

циально приехала в Москву искать меня? Вот ведь, оказывается, как я ей нужен. Что ж, это вовсе не плохо, знать, что ты кому-то нужен на свете. Только разве бывает так, чтобы с самого детского несмысленного возраста...

— Жень. — Она посмотрела на меня строго. — Я знаю, о чем ты сейчас подумал. Но это неправда. — Что неправда? — удивился я. — Ведь ты сама только что сказала...

— Ты не понял. Я сказала, что приехала не на экскурсию. А ты сразу завоображал...

Она отвернулась к окну. И губы ее снова, как нынче утром, дрогнули. Но она опять улыбнулась.

— Я не хотела тебе говорить. Я тоже приехала поступать в институт. В строительный... Но я завалила. Первый же экзамен завалила. Дальше не стоит — уже не наберу проходного балла.

— И что же теперь?

— Ничего. Вернусь в Липецк. Буду работать на прежнем месте. А через год — снова...

Вот, значит, какие дела? Я был несколько разочарован. Нет, не тем, что... Просто мне было очень жалко, что Саша Тиунова теперь уже не сумеет набрать проходного балла.

— Вот и порядок, — сказал я бодро, намереваясь хоть чуточку ее утешить. — Если завтра и я завалюсь, — уеду в Липецк. Поступлю на ваш завод. Возьмут?

— Нет. Не возьмут.

— А почему?

— Во-первых, для этого тоже надо сначала учиться... А во-вторых, ты не завалишься. Тебя примут.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, — сказала Саша.

Я незаметно под столом постучал по деревяшке. «Знаю...» Откуда у нее такая уверенность, с чего бы?

Я вдруг почувствовал то же самое, что было однажды, когда я сидел в ресторане на Киевском вокзале вместе с моим другом Колькой Бирюковым. Тогда я почувствовал: вот сидит передо мною взрослый, определившийся в жизни человек, который знает свое место и который знает себе цену. Но ведь то был Колька Бирюков, верней даже, Николай Иванович и ко всему прочему председатель месткома! Он был старше меня и годами и опытом жизни — я и смотрел на него, как на старшего.

А эта девица? Она моя сверстница. Что же дает ей право разговаривать со мной так, будто она гораздо старше и мудрее меня? Неужто и в самом деле правда, что женщины — даже когда они еще девочки — умнее нашего брата?..

И точно так же, как тогда, на Киевском вокзале, с Колькой Бирюковым, мне вдруг захотелось открыться ей, Саше, рассказать все как есть.

Я хотел объяснить ей, что, если она и окажется права, то есть если меня примут в консерваторию, — это еще не само дело, а лишь половина дела, даже меньше. Ну, может быть, и примут, и я выучусь, и получу диплом. Однако в этом дипломе никто не напишет: «фамилия — Прохоров, специальность — композитор». Фамилию-то, конечно, напишут, а вот насчет композитора... Тут уж мне с дипломом на руках придется доказывать, что я композитор. А это трудно: вот ведь некоторые доказывают-доказывают, а им все равно никто не верит...

Поступить в консерваторию — лишь половина дела, даже меньше.

И я хотел объяснить это Саше. Но не посмел. Потому что могло случиться именно так, как она предвещала, — что меня действительно примут. И было бы сейчас жестоко и стыдно пускаться во вся-

кие высокие рассуждения, сидя с человеком, которого уже не приняли, которого уже завалили.

— У тебя во сколько экзамен? — спросила она.

— В десять.

— А можно... я приду?

— Куда?

— Туда. Это где памятник Чайковскому. Я буду ждать возле памятника. Ладно?

— Ладно, — кивнул я.

Сквозь июльскую густую зелень, сквозь прутья консерваторской ограды я видел белое платье — там, у постаментов, на котором восседает Петр Ильич.

Экзамен по композиции был назначен в Белом зале. Белый зал. Белое платье. Я считал это добрым знаком...

И кто меня осудит за то, что я вчера стучал по деревяшке, за то, что сегодня уверовал в эту белую магию? Все это, конечно, глупости. Но в такой день поневоле шарахнешься от черной кошки, и выйдешь из дому с немой головой, и в троллейбусе станешь складывать цифры проездного билета... Страшно ведь, люди!

Вон и бородатый парень с толстущей нотной папкой, которого я заприметил благодаря бороде, уж в который раз он отворачивается к стене и подбрасывает монету — хоп: орел или решка?..

Было без четверти десять. К подъезду подходили седовласые старики и старухи. Вершители наших судеб. Были среди них и помоложе, без седин, но все равно вершители.

Мы расступались, образуя коридор, мы почтительно бормотали: «Здравствуйте... здравствуйте...»

И уж особенно раздался народ, когда появился он, композитор.

— Здравствуйте... здравствуйте...

— Здравствуйте, — ответил он, чуть поклонясь, мгновенным выверком очков оглядев нас всех разом.

Я стоял впереди. И он, безусловно, меня заметил. То есть он не мог не заметить меня, поскольку заметил всех. А я к тому же стоял впереди.

Но, кажется, он не узнал меня. Я скинул. Однако тотчас воспрянул духом: доброе предзнаменование! Не узнал — богатым буду, студентом буду.

Кроме того, у меня мелькнула мысль, что вполне возможно он нарочно сделал вид, будто не знает меня. Ведь ему, как члену экзаменационной комиссии, нельзя было обнаруживать перед всеми, что с одним из абитуриентов он связан давним личным знакомством.

Все гурьбой повалили в подъезд.

Я оглянулся. Петр Ильич Чайковский по-прежнему сидел в своем бронзовом кресле. Рука его застыла в легком взмахе.

А у подножия маячило белое платье.

Первой на экзамен вызвали какую-то девчонку. Пичугу — от земли не видно. Ее проводили снисходительными улыбками. Не потому, что такая пичуга. А потому, что всем было хорошо известно: в истории музыки, в истории композиции еще от века не обнаруживалось гениев среди особ женского пола.

Как-то женский пол не прижился в этой области. Всюду уж полный матриархат, а тут, слава богу, пока еще сохраняется справедливость.

Ко мне подошел парень, который с бородой и толстущей папкой, спросил:

— Ты с чем?

— Да так, — ответил я жалким голосом. — Этюд. Вальс...

— Ясно, — кивнул сочувственно бородач.

— А у тебя что? — поинтересовался я из вежливости.

— Симфония, — сказал бородач. И добавил значительно: — Вторая.

Тоже ясно. Значит, с Первой не прошел. Ну, это ничего. Может, Пятая удастся. Пятые симфонии, как правило, всем удаются.

В этом консерваторском здании были старинные, надежные стены. Хорошо пригнанные двери. Плотные затворенные окна.

И все же в эту минуту можно было если не услышать, то просто ощутить каждым нервом, как везде и всюду звучит музыка: стенание скрипок, задумчивая речь фаготов, пассажи фортепьяно, журчание арф, рулады человеческих голосов. На всех этажах, во всех коридорах, во всех залах и комнатах шли экзамены. Музыка пронизывала насквозь эти старинные, эти священные стены...

Выпорхнула пичуга. Лицо ее сияло счастьем.

То есть как?.. Неужели рушатся вековые традиции?

Строгая дама в пенсне, которая приглашала на экзамен, вышла следом, заглянула в список, назвала очередную фамилию.

Бородач, пригнув голову, будто готовясь бодаться, двинулся к двери.

А ко мне подошел (уж не знаю, отчего они все подходят ко мне?) немолодой уже такой товарищ в вышитой украинской рубашке:

— Як думаешь, хлопчик: у мэнэ — писні... Чи маю надію — з писніми?

В глазах его была нескрываемая тоска.

— Отчего же! — Я пожал плечами. — Песни — это очень нужно.

— Писни, тильки лисни... Га?

— Будет полный порядок, — обнадежил я его, рассматривая искусно вышитую рубашку.

Нет, действительно, отчего же не принять с песнями? Примут, конечно, если хорошие песни. Если они у него не такие тоскливые, как глаза.

Бородач появился минут через двадцать. Его долго слушали. Как-никак симфония!

Но вид его не оставлял сомнений в том, что я был прав: начинать надо сразу с Пятой.

Жаль парня...

Кто там следующий?

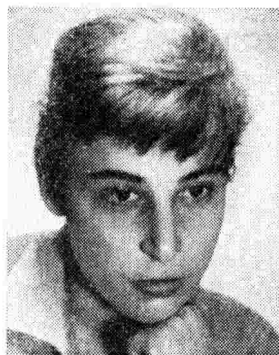
На всякий случай — может быть, напоследок — я выглянул в окно.

На месте ли Петр Ильич?

А белое платье?

На месте.

Дама в пенсне заглянула в список и вызвала: — Прохоров Евгений.



Юнна
Мориц

Три звезды

Опустели дачи. Отсырели спички,
На зрачок лиловый ходят электрички.
Холодеет небо, углубились дали.
Жарю ломти хлеба, грею «Цинандали»,

Надеваю свитер, потому что ветер.
Кто-то вереск ночью инеем отметил,
Этим и ответил на мои вопросы,
Будут ли морозы просветлять откосы

Млечным снегопадом, веяньем оттуда,
Где ничто так рядом, как намек на чудо.
А покуда — прелесть сырости осенней.
Что за птицы спелись в золоте растений,

В охре и кармине на каштане конском!
Чуден блеск в камине, в подлинном,
эстонском,
Праздник обогрева — в карей корке древа,
Сохнет обувь справа, плащ распластан
слева.

Деревом и глиной этот быт старинный
Дух ошеломляет в спальне и гостиной.
В чистоте кристальной, в нищете
холстинной
Обладали тайной жизни длинной-длинной.

Думаю об этом вдалеке от дома,
Но не предавая ни аэродрома,
Ни строфы, ни строчки на скамье вокзала.
Я в своей тетрадке только что сказала:

Сквозняки все чаще, проливни все больше,
Дыня стала слаще, а рябина горше.
От чего отвыкла, из чего возникла —
Это дуновение будущего цикла.

Может, я ни слова не скажу к заглавью,
А над первой строчкой три звезды
поставлю.

Ливень

Вертелись кусты за террасами,
И волны проглатывал грот,
И молнии с их выкрутасами
Дрожали, как плачущий рот.

Сандалики, кегли, купальники
Смывало и в море несло,

Гревели в саду умывальники —
Их крышки в падучей трясло.

И тот, кто шаланду с канатами
О мокрую шмякал скамью,
На круглую гальку наматывал
Лохматую пряжу свою.

Азарт оборвался в картежниках —
Колоды разбухли водой.
А в небе котлы на треножниках
Варились и пахло едой.

Такою немыслимой пищей
Оттуда тянуло сюда,
Что надо быть душой и нищей,
Бесчувственным лежбищем льда,

Чтоб маяться мокрой одежкой
И, слыша небес кипятков,
Не выгрести облако ложкой,
Не выпить последний глоток.

На стоянке

Плыл кораблик вдоль канала,
Там на ужин били склянки,
Тихо музыка играла
На Ордынке, на Полянке.

Так называю льдинки
Возле елочного зала.
На Полянке, на Ордынке
Тихо музыка играла.

Так бурливал на полянке
Тот ручей, где я играла.
На Ордынке, на Полянке
Тихо музыка играла.

Я как раз посерединке
Жизни собственной стояла.
На Полянке, на Ордынке
Тихо музыка играла.

Я снаружи и с изнанки
Ткань судьбы перебирала.
На Ордынке, на Полянке
Тихо музыка играла.

Тихо музыка играла
На Полянке, на Ордынке.
Мама стекла вытирала,
Где в обнимку мы на снимке.

Бумазейкой вытирала,
Просветляла облик в рамке.
Тихо музыка играла
На Ордынке, на Полянке.

Это было на стоянке,
Душу ветром пробирало.
На Ордынке, на Полянке
Тихо музыка играла.



Зоя Богуславская



СЕМЬСОТ НОВЫМИ

Рисунки И. Бронникова.

ПОВЕСТЬ

Конечно, и в тот весенний день 16 апреля (когда Костя Добровольский выбежал от Нины) у букинистического на Арбате прохаживалось привычное мужское общество. Конечно же, старик в мятом пиджаке с папками под мышкой, стайка школьников, помахивающих классерами для марок, и историк-студент в болонье и модной кепочке, закрывающей ползатылка.

И этот, по прозвищу Подробность, с тупым подбороком и дрожащими пальцами морфиниста, был тоже здесь. Он стоял около пожелтевшего, как старый потолок, пенсионера и хвастался объемистой рукописью. Костя уже видел эту рукопись в руках букиниста и был убежден, что сейчас он показывает старику заключительную главу «Дневников Гришки Распутина», которые Распутин якобы вел за год до трагической гибели. Рукопись была фальшивая, как были фальшивы таинственные намеки букиниста на некие малоизвестные стихи раннего Маяковского и неизданные мемуары Айседоры Дункан о Есенине.

Обычно появление Кости смущало Подробность. Быть может, потому, что Костя принадлежал к высшей породе людей, называемых «творческими умами». Кто знает? Скорее всего Подробность тушевался перед ним, как тушуются любители рассказывать только что происшедший с ними случай, почуяв человека, слышавшего рассказ уже много раз. Обычно он стыдливо прятал рукопись, которую предлагал, и независимо удалялся. Но сегодня...

Сегодня все было иначе. Небрежно оттерев собеседника-пенсионера, Подробность решительно двинулся к Косте.

— Разрешите...

— Что еще? — недовольно буркнул Костя.

— Могу, с вашего позволения, оказать услугу.

— Не нуждаюсь, — сказал Костя и втянул голову в плечи.

— Подумайте, — не отвязывался Подробность.

— Сказано вам... — угрожающе рявкнул Костя и повернулся к морфинисту спиной.

Настроение у Кости было преотвратительное.

Час назад, после того, как Нина тщательно застегнула на нем все пуговицы великолепно потертой куртки и подала начищенные, хорошо разношенные ботинки, она заявила:

— Кисточка, больше так не пойдет.

Костя уже поднял руки, чтобы на прощание обнять Нину, но она выскользнула.

— Либо ты наконец допишешь эти несчастные двадцать страниц «заключения» к диссертации и сбросишь бороду, либо...

— Либо? — поднял брови Костя.

Нина замялась. У нее была необыкновенно милая манера подыскивать слова, когда мысли опережали ее находчивость.

— Либо, — помахала она пальцем перед носом Кости, — нам придется на время расстаться.

Костя не мог не отметить про себя этого «на время», но Нина, с ее терпеливой заботливостью и неиссякаемой тревогой за него, была необходима ему каждый день, каждый час. Особенно теперь, в пору его затянувшегося научного кризиса. Поэтому он сказал:

— Ну, если ты можешь в трудный час... — Он страдальчески оглядел Ниныны новые брюки-эластик и сделал решительный шаг к двери.

— Так надо, — задрожал голос Нины. — Кроме того, я все равно должна буду уехать.

«Если человек в оправдание приводит два аргумента, ни один из них не является истинным», — вспомнил Костя слова своего учителя Анатолия Павловича, но вслух поинтересовался:

— Куда ж ты собралась?

— В Ленинград. Двадцатого апреля — трехлетие нашего выпуска. Весь курс собирается.

Нина была учительницей географии в школе. Она любила свои восьмые и девятые ревнивой, всепрощающей любовью, и уехать до окончания учебного года для нее было так же невозможно, как для Кости обрести ежедневный режим или начать зарабатывать деньги. Впрочем, столь же непонятно было, как посреди весны могли выпустить Нинин курс. Но Костя не стал вдаваться в суть этих неточностей. Он спросил:

— Это окончательно?

Нина снова замаялась.

— Видишь ли, я могла бы и отложить Ленинград, но... нельзя же столько тянуть... под видом того, что «материал перестал укладываться» в твою «гениальную концепцию»... Другие как-то укладывают материал! Или, на худой конец, меняют концепцию.

Костя сделал вид, что не слышал оскорбительной интонации в словах «укладывают материал» и «гениальная концепция». Все это было ему хорошо знакомо.

«С чужого голоса, — подумал он, — это ясно, но с чьего? Неужто Анатолий Павлович?»

— И запомни, — кинул он едко, — люди — не географические маршруты, запланированные заранее. Их не поменяешь в зависимости от обстоятельств. — Он величественно кивнул Нине и, собрав остатки мужского достоинства, удалился.

— Не прозевай обед! — крикнула Нина вдогонку. — «Последний, воскресный», — пропела она на мотив «Последнего троллейбуса» и захлопнула дверь.

Больше часа Костя бродил по раннеполитой Москве, не замечая нестерпимой свежести скверов и жгительного призыва женских глаз, пока ноги сами не принесли его на Арбат, к букинистическому.

Подробность не знал вышеизложенных обстоятельств. Он чувствовал свою силу и, не вникая в природу плохого Костиного настроения, настаивал:

— Могу оказаться полезным в деле, которого вы добиваетесь давно.

— Добиваюсь? Я? — удивился Костя.

— Да, вы, — безмятежно подтвердил Подробность. — Есть рукопись. Редкостнейшая притом. — Он высокомерно поджал губы.

— Какая именно? — не удержался Костя.



— А как же с твоим переездом? — осторожно напомнил он.

— С переездом? К тебе? — У нее был вид, как будто она впервые об этом слышит. — Переезд придется отложить.

— И надолго?

— До окончания твоей работы.

— Понятно, — процедил Костя, — более чем.

— Копии писем! Натали — Пушкину, Гоголя — Смирновой, еще не вошедшие в собрания. Единичные, правда. И касательно вашей темы... Подлинная переписка Сухова-Кобылина с французенкой Симон-Деманш. Ей-богу, не вру. И еще одна подробность...

Костя оцепенел. Нет, даже не оцепенел, в нем напряглась каждая клетка, и он вытянул шею на-

встречу голосу букиниста, как будто само колебание воздуха помогало ему обнаружить намерения собеседника. Переписка гениального создателя комедий о Кречинском, Расплюеве и Тарелкине с его возлюбленной, убитой таким зверским образом, переписка, которая, как предполагалось, сгорела во время опустошительного пожара в родовом имении драматурга — Кобылинка — 19 декабря 1899 года, могла наконец устранить непримиримые противоречия, возникшие на пути выводов его диссертации: «Трилогия А. В. Сухова-Кобылина — не автобиография, а сатирическое обличение века».

Ведь если без блефа, дела Кости были из рук вон. Он запутался в дзбрых фактов и готов был капитулировать. Он знал, как испанскую стену в своем парадном, литературный архив, дела, хранящиеся в ленинградском Центрархиве, объемистый том «Записок», изготовленный для членов Государственного Совета при Николае I, рукописи пьес, бесконечное число страниц, дневников и писем Сухова-Кобылина, написанных невыносимым почерком.

И что же: чем дальше он входил в суть этой трагедии, тем менее понимал ее. Был ли причастен автор трилогии к убийству своей возлюбленной или нет?

С момента знакомства с прелестно-юной Деманш в Париже и прибытия ее 6 октября 1842 года в Россию на пароходе «Санкт-Петербург» по вызову Сухова-Кобылина до 9 ноября 1850 года, когда в сугробах у Ваганьковского кладбища было найдено тело женщины с перерезанным горлом и переломанными ребрами, в дорогом платье с бриллиантами в ушах, перед Костей прошла история мучительной, опустошающей любви. С безудержной восторженностью первых лет и охлаждением в последующие. Такая ошеломляюще-необыкновенная и такая стерто-обычная. Откуда же взялось убийство? Какие причины вызвали этот чудовищный конец, от которого содрогались все прикасавшиеся к имени Сухова-Кобылина? Этого Костя не знал. Казалось бы, к чему ему доподлинные факты жизни художника? Исследователю-марксисту достаточно творений писателя, они — суть его жизни, души, эстетика и этика. Но почему-то Костя не мог обойти дополнительные факты.

Выводы! Они повисли, как капли на перекладинах забора, набухшие, готовые сорваться при первом порыве ветра. Оказывается, он бессилен сделать выводы, не уяснив до конца, каким нравственным толчком, происшедшим в душе вчерашнего повесы и Дон Жуана, обязаны мы кровотокающей правде его художественных созданий. Прошел ли автор гениальной трилогии невинным все стадии семилетнего судебного ада или справедливое возмездие породило пронзительную остроту его пьес, неистовое писательское проникновение в самые скрытые и тайные пружины самодержавия? Сегодня Костя уже не мог бы утверждать ни первое, ни второе. Итоги его изысканий, которые начали было приобретать некоторую ясность, вдруг расплылись, закачались.

Но переписка Сухова-Кобылина и Симон-Деманш, исчезнувшая из дела, она могла...

— Где? — выдохнул Костя в лицо Подробностям, и его пальцы яростно впились в рыхлое плечо букиниста.

Тот с достоинством высвободился.

— Сколько?

Костя думал пять секунд, потом сказал:

— Ну... после ознакомления тридцать.

— Сто, — отрезал Подробностей.

— Тридцать пять, — сказал Костя.

— Когда? — поинтересовался Подробностей.

— Хоть сегодня, — заверил Костя. Его голос звучал холодно и бескомпромиссно, ничем не обнаруживая бурь, которые сотрясали его. У него было именно 35 рублей. Последние. Ни пообедать, ни доехать. Но ведь протекция букиниста имела смысл лишь для сговора о покупке рукописи. Прочсть почерк Сухова-Кобылина нелегко за один визит к владельцу. Если представится возможность купить, что тогда? Просить у Нины? После сегодняшнего? Ну, нет. Тогда, быть может... Анатолий Павлович? О-о!

Когда-то Анатолий Павлович Веретяников для Кости был не просто руководителем аспирантуры. Он был богом. Когда-то Анатолий Павлович любил Костю и видел в нем надежду современного литературоведения... А теперь... Но что было теперь, об этом не стоило думать. Цель роковых ошибок, тягостно-ненужных увлечений, но более всего небрежность Кости в соблюдении сроков сдачи его диссертации легли непроходимой пропастью между ним и Анатолием Павловичем.

Подробностей мусолил дрожащими пальцами край нелепой тетради, прошитой мутного оттенка сиреневой тесьмой, и выжидал, пока Костя очнется.

— Вот, — наконец протянул он какую-то запись и грязным ногтем отметил фамилию и адрес. — И еще одна подробность...

«Второй Крутицкий переулок, — прочел Костя, — дом 3-а, Петя Моржов, 12-ти лет».

— Петя Моржов, 12 лет? — Костя побелел от недоговаривания. — Вы что, издеваетесь?! — завопил он. — Откуда у Пети Моржова, двенадцати лет, переписка Сухова-Кобылина с французенкой?

Букинист хранил невозмутимость.

— У Пети Моржова, как в ГУМе. Все есть. Ступайте, дорогуша, и обращайтесь.

Последних слов Костя уже не слышал.

— Помните уго-вор! — неожиданно звонко крикнул ему вслед Подробностей, и эхо отозвалось внутри Кости... Вор... Вор... Вор.

Через полчаса Костя шел по знаменитому Крутицкому подворью. Он знал это место так же хорошо, как «Облако в штанах» Маяковского или «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, — то есть каждую букву. Здесь он любил предаваться мечтам о высоком и непреходящем, сюда не раз вели его тягостные сомнения, когда иллюзия устроила свою жизнь зажиточно и толково ускользала, как ящерица, оставив в душе оборванный хвост несбывшихся надежд.

Бывало, брел он по площади, словно по краю опрокинутого блюда, а навстречу — зеленый теремок. Свищет ветер, гуляют облака вокруг колокольного храма Успения, а он стоит и думает о своих страшных неладах с наукой и любовью. Потом стемнеет, растают облака, и что-то произойдет в нем, и займется в ушах его неясный гул времени.

Но сейчас, когда он ступил на старый знакомый булыжник и навстречу ему метнулась легавая с ободранной спиной, ничто не отозвалось в его воображении. Он машинально отсчитал одиннадцать ударов колокола и проследил за солнечным лучом, пробегающим по зелени переливчатых изразцов. Но не остановился. Какое там...

Где-то здесь сворачивали влево Крутицкие переулки. Первый. Второй. Третий. Во Втором Крутицком переулке, в доме 3-а, жил Петя Моржов, сбывающий несметные рукописные богатства. И кто знает? Дома 3-а могло вовсе не оказаться в этом дохлом переулке с одноэтажными и двухэтажными курятни-

ками, вот-вот готовыми сгореть от какого-нибудь брошенного окурка или невыключенного уюга.

Но дом оказался на месте.

Он поразительно надежно выглядывал из-за серых досок толстого забора с непривычно высокими воротами и плотно пригнанной калиткой. Окна в первом этаже были затемнены и мрачно поблескивали, как вода на дне колодца.

Костя позвонил. Раз, другой. Никто не отозвался. Он толкнул дверь. Старая лестница заскрипела под ногами, и Костя с отвращением подумал, что все эти высокие устремления смахивают на плохой детектив. Минуту он постоял в нерешительности перед дверью, ведущей в квартиру, потом открыл ее.

Просторная, нескладной формы комната была почти не освещена. Привыкнув к полутьме, Костя обнаружил горящие кошачьи глаза, прямо уставленные на него, точно фары автомобиля. Костя постарался сориентироваться. Павловская громоздкая мебель с черными утолщенно-округлыми ножками, старинный фонарь-светильник, отделанный голубым фарфором в золотых разводах, тяжелые расшитые шторы — все это свидетельствовало о респектабельности и отсутствии порывов.

«Копия мебели какого-то дворца...» — отметил Костя, но не стал доискиваться причин. В сознание его попадало сегодня множество фактов и наблюдений, и он не умел систематизировать их, уложить в логические ряды. Они исчезали, сменяя друг друга, не успевая оставить следа, но все в то утро, 16 апреля, было непостижимо, и пытаться объяснить что-либо — значило остановить таинственный ход вещей. А останавливаться у Кости не было времени.

Он пересек комнату и увидел на стене белеющее лицо. Над розалем в золоченой раме висел портрет женщины в летнем клетчатом платье, с натами в руках. Ее руки показались Косте непропорционально длинны, глаза скошены. Кругом расположились пейзажи — речка, луг, береза у воды — в нескольких разных вариантах.

Костя поднялся на цыпочки, прислушался. Ни гу-гу. Он пошел дальше.

В кабинете были закрыты шторы и горел свет. Среди высоких стеллажей, густо уставленных книгами («тысячи три томов», — отметил Костя) за столом, положив голову на руки, спал мальчик. Видно, сон его был глубок: ни звонка Кости, ни его шагов он не слышал. Но стоило Косте ступить в кабинет, черная, как ночь, кошка, пробравшаяся вслед, вспрыгнула спящему на колени и угрожающе заурчала. Мальчик нервно дернулся и проснулся.

«Сейчас завопит», — подумал Костя и предостерегающе поднял руку. Но мальчик молчал, не проявляя ни малейшего испуга. Роли переменялись. Испугался Костя. Собственно, какое право было у него врываться сюда? И вообще, с чего начать? Этот извечный вопрос встал сейчас особенно остро. В обращении с детьми у Кости не было элементарного опыта. Что предпринять с конкретным двенадцатилетним Петей Моржовым, как на него воздействовать, он понятия не имел.

— Вы откуда? — спросил Петя.

— Сверху, — неловко пошутил Костя, указывая на крышу, и глупо улыбнулся.

Петя пропустил шутку мимо ушей.

— Из домосуправления? — спросил он.

— В общем-то нет, — замялся Костя. — Я вроде бы сам по себе.

— А-а, — неопределенно протянул Петя не то облегченно, не то разочарованно.

— Пришел познакомиться... — выдавил из себя Костя и услышал свой гнусно-заискивающий голос.

— Хотите книги купить? — перебил Петя, сделав ударение на книги. — Или картины? Картины не продаются.

— Книги, — подхватил радостно Костя. — Какие там картины, конечно, книги. Или негодные старые рукописи...

Петя встал.

— Смотрите здесь, — показал он. — И на антресолях еще. — Он измерил Костю взглядом, оценивая количество полезных сантиметров его роста. — Стремянку возьмите.

Костя кинулся к стремянке, приставил ее к стеллажу, расположенному прямо против двери, и начал искать глазами рукописи.

На средней полке стояли прижизненные издания Пушкина — тоненькие семь книжечек глав «Евгения Онегина», гоголевские «Мертвые души» с виньетки на переплете, названные тогда еще «Похождения Чичикова, или Мертвые души», собрания томов «Быта русских царей» и знаменитый том Забелина о Москве. Слева от этих книг стоял учебник славяно-русской палеографии, а сверху Костя увидел тщательно пронумерованные папки в кожаных переплетах серого, коричневого и зеленого цветов. Костя рывком взлетел на стремянку, взял одну из папок и...

Сколько прошло времени, Костя не мог определить. Все это было невероятно. Одна только коричневая папка, которую он наскоро перелистал, содержала копии (конечно же, копии, а не подлинники) редчайших рукописей Гоголя, Писарева, Рыльева и нескольких писем Натали к Пушкину. В другой, куда он заглянул, были подшиты дела о закрытии «Московского телеграфа» при Николае I и «Отечественных записок» при Александре II, ценнейший документальный материал. И таких папок было шесть. Среди них зеленая, довольно тонкая по сравнению с другими папка, на которой четким, крупным почерком было выведено: «Переписка А. В. Сухова-Кобылина и Луизы Симон-Деманш. 85 писем».

Костя не предполагал дожить до подобной минуты. Поэтому он к ней не подготовился. Он был застигнут врасплох обстоятельствами, как снегопадом в горах. Он не мог пошевелиться. Он застыл на этой стремянке между прошлым и будущим, немой и оглушенный.

«Моржов... Моржовы...» — лихорадочно стал он припоминать. Кажется, был в свите Его Высочества князя Сергея Александровича какой-то Моржов. Генерал, что ли? Дед? Или прадед?

Колокол Новоспасского монастыря пробил один раз. Приближался обед! Как во сне Костя увидел Нину. Она уже вернулась с рынка, потратив половину своей вчерашней полочки. И сейчас возится с праздничным обедом — «последним, прощальным...» — что-нибудь вроде бульона с гренками, кисло-сладкого жаркого с черносливом. А на третье — ну, допустим, малиновый соус с мороженым или взбитые сливки со смородиновым витамином. При мысли о Нинином жарком с черносливом и взбитых сливках у него заныло в желудке, и он подумал о телефоне. Срочно позвонить Нине, чтобы она выбросила дурацкую идею «на время» расстаться. Но эта мысль, как далекий отсвет другой жизни, блеснула и испарилась.

«Немедленно ту зеленую папку с числом 85, — мыслительно соображал он. — Сколько этот сморчок запросит? Двести? Триста? Торгует таким добром, неуч. Если он запросит триста, предложу ему сто...»

В рассрочку. Если сейчас не забрать, все исчезнет. Непременно исчезнет. Подробности своего не упустит. В разговоре с Петей Моржовым надо проявить быстроту, натиск и категоричность формулировок. Мальчишка остается мальчишкой в любых условиях, его можно купить за билет на футбол».

Костя спрыгнул со стремянки, увидел свое лицо в стекле книжного шкафа и ужаснулся. Взять себя в руки, иначе все сорвется. Он подошел поближе к стеклу и стал тренировать выражение равнодушия, чтобы походить на героя известного фильма, название которого он забыл. «Кто владельцы библиотеки, где они?» — пытался он прикидывать, пока лицо его продолжало репетицию. Купишь рукопись, а потом явится некий достопочтенный папаша в жилете и состряпает дело. Рекомендации Подробности всегда несвеже пахивают.

— Выбрали? — послышался сзади голос.

— Выбрал, — сконфузился Костя, оборачиваясь от окна, и лицо его вместо приготовленного высокомерного равнодушия просительно обмякло. — Тут кое-что... Посмотри... Он поспешно взобрался на стремянку и стал вынимать рукописи с полки. Папка с перепиской Сухова-Кобылина вдруг застряла, как будто ее прибили гвоздями. Костя едва не соскользнул со стремянки.

«Здесь еще не бывали, — снова подумал он, — а то бы из рук не выпустили. Или все же дело нечисто, боялись мараться».

— Вот, — показал он, когда две папки были водворены на стол.

— Хорошо, — кивнул Петя. — Только деньги сейчас.

— Деньги, — поморщился Костя. — Конечно, будут и деньги. А, собственно, сколько?

— Шестьсот семьдесят рублей. Нет... семьсот новыми, — нагло поправился предполагаемый потомок великих князей.

— Сто, — упавшим голосом сказал Костя. — Семьсот — таких и цен-то не бывает. Сто, и ни копейки больше.

— Сто меня не устраивает. — Потомок развернулся на 180 градусов и полным ходом пошел из комнаты, давая понять, что аудиенция окончена.

— Стой! — кричал Костя. — Ну чего ты лезешь в бутылку? Пойди сюда, сядь. Обсудим как человек с человеком. Сто рублей — очень большие деньги, — сказал он, собираясь с мыслями. — Можно сказать, колоссальные. Заработок молодого инженера, или врача, или... Да, кстати, кто твой папа?

— Моряк, — ответил Петя, и голос его замер.

«А... вот оно что. Бойшься папашу, — злобно подумал Костя. — Сейчас мы тебя за яблочко. Не воруй книги, не растаскивай отцовское добро».

— А где отец сейчас? — безразличным тоном бросил он.

— Нет его. — Петя приостановился в дверях. — Так будете брать?

— Буду, буду, — заторопился Костя. — Но ты цену настоящую говори. А то заломил. Зачем тебе столько денег? Ты для себя или матери?

Петя задергался, заморгал ресницами. Его физиономия, похожая на мордочку кролика с квадратным лбом и растянутыми губами, страдальчески сморщилась, и Костя почувствовал, что, кажется, начинает надоедать мальчишке.

— Ну, так как? — нетерпеливо повторил тот. — Я тороплюсь.

Надо было изобрести что-то новое. Надо было предотвратить надвигающийся разрыв, иначе конец, труба. Радужная надежда завершить труд жизни и уложить наконец материал в «гениальную кон-

цепцию» оборвется, как перетершийся канат под тяжестью мощного канатоходца... Если бы не этот кошмарный почерк! Можно было и здесь все освоить. Но, увы, над каждой строчкой Сухова-Кобылина предстояло сидеть часами. Он писал то полулатинским, то полурусским алфавитом, не дописывая слова, порой вместо букв шли одни палочки.

— Мне тоже пора, — замельтешил Костя. — Может, по дороге поладим? А? Ты куда сейчас?

— В центр, к тетке, — оборвал Петя. Потом сжал плечи. — Ребенок у нее в яслях, надо купить кое-что.

— Ну и прекрасно, — поддакнул Костя. — Я помогу тебе. Пойдем и купим. Ты где обычно покупаешь?

— На Горького.

— Превосходно! — Костя облегченно вздохнул. До Горького был почти час пути. При известном таланте можно было договориться с самим папой римским.

Они вышли.

Изразцы теремка померкли, лестница на галерею выглядела древней, ветхой, и казалось, вот-вот рухнет.

— Знаешь, кто сделал все это? — спросил он Петю Моржова.

Тот рассеянно помотал головой.

— Эх ты, — Костя показал на теремок. — Каменных дел мастер Осип Старцев. — Костя не был уверен в исторической точности излагаемого, но его уже понесло... — Представляешь, ехал этот Старцев в Москву бог знает откуда. Кругом мятежи, раскол церкви. Тут вот бабы за деньги белье полощут. — Он показал на крутой спуск к Москве-реке за Крутицким подворьем.

— Здесь собака ненормальная живет. Она света боится. Как выйдет днем, так все бока в кровь. Не успеваю лечить.

Костя вспомнил легавую с ободранной спиной и кивнул.

— А летом на набережной устраивали великосветские гулянья, — продолжал он. — Лодки, музыка из рогов. Толпа кричит, разноцветными платочками машет. А потом зима. По льду крестный ход.

— Идем, — сказал Петя и уставился на Костю, словно впервые увидел его. — А то она ждет, тетка. — В глубине его глаз Костя уловил напряжение, чуть вспыхнувший и тут же погасший интерес. Теперь Костя обратил внимание на его глаза. Оказывается, они были разного цвета. Один — серый, как пушок зайчонка, другой — рыже-зеленый, словно в крапинку. И глядели оба глаза по-разному. Серый — тоскливо, как из туманного далека, рыжий — насмехаясь и словно подлавливая.

«Вот феномен, — удивился Костя, — с таким намыкаешься».

У Крестьянской заставы сели на автобус до центра. В автобусе было тепло,людно, пахло жареными семечками. Костя взмок, покраснел. А мальчишка в плотной синей куртке все как-то ежился. Поднял воротник, стал застегиваться.

«Мимоза, — нашел Костя подходящее слово. — Наверняка дома цып-цып-цып. Не хочешь ли, деточка, икорки черной или птичьего молока?»

Автобус подошел к Пушкинской площади.

Они слезли, пересекли сквер.

Фонтаны у кинотеатра «Россия» были спущены. Два детских велосипеда бегали вокруг.

— Может, пообедаем вместе? — предложил Костя. Они остановились у скамейки с двумя женщинами в одинаковых ярко-голубых кофтах и с одинаковыми комнатными собачками. — В Доме актера? И гастроном твой рядом.

Петя молчал.



— В этом доме сам Пушкин бывал. И Некрасов...— глупо залебезил Костя.— Тут, брат, такое происходило...

Он взял Петю за локоть, тот не сопротивлялся.

Они сели в глубине второго зала «С березками». Из-за декоративных берез, прислоненных к стене, возникла официантка, и мальчик, скосив свои разномастные глаза, углубился в чтение меню.

— Чего ты копаешься, — пробурчал Костя, — не подсчитывай, я заплачу.

Петя разжал пальцы.

— Я уже прикинул: борщ, сосиски с капустой, компот — у меня хватит. — На потресканной маленькой ладони лежал рубль. — Только побыстрей, — заволновался он.

— Хорошо.

Теперь Костя посмотрел на официантку. Она была костлявая, высоченная, с милой челкой и громадным шиньоном на затылке. Заказали обед, и официантка исчезла.

Да, надо было быть крупным идиотом, чтобы вместо Нинино бульона с гренками и кисло-сладкого жаркого сидеть здесь и есть пересоленный борщ и сосиски.

Что-то поднималось в его душе, с чем он не мог справиться. Простое дело — произвести впечатление и выманить у потомка рукописи. Но почему-то получалось не то. Костя начал раскисать, в психологию вдаваться. А что тебе его психология? Когда дело делаешь, нужны напор, решительность.

— Выпью, пожалуй, — сказал он. — Ты не против?

Петя мотнул головой. Костя позвал официантку.

— Бутылочку белого. Какое у вас? А... Ну, хорошо, хорошо.

Да, если б Нинка увидела его, она бы сказала: «Опять! Неужели этому конца не будет?» «Опять» — это означало, что он снова ввязался в историю. И вправду, эти истории липли к нему, как смола к пальцам. Он будто притягивал все несуразности чужой жизни. «Конечно, — добавила бы Нина, — выслушав объяснения о сегодняшнем происшествии, — тебе лишь бы предлог не работать».

За этот год таких историй три, не меньше, навалились на него. Сначала с Нинкиной соседкой. Тоже учительница, муж убит на границе. Жила с единственным наследником душа в душу. Потом он ей нагрубил, она раскричалась: «Ты на чьей площади живешь? Чей хлеб ешь?» Раньше бы такой хлопец постоял за дверью, погулял и вернулся. А теперь самолеты. Двух часов не прошло, а он уже на Урале. Мать чуть концы не отдала. «Что мне жизнь без него?» Пришлось Косте искать парня, запрашивать. Потом на Урал понесло — уговаривать. Зачем, спрашивается? Родня ему, что ли, Нинкина соседка? А вот встал. Недельку ухлопал.

А еще с теми парнями в подъезде. Девчонку подразнили, а она вон что наплела. Чуть не укатали братиков. И опять Костя бегал. Целый месяц уговаривал. Третий случай — с полупроводниками для транзисторов. Из лаборатории уносили... Девчонка восемнадцати лет уносила. А думали, матерый рецидивист. Да что там вспоминать! Вертишься. Утрясаешь. Жалеешь. А что с этого? Ничего. Одни невосполнимые утраты. Часов. Дней. Лет. И вот результат. В свои двадцать девять — ни зарплаты толковой, ни ученых трудов.

Официантка принесла бутылку «Рислинг».

— Посиди минутку, — сказал Костя. — Мне позвонить надо. Фемины одной. Фемины, они очень злопамятные. Не позвонишь вовремя — век попрекать будут.

Петя не ответил. Было даже непонятно, слышит он Костю или нет. Но это не имело значения. Костя отпил немного вина и вышел.

В вестибюле был какой-то дохлый автомат. Он то развешивался, то проваливался монета, и Косте пришлось орать во всю глотку.

— Ты меня слышишь? — кричал он в ответ на Нинин потухший голос. — Слышишь?

Он пытался ей втолковать, что нашлась переписка и какова ее решающая роль для их общего будущего, но Нина ничего не понимала.

— Ты просто пьян, — наконец сказала она в трубку и заплакала. Потом что-то щелкнуло, Нина пропала.

Женских слез Костя совершенно не переносил. Он принялся снова лихорадочно набирать Нинин номер, но аппарат начисто забастовал. Монета пошла высказывать на второй и третьей цифрах. Он попытался набрать еще раз и еще, потом плюнул и вернулся к столу.

Черная кошка, абсолютная копия той утренней в доме 3-а, сидела на коленях у Пети, и этот шалый потомок скармливал ей мясо из борща.

Костю аж затошнило. Он почувствовал, как к горлу подступает тихое бешенство, предметы приобретают расплывчатые очертания, но ежедневная привычка подавлять незапланированные желания, победила. Он стиснул зубы, предметы приобрели нормальные пропорции.

— Довольно, — прошипел он и пнул кошку, — пора закругляться!

Петя отпустил кошку.

— Ну, беги. Нажралась, ленивая.

Серый глаз его глядел обезоруживающе просто-душно, рыжий наблюдал и насмехался.

Костя подлил себе и поднял рюмку.

— За твоего старика. Видно, старик твой — стоящий человек. Подобные люди встречались в прошлом поколении. Редко, но встречались. Истинно бескорыстные интеллигенты. Сколачивал человек библиотеку. Всю жизнь на это ухлопал. Думал, несет свет, разум, просвещение. А оказалось, полное динамо. Сыночек добро спускает. Да еще торгуется, цену набивает. Был бы твой старик здесь, он бы тебе всыпал. — Он прикрыл глаза, чтобы собраться с мыслями.

— Русская интеллигенция чем отличалась? — поднял он голову. — Не знаешь. И никогда не узнаешь. Потому что одни кошки в голове. Совестью. Совесть была и бескорытна.

Костя много мог бы сказать о роли русской интеллигенции и характернейших ее чертах, но подумал о бесполезности такой речи.

— Ладно, брат, ешь. Потом потолкуем.

Он попробовал борщ. От тарелки несло жаром, свиной, борщ несколько не был пересолен, и на душе Кости стало вдруг покойно, даже блаженно. Он продумал, что все выйдет у него хорошо. И потомок согласится, и Нина подождет с отъездом. Погрозит, погрозит и не уедет. А может, образуется и с Анатолием Павловичем. Ведь деньги, как ни гадай, придется занимать у него. Костя выпрямился. Надо успокоить потомка. Например, сказать, что он погорячился. Костя поднял голову от тарелки — мальчишка за столом не было.

Костя кинулся к двери, потом в раздевалку. Малый бочком полз вдоль стенки к выходу. На фоне стены он казался совсем хилым, как засохший прутик. Еще секунда, улизнул бы.

— Ты чего? — завопил Костя. — Рехнулся? Я ж тебе слова худого не сказал. — От собственного крика Костя снова обрел уверенность. Чтобы совсем прийти в

себя, он завопил сильнее. — Может, ты того? Немного чокнутый? Может, тебе валерьянки?

Петя смотрел на него со странным невниманием, как будто поверх головы.

— Что вы лезете! — прошептал он, отшатываясь. — Лезете что? Я к вам набивался? Искал вас?

— Да при чем это! Конечно, нет. Я сам тебя разыскал. — Костя попытался обнять Петю и наткнулся на острые, поднятые плечи. «Фу, черт, — подумал он, — невозможно тощий! И мозгов, небось, еще половина от нормального». — Ну ладно, ладно. Я виноват. Успокойся, — подтолкнул он его.

— Отца приптели, воровство. Я, может, честнее вашего.

— Честнее, честнее... — заторопился Костя. — Это я так. Кишки с голодухи размотались. — Он авел Петю в зал и усадил на место. — Нажми на сосиски-то. И я поем. — Костя хлебнул борща. — Ты ему душу распахиваешь, а он... фьюить. Порядочные люди так не поступают.

При слове «порядочные» взгляд Пети стал снова рассеянным, ускользающим. И Костя опять заторопился.

— Ну ладно, ладно. Хотел тебе рассказать о доме, где Елисеевский магазин. Ты ешь и слушай. Ведь это знаменитый дом. Матвей Федорович Казаков строил. Тут, как я говорил тебе, и Пушкин и Некрасов — да мало ли... — Костя придвинулся к потомку. — Пушкин сюда к княгине Зинаиде Волконской приходил. Высокого класса была женщина. Это о ней он написал:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты...

Понял: «Царица муз и красоты»? Тебя ведь Петей зовут? Да?

Петя кивнул, тарелка перед ним была полна.

— Да. Так вот, Петушок, как там дальше? — обрадовался Костя. — Что-то вроде... И вьется и пылает гений. Певца, плененного тобой... Не отвергай смиренной дани... Не отвергай смиренной дани. Нет, черт, забыл... Эта самая Зинаида Волконская потом провожала Марию Волконскую вслед за мужем-декабристом в Сибирь. Понял? У Некрасова, например, целая глава — «Княгиня М. Н. Волконская».

Костя вдруг стало легко. Все кругом него понемногу укладывалось, становилось волшебным-округлым, как желе или бисквит. «Привыкнет — подберет», — весело подумал он, предвкушая, как вечером, пристроясь на краю обеденного стола, рядом с Ниной, он будет разбирать каракули восьмидесяти пяти писем и открывать тайну последних дней Луизы и Сухово-Кобылина.

Заиграла радиола, передавали песню «Научи на гармошке играть». Петя подпер голову кулаком, прислушался. Когда он слушал, щеки у него нелепо шевелились, веки подрагивали. Из-под век мерцали глаза, печальные, недетские. Эти глаза, как магнит, притягивали Костю, отвлекая от цели.

«Гармошка» кончилась, мальчик вздрогнул.

— Мама очень любила это, — промямлил он.

— Она играла? — невольно вырвалось у Кости. В памяти всплыл бехштейновский рояль в столовой, портрет клетчатой женщины с нотами.

Петя кивнул.

— Ага. — Потом поковырял вилкой второе, как-то неохотно, не голодно. — Я плохо помню, — сказал он. — Она много чего умела. Поет или играет, а я со Снежком вожусь. — Он расправил салфетку у себя

на коленях. — Собака такая была у меня — Снежок. Ее отец из Заполярья вывез. Ума была необыкновенного. Палата ума.

Костя улыбнулся.

— Видишь, отец-то тоже на все руки. И в Заполярье побывал, и библиотека у вас такая, может, второй не сыщешь.

Мальчишка положил вилку.

— Библиотека дедова. Это дед собирал. А наши только хранили. Дед царский генерал был, девяносто шесть лет прожил. Он царя знал. И Распутина.

— Ух ты! — Костя присвистнул. — Вот бы мне с кем... Ты даже вообразить не можешь, что он насобирает! Цены нет. — Рыжий глаз Пети вспыхнул любопытством. — Впрочем, цена есть, — испугался Костя. — Денежная цена. Да разве тут в деньгах дело? Ты ешь, ешь. Не ковыряй вилкой.

Костя мрачно замолчал и снова увидел фигуру мальчишки, хлипкую, никчемную.

— Не можешь ты этого постичь, — вздохнул он. — Ну вот, допустим, хочет человек сделать такое, чего еще не было. Вобщем не было на свете. Собираешь? — Он придвинулся. — Это не просто силы надо. Дар особый. Жертвовать каждодневно. Самая трудная жертва — отказываться от себя, ломать натуру. Понял? Нет, не понял. — Костя вцепился в руку Пети. — Ведь главный враг таланта — это ты сам. Ты его питаешь, ты и губишь. — Он еще придвинулся. — Допустим, весна, на деревьях почки лопаются, ты сидишь работаешь. Поработал недельку, другую, и вдруг тебя потянуло. Неважно, куда. Просто это тоска начинается. Податься куда-нибудь, уехать. Все тебе сразу опротивеет. Стол, лист бумаги. Мысли тают, не собираются в клубок. И вдруг ты начинаешь замечать, что друзья твои укатили на Камчатку или удят рыбу на Волге, а кто-то еще на охоту подался в карельские озера. Все это приходит тебе в голову вместо сосредоточенной углубленности в себя. По вечерам тебя тянет из дома, и ты уже видишь, что по земле ходят неземные существа с золотыми волосами. Потом еще что-то и еще. И вот уже ты ополоумел. Понял? Все отдашь — только бы не работать. А это нельзя. Ни в коем разе. Все люди — пусть, а тебе нельзя. Если у тебя пошло писаться, ты не можешь останавливаться. Потом сядешь снова — все другое. Небо другое. Любовь, настрой... все новое. Раз перебежешь, два, и пропал. Растратишь свой талант по кускам. По клеткам. Уйдет это. Все это не сразу пропадает. Частями. Понемногу начнет убывать, по струечке. Как мука в дырявом мешке. Пока все не высыплется.

Теперь он расстегнул ворот.

— У меня вот больше всего нервов жалость забирает. Это великое чувство — жалость. Или сострадание. Назови как хочешь. У другого что-то болит, а ты на себя возьми. Смекаешь? И я влезаю, куда не следует. А там уж все. Считаю, пропал. Уходят дни, недели. Нервы, напряжение — все там. А ведь тут, брат, как. Нервы, они всегда либо здесь, либо там. — Он прикоснулся ко лбу. Лоб был влажным. — Они ведь одни, нервы-то. Либо сюда, либо туда. Понял? Как-то мне один маститый классик жаловался: «Каждый мой роман с женщиной — это мой ненаписанный роман». Ясно? Вот как. Да ты что? Заснул? — Костя щелкнул по тарелке у носа Пети. — Тебе, небось, тошно все это? Ну, прости... «Душа моя бьется в сомнениях». Только на тебя и надежда.

Костя сжал голову руками, в висках покалывало, и будто муравьи ползли.

— Нет у меня таких денег, — вдруг признался он. — Семьсот новыми. Откуда я их возьму? — Он отодвинул тарелку и попросил: — Ты уступи. Зачем тебе столько — семьсот? А?

Петя зашевелился, серый глаз его отрулил вправо, потом остановился на Косте.

— Мне шестьсот пятьдесят надо. Пятьдесят — это ему.

— Кому ему? — Костя насторожился.

— Не знаю. Вас разве не он послал? Книгами интересовался. — Парень встал.

«Вот сукино мурло! — подумал Костя, вспомнив Подробность. — Я тебя завтра прищемлю за одно место. Ты у меня не вывернешься».

— Пора, — заторопился Петя, — а то расчувствуешься...

«Вот как он со мной. Так вам и надо, Константин Егорыч. Раскисли. Жертва... нервы...»

— А зачем шестьсот пятьдесят? — спросил он хмуро. — У тебя же все есть?

Мальчик не глядел на Костю.

— Надо.

— Ну что ты заладил: надо и надо! — взорвался Костя. — Если хочешь правду, я вот тебе сотню даю, а эти рукописи можно за пятьдесят купить.

— Ну и купите, — обиделся Петя.

— Сотня — это же колоссально много. Я уже тебе толковал. Месячная зарплата школьного учителя. — Костя снова вспомнил о Нине и неодолимо начал мрачнеть. — Вот твоя, допустим, учительница. Должна целый месяц возиться с такими, как ты. К каждому уроку готовиться. Придумывать, чтобы поинтереснее было. И нового не упустить. Представляешь, каждый месяц об этом думать. А ты после ее стараний ни черта не знаешь, и это обида ей кровная. Мучения души, бессонница. И все за сто рублей. А тебе деньги даром достаются. Книги ты не собирал. Не хранил. А деньги — хап.

— Я не себе.

— Брось... Да хоть бы ты знал, что за книги. Ты же ни черта не знаешь. У тебя одни кошки на уме.

Потомок не порывался бежать. Его держали цепкие Костины пальцы. Он выглядел усталым, поникшим.

— Ну, черт с тобой, пошли, — сказал Костя. — Купим твоей тетке марсианского молока в гастрономе № 1. — Он подозвал официантку, расплатился и, не оборачиваясь, двинулся к выходу.

Они отоварились сказочно быстро. Мальчишка точно знал, чего хочет. Две бутылки молока, коробку яиц, болгарский конфитюр и кило яблок. С этим они потащились к тетке в Гнездиновский. Костя терпеть не мог магазинов, он почти отрезвел и снова начал ощущать тупую бессмысленность происходящего. Его душил стыд. Все эти пляски перед потомком и излияния...

К счастью, тетки уже не оказалось дома. Они выложили продукты на кухне и поплелись обратно. Как подступиться к главному, Костя не придумал.

В большом просторном лифте, медленно скользившем вдоль десяти этажей вниз, оказалась девочка. Она держала клетку с птицами, подрагивала копной рыжих волос и, казалось, не замечала соседства.

— На Арбате приобрели? — осведомился потомок, увидев зеленых попугайчиков.

— Почему-то? — хмыкнула девочка и тряхнула копной. — В магазине «Природа». Самые красивые, — добавила она, — таких нигде нет.

— Тоже сказала! — презрительно усмехнулся Петя. — Не видала, какие бывают. — Он щелкнул пальцами по клетке. — Это что! Простые волнистые попугайчики. Вот неразлучники — другое дело. От них глаз не оторвешь. — Он показал рукой. — Красные клювы, зеленые с красным перья и поют, как соловьи. Но тех не достать.

— Чего тогда трепаться! — вдруг разозлилась девочка. — Не достать — значит, и увидеть нельзя.

— Были у нас, — сказал Петя. — Одна такая пара. Отец маме достал. Они только в Южной Америке и в Африке водятся.

Лифт остановился. Втроем они вышли на улицу.

— Мы живем в одной комнате, — сказала девочка. — Им негде полетать. Я их раз в день в садик выношу. Только крылья у них не летают.

— Знаю, — кивнул Петя принаравливаясь к ее шагу. — От клеточной сытой жизни они разучились летать.

Девочка остановилась.

— Вот здесь. Во дворе.

— Следи, чтобы сырости в клетке не разводилось, — обернулся к ней Петя, — а то гнить начнут. Сначала шейка вылезет, потом облысеет макушка — и капут. — Он подумал еще. — Если будешь в магазине или на рынке, посмотри арлекинов. Здорово красивые. Голубовато-белые, с коричневыми крапинками.

«Эврика! — ахнул про себя Костя. — Вот именно! Мозгами шевелить надо, аспирант».

Блестящая мысль врезалась в его сознание.

— До которого... «Природа»? — спросил он безразлично и повернулся к потомку.

— До семи, наверно.

— Махнем?

Костя не глядел на него. Он бил наверняка.

Потомок не думал ни минуты. Он даже не прикидывался, что думает. Он согласился сразу. Тетка, возвращение домой — все вылетело из его головы. Да, Костя попал в десятку. Это была страсть.

Тяга к животным была для Пети Моржова неотвратима, как круговорот года. Пожалуй, это было первое психологическое открытие аспиранта Добровольского в сфере детей подросткового возраста. Именно в страсти к животному миру — ключ от сложного, непостижимого характера двенадцатилетнего потомка, владельца неслыханных рукописей. Невероятно, но факт. Его можно купить за ничего, если обернешься птицей или легавой собакой. Ну и прекрасно! Костя купит ему весь этот вшивый магазин с его голубями, рыбами, канарейками, и потомок отдаст ему рукописи сам. Да что там сам, он будет просить его за бесценок взять их.

— Мы только посмотрим, — проговорил Петя Моржов голосом вежливым до противности и заглянул Косте в лицо. — Просто так. Брать ничего не будем. Так просто.

Он убыстрил шаг, и вся его тощая фигура выразила стремительность и полет, словно это не он едва отвечал только что Косте, словно в лифте между десятым и первым этажами остался дух прежнего потомка, строптивый и ускользающий. Перед Костей возник другой человек.

— Сегодня воскресенье, — сказал этот человек тоном лектора. — В воскресенье особо морских свинок носят. Человек пять с морскими свинками будет.

Потомок поднял глаза, и все подтвердилось снова. Он зависел от Кости, за-ви-сел. Боже! И всего-то делов! Косте пришло в голову, что, в сущности, этот мальчишка страшно напоминает его самого, с его жалкой погоней за истиной, с его прискорбной страстью к познаниям и опровержениям.

— У меня уроков много, — вздохнул потомок. — Мне бы часа через два домой. Никак не позже.

— Ах, да, — изумился Костя, — ты ведь учишься. У тебя должна быть уйма уроков.

Они сели на шестой автобус у Никитских ворот и закачались в его плавном ходе. Автобус шел через всю Красную Пресню и улицу 1905 года до самого

магазина «Природа». Костя хорошо знал этот маршрут — прямо напротив магазина растянулось Ваганьковское кладбище. Здесь сто с лишним лет назад в сугробах было найдено тело несчастной Луизы Симон-Деманш.

Впереди маячили победы незаурядной Костиной воли, покорная услужливость потомка, а затем триумф обладания рукописью. Аспирант филфака Константин Добровольский успокоился, забылся...

И увидел куски знакомой биографии.

Как на экране, замелькали люди, встречи, дома. Костя давно это знал. Но что за странность, сегодня все было перепутано. У Кости было лицо Сухова-Кобылина.

Сначала он, Костя — Сухово-Кобылин, в парижском ресторане. Он заказывает шампанское и пьет бутылку за бутылкой.

Скинуть с себя эту физиономию, — ужасается Костя. Но, помимо воли, он говорит какой-то французенке:

— Позвольте мне, чужестранцу, в вашем лице предложить тост за французских женщин.

Костя содрогается от возмущения. Но что делаешь, именно эти слова произнес Сухово-Кобылин. Многолетняя «загадка» русской литературы, убийца, проклятый при жизни и прославленный много лет спустя, драматург, достигший вершин трагического гротеска XIX столетия и боготворимый в XX веке Блоком, Мейерхольдом, Булгаковым, — как приспособить эти сведения к банальнейшей завязке любовной интрижки? Но, увы, именно этими словами Сухово-Кобылин приветствовал свою будущую подругу жизни Луизу Симон-Деманш в Париже. Именно эта штампованная фраза о тосте за женщин была началом в цепи событий, окончившихся столь трагически у Ваганьковского кладбища. Рассказ Сухова-Кобылина записал В. М. Дорошевич. Костя тут же вспомнил и источник и год записи.

Потом собственная рука Кости выводит рекомендацию для поступления на работу в России в случае, если французенка рискнет покинуть Париж. И, о ужас, Костя пишет тем самым нелепым, нечеловеческим почерком, который приводил его в неистовство у Сухова-Кобылина.

Нет, ничего не остановишь. Костя хочет выскочить из оболочки Сухова-Кобылина, но оболочка непроницаема. Личность Кости раздваивается. С ним происходят нелепые события в роли Сухова-Кобылина, и вместе с тем как бы отстраненно от этих событий всепроникающим взором биографа он видит, к чему они приведут. Он знает, что после длительного путешествия на громоздком пароходе «Санкт-Петербург» Луиза прибудет в северную русскую столицу. Затем новые кадры.

Декабрь. Снег. Москва.

Девять лет двадцати, нездешнего вида...

И вот уже тот, экранный Костя шагает на Кузнецкий в модный магазин Мене. Здесь Луиза устроилась модисткой.

Перед глазами Кости бежит быстротечное время. Бежит, вьется карусель, затягивающая красотку Луизу. Вот уже Сухово-Кобылин бесстыдно волочит за графиней Нарышкиной. Москва говорит только об этом. Роковой круг смыкается. Луиза требует прежней страсти. Ссоры, сцены, мольбы. И вскоре отчаянная мысль, к которой обращались во все века все погибающие на всех континентах, — бежать. Бросить Сухова-Кобылина и бежать обратно в Париж, на какую-нибудь плас Этуаль или Рю де ля Пэ. Б-е-ж-а-т-ь.

Но она не убежала. Почему? Не хотела? Не успела? О... Костя — биограф и исследователь — мысленно листает дневник, записки и письма Сухова-Кобылина после убийства. Отчаяние. Жажда противостоять обстоятельствам, потрясенные восклицания. Нет, это не он убил. Он не мог лицемерно вздыхать о единственно счастливых днях, днях с Луизой... Отчетливо, как в манускрипте Британского музея, он увидел и разобрал запись Сухова-Кобылина:

«Один только раз в жизни случилось мне вдохнуть в себя эту живую, живящую и полевым ароматом благоухающую атмосферу. Живо и глубоко залегло в глубине воспоминание. Это было в 1848 или в 1849 году (то есть мне было или 31 или 32 года), мы были с Луизой в Воскресенском. Был летний день, и начался покос в Пулькове, в Мокром овраге. Мы поехали с нею туда в тележке. Я ходил по покосу, она пошла за грибами. Наступал вечер, парило в воздухе, было мягко, тепло и пахло кошеной травой. Мерно и тихо шуркали косы. Я начал искать ее и невдалеке между двух простых березовых кустов нашел ее на ковре у самовара в хлопотах, чтобы приготовить мне чай и добыть отличных сливок. Солнце было уже низко, прямо против нас. Я сел, поцеловал ее за милые хлопоты и за мысль устроить мне чай. По ее белокурому лицу пробежало вольное ясное выражение, которое говорит, что на сердце страх как хорошо. Я вдохнул в себя и воздух и тишину этой мирной картины и подумал — вот оно где мелькает и вьется, как вечерний туман, это счастье, которое иной едет искать в Москву, другой — в Петербург, третий — в Калифорнию. А оно вот здесь, подле нас вьется каждый вечер, когда заходит и восходит солнце, и вечерний пар оседает на цветы и зелень луговую».

Неужели? Неужели он ломал комедию?

«Я твердо убежден, что моя потеря огромна и что я никогда не найду привязанности, которая могла бы сравниться с этой!.. Невозможно выразить... сколько мучительных воспоминаний встает в моем сердце рядом с раздирающим воспоминанием об ее... конце».

Теперь в Косте снова спорят два голоса. Один настаивает:

«Убийство врезалось в биографию этого человека, как ампутация, отсекающая пораженную гангреной конечность. Сухово-Кобылин, пройдя через преступление, становится другим. Иной человек, с иными наклонностями и образом мыслей пишет пьесы. Гениальная трилогия не могла бы появиться, не будь убийства и многолетнего процесса. Нравственное перерождение. Он испытал на себе всю меру унижения и беззаконий, и они углубили понимание происходящего. Биография стала материализмом творчества».

А другой его голос, глубокий, уверенный, опровергает:

Трилогия «Картины прошедшего», как повести Щедрина или «Мертвые души», — это памятник эпохи, а не летопись убийства. Ни Щедрин, ни Гоголь не испытали лично того, о чем написали. Оба лишь увидели это... Художник не обязан быть соучастником дел своих героев или их преступлений, ему достаточно слышать и наблюдать их поведение, чтобы постичь истину и возгласить ее миру».

Косте кажется, что он привязан к двум склоненным стволам деревьев. Сейчас они распрямятся, и его разорвет. Левое плечо онемело. Собрав остаток мужества, Костя начинает вспоминать свои выводы... заключительную главу. Он шарит рукой, но папки не оказывается рядом. Где рукопись? Она только что валялась на диване...

— Для чего вам эти рукописи? — внезапно ворвалось в сознание Кости.

Он долго не мог понять, откуда голос и как связать концы с концами. Ему хотелось найти исчезнувшую диссертацию, но тут он увидел рядом с собой разноглазого Петю Моржова в синей куртке и вспомнил все.

Магазин «Природа»...

Потомок великих князей...

Переписка Сухова-Кобылина...

Семьсот рублей новыми...

— Зачем вам эти рукописи? — повторил Петя, с удивлением смотря на Костина возвращение на землю. Бедный, он не подозревал, как тяжело было свидетелю убийства Луизы Симон-Деманш пригласиться к солнечной праздничности этого апрельского дня и автобусной возне по поводу покупки рыб или канареек.

— Рукописи? — переспросил Костя. — А... да просто так... Литературой интересуюсь.

Петя отвернулся. Глаза его уже позабыли о вопросе. Они блуждали по лицам попутчиков, и что-то рождалось между ними, непонятное Косте. Простая воскресная праздность? Безразличие к высшим целям жизни? Или просто спортивный азарт? Костя огляделся вокруг. И видения столетней давности стали отступать. Он попробовал перевоплотиться в завсегдатая зоомагазина или Птичьего рынка, приспособиться к суматошному XX веку с его не в меру развитыми детьми и чересчур развитым литературоведением. И вдруг он увидел, что от весны земля набухла, а девицы в автобусе полнотелы, и внезапно почувствовал, что в нем снова поднимается то, что называется зовом, судьбой. Или, как сказал бы поэт: «Им овладело беспокойство, охота к перемене мест». Косте надо было поделиться своим настроением с этим потомком, душа которого, как нетронутая целина, была жестка и неплодородна.

— Рукопись, — начал он патетически и тронул Петю за плечо. — Это всегда тайна. Всегда опровержение чего-то установившегося в тебе. Сначала ты видишь незнакомый почерк и сходишь с ума от неизвестности. Тебе хочется проникнуть в этот характер, заглянуть на дно человеческой души. Потом ты идешь вглубь. Твоя судьба соприкасается с чужой судьбой, иногда страшной, иногда великой, и ты становишься свидетелем исторического события. — Костя поднял глаза и вздохнул. — Но иногда умирает легенда, которую мы придумываем себе. Рукопись не соглашается с тобой и мстит за иллюзии.

Петя слушал с недоверием, его разномастные глаза мерцали светом других страстей и надежд.

— Не веришь? — возмущился Костя. — Не веришь? — Он лихорадочно стал искать аргументы, но ничего путного не придумал. Почему-то на ум ему пришла история с рукописью князя Павла Вяземского. Это было шумевшее дело о якобы последней и, может быть, единственной любви Лермонтова к поэтессе Оммер де Гелль. Когда Лермонтов был на Кавказе, в

Минеральных Водах, она с мужем была в Крыму. Но рукопись Вяземского оказалась фальшивкой. Минимая возлюбленная, — торопился Костя, — представила даты свиданий с поэтом. А нашли ученые, которые доказали, что промежуток между свиданиями недостаточен, чтобы Лермонтов мог навещать Оммер де Гелль в Крыму. — Понимаешь, самолетов тогда не было — времени маловато. Да, вот еще что... взяли «послужной список» поручика М. Ю. Лермонтова на Кавказе. И оказалось... — Костя судорожно стал вспоминать, что было дальше. Он так увлекся, что действительно переплетал с фантазией. — В те самые дни, когда поэтесса расписывала свидания с Лермонтовым, их развлечения и милые беседы, именно в те дни бедный поручик брал какой-нибудь очередной аул со своим отрядом или участвовал в стрельбищах. А то и просто сидел в карцере. Понял? Как говорится, не угадали. Не сошлось.

— Как же это? — хмуро переспросил Петя Моржов и взглянул на Костю, как на убийцу.

— Князь Вяземский все выдумал и продал собственный роман. Рукописный подлинник якобы затерялся. Он передал в издательство русский «перевод». А издательство поверило.

Теперь из окна потянуло запахом зацветающей вербы.

Запах этот снова вызвал в Косте бесполезные сожаления. По утраченному воскресному дню с Ниной. По дальней дороге, которой нет названия.

Да, весна. Удрать бы с Ниной в деревню, наловить рыбы.

— Лермонтов знал свою судьбу, — сказал Петя Моржов. — Мама говорила.

— Может быть. — Костя очнулся. — А она где сейчас?

— Разбилась. — Петя повел плечом, и голова его дернулась. — Их самолет над Гималаями тряхнуло. В грозу попал. — Он подумал. Потом сказал заученно: — Все были привязаны. И экипаж и пассажиры. Только она стояла в проходе, девочке какой-то зубы заговаривала. Чтобы в иллюминатор из молнии не смотрела, — пояснил он. — Машину швырнуло камнем вниз на несколько сот метров. Тут ее и стукнуло виском о переборку.

Костя оцепенел.

— С кем же ты тогда остался? — сказал он тоскливо.

— С отцом.

Косте не хотелось спрашивать. Зачем ему было знать больше, чем надо. Но он не мог. Сейчас он будет сыпать вопросы один за другим. И пропало. Больше всего он боялся, чтобы опять не поднялось в нем это кружение головы и слабость под ложечкой, когда он делал вместо нормального, разумного поступка идиотскую сентиментальную несообразность.

Но мальчик дотронулся до Костина рукава.

— Смотрите! Приехали.

— А-а, — пробормотал Костя, сбрасывая с себя оцепенение. — Действительно, «Природа».

(Окончание следует.)



Янна
Дегутите

Начало пути

(Из цикла «К Литве»)

Здесь
начало пути:
где кленовые ветви
и листва
созвучны весне,
где мирно
картофель цветет
с голубым ароматом.

И не туман —
это спят журавли.
И не ветер —
дышит земля.
я
ничего
не забуду.

Отдаленное поле,
где скоро
созреют летние злаки,
оно
все ближе ко мне,
и тени —
что за тени блуждают вокруг!

Лось
трубит на окраине поля.
Луна
катится яблоком.
Ветви
клена
касаются теплого лба.

Все равно мне,
под каким из деревьев
меня
молния встретит:
здесь начало пути.
И никто
от этого края земли
меня не отнимет.



Яблони в цвету

Бродят яблони в белых платках.
По земле бродят яблони ночью,
как матери.

Что они ищут!
Заросшие рожьё следы!
Своих первенцев,
спящих под полями пшеницы!

Или камни они собирают в подола
для закладки грядущих жилищ!
Или просто хотят постучаться
в омытые ливнями двери,
Как полнолуния, полные запаха жизни!..

Бродят яблони в белых платках.
По земле бродят яблони ночью,
как матери.

Перевел В. КУПРИЯНОВ.

□ □ □



Альфонсас
Мачионис

Отдых

Ты тихо спала, натянув одеяло,
И время, как будто колеса, застряло,

В депо замерев, как вагоны трамвая,
Как автофургоны в ночи застывая,

Как фильм в старом вальсе застыв на
мгновенье.
Оно, как алхимик, имело терпенье,

Оно, как поэт в переломную пору,
В себе сомневалось, теряя опору,

И что-то решило. И пробило что-то.
И вместе с зарей оборвалась дремота,

Автобусы тронулись в яростном гуле,
И водопроводные трубы вздохнули,

И ожили улицы — снова мы были
Скопленьями звезд или горстками пыли,

И снова текли, хоть все было, как прежде,

И утро настало,
И очи узрели
Листву за окном и фонарь на панели.

Чистая улица

Молодость все равно проживет,
не скучая,
как ни суди ее,
ничего тут не изменить:
одна пробежит,
как ливень,
ветки качая,
другая придет,
чтоб ее сменить.

И будут чрезмерны объятия ее и проклятья,
и будет она горланить, идя напрямик,
и старые дружбы будут трещать,
как старые платья,
пока не наступит критический этот миг.

А мы не заметим, как она станет строже
судить о жизни,
о нас,
о себе самой,
и будем опять втолковывать ей
все то же —
что надо, мол, вовремя приходить домой.

И зря мы будем терзаться ночной порою,
теряя вконец спокойствие и аппетит:
ведь мы для нее
 трамплин над снежной горою,
от которого она отталкивается и летит.

О молодость, ниточка взлетов и
 потрясений!
Как ни суди ее,
 ничего тут не изменить:
по чистой улице пронесется,
 как ливень весенний,
и другая придет,
 чтоб ее сменить.

Прощайте

Пустеет наше озеро, пустеет.
Лишь женщины белье еще полощут.
Лишь роща нам лству под ноги стелет —
последний раз аукаемся в роще.
Зеленый цвет, и желтых листьев шорох,
и синий цвет — как эти краски строги!
И голые холмы, мимо которых
проходят все окольные дороги.
Последний сноп уже убрали с поля,
и спит зерно для будущего мая.
Стоят дома и лодки, с ветром споря,
его удары молча принимая.
Прощайте, лодки, женщины и сети.
Над ельником дымок прощально тает.
Мечтаю о коротком нашем лете,
и все его никак нам не хватает.

К зиме всегда
 поднимаются наши реки.
В пугах,
 как в огромных чашах,
 стоит вода.
И старые наши избы глядят сквозь веки,
как птицы,
 не улетевшие никуда.
Сейчас там темно, должно быть, темно и
 грустно,
и дождик стучит в окошко,
 стучит,
 стучит.
И локтями отец упирается
 грузно,
 грузно
о старый еловый стол
 и молчит,
 молчит.

Он смотрит в окно,
 где дождик по лужам скачет,
и курит,
 курит,
 а мать прядет у огня
и тоже глядит в окошко
 и плачет,
 плачет,
домой поджидая внуков,
 а не меня.

Перевел Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ.



Альбинас Бернотас

О каком, не знаю, думал толке...
Где был путь, где не было пути...
Но не тщишь еловые иголки
Осенью в ольшанике найти.

Нынче ищут не картин покоя —
Смысла бы открылась прямота.
Нужно бы лекарство, да другое,
И нужна бы песня, да не та.

Иль усердья не было, иль дара,
Но сегодня на поле пустом
Поздний ветер завывает яро,
Просеяв лето решетом.

Точно рощей сквозь тебя просвищет,
И сухие листья облетят,
И гнездовья обнажатся птичьи
В подтверждение твоих утрат.

Перевел П. КАРП.



Николай Дубов



ПОЧЕМУ НУЖНО ЗНАТЬ АНТИЧНУЮ МИФОЛОГИЮ

А нужно ли? На дворе 1970 год, человек пользуется атомной энергией и кибернетическими машинами, пересаживает органы тела и учится управлять наследственностью, летает в космосе и уже сделал первые шаги по поверхности Луны. Зачем этому человеку конца XX века знать сказки о богах, придуманные маленьким народом три тысячи лет назад? Чему человек бронзового века может научить современника, если самой сложной его машиной был гончарный круг, если вместо того, чтобы покорять силы природы, он боялся их, обожествлял и поклонялся им? Зачем в наше время распространять знание какой бы то ни было религии, тем более что и народов, исповадовавших эти религии, давным-давно нет и даже языки их считаются мертвыми?

Прежде всего об опасности религиозного влияния мифологии на современников. Такое влияние стало бы возможным лишь в том случае, если бы современники наши утратили всю сумму знаний, накопленных человечеством, все достижения цивилизации, науки, техники и вновь погрузились в пережитое когда-то варварство. История способна на многие неожиданности, но только в одном направлении — в будущем; внести поправки в уже прошедшее или повторить себя она не может. Следует добавить, что греческая мифология — и это одна из примечательнейших ее особенностей! — сама в себе несла зародыши своего отрицания как религии. Именно у греков, создавших столь яркий политеизм (многобожие), появился и атеизм, то есть безбожие, неверие в каких-либо богов.

Что же касается «живых» и «мертвых» языков, то, вообще говоря, понятия эти достаточно условны. Конечно, древнегреческий и латынь мертвы в том смысле, что они остановились в своем развитии, они такие, какие есть, и другими стать не могут. Но возь-

мем другую сторону вопроса: для того, кто не знает, скажем, английского или французского, эти языки столь же мертвы, как древнегреческий и латынь. Для счастливых, знающих латынь и древнегреческий, могущих в подлинниках читать произведения греческого или римского гения, языки эти не утратили ни живости своей, ни гибкости, ни величия и силы. А вообще у древнегреческого и латинского, этих якобы мертвых языков, завидная судьба. Европейская культура охватила весь земной шар, не минуя и те страны, в которых существовала своя, подчас более древняя культура, как Индия, например, или Китай. Зародилась, складывалась европейская культура у средиземноморского очага древних греков и римлян. На протяжении каких-нибудь десяти веков воинствующая христианская церковь заливала этот очаг и все его отпочкования излюбленным защитным средством всякой реакции — кровью инакомыслящих и бунтарей, но так и не смогла окончательно погасить: он возгорелся пламенем Ренессанса — Возрождения. Языками возрожденных — и рождающихся! — наук стали латынь и древнегреческий. Впоследствии, по мере развития национальных языков и культур, науки заговорили на языках различных народов, но основа научной терминологии была и остается поныне греко-латинской. Греко-латинская наука была изначальной для современной, греко-латинская терминология осталась связующим интернациональным цементом для всех бесконечно разветвившихся отраслей знаний. Она облегчает ученым взаимопонимание, она помогает слиянию национальных ручейков знания во всемирный поток общечеловеческой мудрости.

Мы просто не отдаем себе отчета в том, насколько глубоко и обильно проникновение, а вернее, вращение греческой лексики в языки национальные. В по-

вседневном обиходе у нас слова от самых привычных, бытовых, вроде «тетрадь», «школа», «огурец», «уксус», до самых торжественных и возвышенных, как «демократия», «академия», «гений»... И святилище футбольных болельщиков «стадион» досталось нам в наследство от греков, и самые прославленные ныне слова, определяющие высочайший взлет человека в прямом и переносном смысле — «космонавт», «астронавт», — образованы от греческих слов... Так мертвые языки продолжают жить и будут живы, пока существует человечество.

Но дело, конечно, не в лексике, не в том, что атом атомом, а космос космосом называли Древние греки. В эпоху Возрождения возрождаются к новой жизни античная литература, науки, искусство, и в этом нет ничего удивительного или неожиданного: они были неизмеримо выше того, чем пробавлялась средневековая Западная Европа. Но почему по всей Европе совершает триумфальное шествие античная мифология, почему она покоряет все виды искусства, становится неисчерпаемым источником тем, сюжетов и мотивов, критерием и образцом, а знание ее — неприменимым условием и признаком образованности? Несколько столетий спустя то же происходит и в России. С опозданием и потому, быть может, с еще большим упоением образованный россиянин окружает себя изображениями греко-римских богов и героев, их именами пестрят литературные произведения, они поминутно на устах собеседников, мифологические имена, мотивы становятся своеобразным кодом, облегчающим выражение мысли и взаимопонимание. Литература XVIII и начала XIX века, в том числе и добрая половина стихов А. С. Пушкина, особенно ранних, для человека, не знающего античной мифологии, попросту непонятна. Увлечение в среде «великосветского» мещанства можно еще в известной мере объяснить модой, но как объяснить увлеченность мифологией самых могучих умов, самых великих творцов и художников?

В борьбе с природой человек вооружил себя науками и техникой. Всевозможные машины, инструменты, приборы, счетчики и датчики позволяют человеку проникать в сокровенные глубины окружающего мира, понимать происходящие процессы и явления, влиять на них, останавливать или развивать их, менять качества, свойства вещей и материалов и даже создавать новые. Компьютеры, автоматы, телемеханические устройства все чаще и больше освобождают человека от необходимости делать, действовать самому и даже решать. Но какими приборами можно измерить глубину и силу чувства? Какой компьютер примет за Алкесту решение отдать жизнь ради prolongation жизни любимого Адмета, когда даже его престарелые родители не захотели расстаться с жизнью, чтобы спасти сына? Какая сигнальная система, какие датчики дадут знать затерявшимся в многотысячной толпе двум людям, что они изберут друг друга среди тысяч и между ними зародится великое чудо любви? (Здесь речь идет о любви, а не о подборе супружеских пар. Для такого подбора на Западе сейчас частенько применяют электронно-счетные машины. В прошлом с этой задачей достаточно успешно справлялись свахи, хотя, конечно, объем информации, получаемый электронной свахой, неизмеримо больше, а подбор она производит несравненно быстрее, чем старомодная сваха в плюшевом жакете, объезжавшая свою клиентуру на извозчике, а то и вовсе путешествовавшая пешком. Кому как, а по мне это кибернетическое достижение следует отнести скорее к области животноводства, чем человеческих взаимоотношений.) Какой счетчик предупредит о нарастающей волне ревности, которая захлестнет именно этого, а не какого-либо дру-

го человека и достигнет такой силы, что приведет к трагедии? Какие приборы предрекают то высокое сопряжение ума и чувств, которое поднимет человека над толпами, и о нем потом будут говорить «талант» или даже скажут «гений»? Вождей и полководцев находит, выдвигает и создает совокупность условий человеческого существования. Но какие законы определяют появление Шекспира или Рембрандта? Чем измерить, как определить то, что заставило Сократа выпить яд, а Джордано Бруно подняться на костер, но не отказаться от своих убеждений? Почему вне всяких условий, вопреки всяким условиям человек сохраняет неистребимую, неисчислимую жажду свободы?

По отношению к внешнему миру человек вооружен поразительными знаниями, фантастической техникой, по отношению к себе самому он оказывается безоружным. У него есть только одно-единственное средство познать самого себя — искусство и литература. Они не дают рецептов поведения и не открывают абсолютных истин (увы, абсолютные истины недостижимы и для точных наук...), они непостоянны и переменчивы, как сам человек. Вместе с ним они переживают взлеты и падения, пальма первенства переходит от одного вида к другому, но именно они порознь и все вместе объясняют человеку человека, каким он был, каков есть, каким может и должен стать. Религиозные, политические идеологии возникали, боролись друг с другом, побеждали или оказывались побежденными и теряли свое значение. Литература и искусство подпадали под их влияние или насильственно им подчинялись, но идеологии сменяли друг друга, литература и искусство оставались. Они останутся и будут существовать до тех пор, пока человеческий род не утратит к себе интереса.

Литература и искусство зарождаются в недрах мифологии и одновременно с мифологией. Создавая сказания о богах и героях, человек совершал первый акт творчества и делал первый шаг к самопознанию. С тех пор литература и искусство прошли большой путь. Чтобы понять этот путь и его результаты, каждый человек должен сам пройти его заново: нельзя сделать последующих шагов, не сделав первого. И потому «каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величайшей древности» (А. С. Пушкин).

В наше время не редкость услышать мнение о второстепенности, необязательности и даже бесполезности такого рода знаний. Наше-де время — время точных знаний, человек должен уметь создавать машины и управлять ими, все остальное — балласт, который навязывают всем по привычке, устарелой и утратившей смысла традиции. С каждым днем все больше объем информации, специальных знаний, которые употребляются повседневно, в процессе труда. А зачем знание вещей, которые нельзя использовать, применить на практике? Миф о Геракле не поможет строить гидроэлектростанции, картина Рембрандта не облегчит конструирование станка, а «Одиссея» не подскажет, где искать нефть...

Рассуждающих подобным образом можно назвать прагматиками (от греческого слова «прагма» — действие, польза) или утилитаристами (от латинского «утилис» — польза), сами же они зачастую называют себя жаргонным словом «технари», должно быть, не подозревая, что и этот варварский неологизм тоже образован от греческого слова. Хотят того «технари» или нет, они проповедуют духовную нищету. Человеку дается только одна и, к сожалению, не слишком долгая жизнь. Читая литературу, изучая искусство или хотя бы знакомясь с ним, человек вбирает в себя эстетический и нравственный опыт других людей,

поколений, других времен и народов. Живя однажды, он вместе с тем как бы живет сотнями и тысячами чужих жизней, становится сопричастным духовному уровню и опыту всего человечества. Отвергая по невежеству эти «необязательные», «бесполезные» знания, утилитарист ограничивает свой эстетический и нравственный багаж лишь собственным, личным опытом, а он неизбежно жалок и ничтожен в такой же степени, в какой один человек мал и незначителен по отношению ко всему человечеству.

Римляне называли рабов «инструментум вокале» — «говорящее орудие». Раб не знал ничего, кроме своей тачки, не видел дальше весла триремы, к которому был прикован, но он становился придатком тачки или весла не по своей воле, таким его делало насилие. Человек, который довольствуется утилитарными, только технологическими знаниями, по доброй воле превращается в «говорящий инструмент», идет в рабство к машине, а тот факт, что он приковывает себя не к тачке, а к компьютеру, ничего не меняет, это всего лишь качественная примета иного времени. И остается такой «технар» при убеждении, что Геркулес — это всего-навсего овсяная крупа для детского питания, Венера Милосская — каменная тетка с отломанными руками, которую почему-то не заменяют новой, неискалеченной, что можно сделать «запросто», Орион — магазин хозяйственных товаров, а Орфей — название болгарских сигарет...

Мы называем мифы сказками. Однако у древних они вовсе не были досужими вымыслами, придуманными для развлечения или назидания. Это были как нельзя более серьезные попытки понять и объяснить окружающий мир, его происхождение, место и роль в нем человека. Мифы есть или были у каждого народа или союза, группы племен, позднее сложившихся в единый народ, — у народов Азии и Африки, Полинезии и Нового Света и, конечно, у народов, населявших древнюю Европу. В клочковатом котле истории, каким на протяжении тысячелетий был Ближний Восток, возникали и распадалась цивилизации и культуры, сменяя друг друга, перенимали чужие и ширили свои верования, распространяли их влияние и на греческое Средиземноморье. Это продолжалось до тех пор, пока во славу нового пророка кривые сабли мусульман не залили кровью иноверцев огонь под этим котлом и не навязали народам Ближнего Востока религию арабийских торговцев и пастухов. Была своя мифология и у наших предков, слава, но, не закрепленную в письменных памятниках, ее вытравил христианство. От славянской мифологии осталось лишь несколько ничего не говорящих имен да прадревних обрядов, смысла и значение которых давно утрачены.

Если древнегреческая мифология (или греко-римская, хотя римская была лишь бледным сколком греческой) не была единственной, почему она, а не какая-либо другая оказала столь глубокое, формирующее и непреходящее влияние на развитие европейской культуры, литературы и искусства?

Благодаря ее древности? Сама по себе древность явления еще не составляет его достоинства. Известно немало явлений, верований и обычаев, которые вовсе не украшают древности, например, у тех же греков обыкновение выбрасывать неугодных младенцев, человеческие жертвоприношения и т. п. Однако по мере углубления в прошлое, за пределы истории, человеческая мысль в своих поисках начал и причин все реже встречает достоверную опору и материал. Поэтому мы столь и ценим древнейшие памятники прошлого. Греческая мифология не была древнейшей. Мифологии шумеров, египтян, хурритов были значительно старше. Достаточно сказать, что шумеры были уже забыты, а Хеттское госу-

дарство распалось в то время, когда дорийцы еще только вторглись в Грецию.

Греческая мифология не была самой распространенной. Следует сказать, что греки никогда и не пытались навязывать свои верования другим народам. Их боги были прежде всего богами домашнего очага, «семейными» и враждебными по отношению к посторонним. А так как государство было как бы большой семьей, то не подобало его богам покровительствовать чужестранцам, варварам. (Слово «варвар» в древности вовсе не было оскорбительным, для грека оно попросту означало человека, говорящего не по-гречески.)

Отнюдь не агрессивная, совсем не воинственная греческая мифология совершает поразительные и совершенно бескровные завоевания. По доброй воле ей покорятся, признают своей римляне и разнесут до самых дальних пределов громадной Римской империи, а после тысячелетнего небытия она возродится и покорит уже не один народ, а всю Европу. Пронзойдет вторичное «похищение Европы», только уже не девицы Европы, соблазненной Зевсом, а просвещенных умов целой части света... Чтобы это могло произойти, греческая мифология должна была обладать качествами, привлекательными для всех европейских народов, обладать общечеловеческой, ценной и важной для всех людей направленностью и содержанием.

Ее называли самой прекрасной. Это легко повторить, но повторять вряд ли следует, так как здесь мы вступаем на ставшую в наше время крайне зыбкой почву сравнения и оценок национальных творений. Можно говорить о том, что та или иная мифология приобрела большее влияние и распространение, но вряд ли уместны попытки устанавливать степень сравнения, выставлять оценочные баллы, тем более что такой подход ничего, в сущности, не объясняет и легко может быть оспорен. Любому народу его сказки, легенды и предания ближе и дороже, чем все иные, представляются ничуть не менее, а более прекрасными, чем другие. Для каждого народа его национальная мифология — источник творческих тем, сюжетов и мотивов, а если произведения, вдохновленные ею, не перешагивают национальные границы, это не умаляет их ценности внутри границ. Трудно ожидать, чтобы кузнец Ильмаринен стал для финна менее привлекателен, чем греческий Гефест, чтобы Отец Ворон Тукунгесак стал канадскому эскимосу менее понятен, чем Кронос или Зевс, чтобы священная троица африканских йорубов — Орун, Олокун и Осу — отступила в тень перед троицей олимпийцев, а исповедующий синтоизм японец отрекся от него во славу греко-римского Пантеона. Художественные вкусы всегда достаточно связаны с национальным самосознанием, а теперь, пожалуй, более чем когда-либо. Поэтому лучше оставить в стороне сравнительные оценки эстетических качеств различных мифологий. Подобное сопоставление легко может привести к противопоставлению, а от него рукой подать до кажущейся или действительной дискриминации национальных творений.

Эстетические достоинства сыграли, конечно, большую роль в распространении греческой мифологии, но решающими были не они, а качества эстетические и нравственные. Они-то и послужили главной причиной ее триумфов.

Древний грек, как и все первобытные люди, населяет мир страхами. Если бы дело остановилось на этом, греческая мифология осталась бы заурадной, ничем не выделялась среди других. Но, населяя мир страхами, грек населяет его также мечтами и надеждами. Надеждами на богов? Нет, на человека! И в этом — главное. Проследим, хотя бы крайне бегло, как это произошло.

Мир непонятен, враждебен и полон опасностей. Человек по сравнению с ним слаб и беспомощен. О борьбе не может быть и речи, остается единственное — умолять, задобрить этот мир, откупиться от него. Камень падает с неба (метеорит), значит, в нем заключена чудесная сила. Но камень падает и с горы. Почему? Очевидно, и в нем заключена сила, которая перенесла его с горы на равнину. Эти силы надо задобрить — поклониться им, принести жертву, то есть откупиться. Обугленный молнией ствол дерева или даже палка несут на себе знак непонятной, страшной силы, их также следует задобривать. Так появляется поклонение мертвым предметам — фетишизм. (Он продлжится долго, преобразуясь потом в поклонение изображениям богов, и доживает до наших дней в виде поклонения иконам у христиан.) Но с течением времени человек начинает понимать, что мертвое мертво и никак не влияет на его жизнь. Он обожествляет животных, но затем убеждается, что животным нет никакого дела до человека и что не животные сильнее его, а он сам сильнее и умнее всех животных. Итак, с мертвыми предметами он научился делать что угодно — камни, палки, земля, глина, потом и металлы превратились в орудия и материалы, любое животное человек научился побеждать. Но грозные, непонятные силы остались — вода, гроза, свет, луна, солнце, ветер, огонь... Они движутся, значит, они живые. Человек стремится охватить эти явления своим бедным пока разумом, но он еще не умеет мыслить абстракциями, поэтому не может представить ничего, кроме того, что видел и знал. Знал же и видел он лишь предметы мертвой природы, животных и себя — человека. Поэтому все мифические чудовища образуются или арифметическим наращиванием частей тела — свирепый страж Аида — пес, но с тремя головами, у лернейской гидры голов уже девять, а у гекатонхейров по сотне рук! — или соединением воедино нескольких существ — человека и змеи, человека и птицы, а Химера образована даже из трех составляющих: спереди лев, сзади дракон, а посередине коза. Человек уже знал, что он сильнее и умнее предметов и животных, а раз так, то все благоприятные и опасные силы тоже должны иметь облик человека. Только они больше человека, сильнее человека, они боги.

Эллины уподобили своих богов людям, так как увидели, что никто не может быть так жесток и ужасен, как человек; они уподобили богов людям потому, что узнали: никто не может быть так добр, благороден и прекрасен, как человек; они уподобили богов людям потому, что никто не может быть столь сложен, противоречив и неразгадан, как человек. «Много есть на свете поразительного, но нет ничего поразительнее самого человека» — эти слова хор в «Антигоне» Софокла произнесет только в V веке до нашей эры. Но за много столетий до Софокла эллины, еще не умея с такой силой и точностью сформулировать эту мысль, вложили ее в свое первое творение — мифологию, которая была отражением отношений, сложившихся на земле, а обитатели Олимпа — реалистическими изображениями человеческих типов. К антропоморфизму приходят почти все мифологии. Но ни у какой другой он не доходит до такого предельного реализма, конкретности, почти натурализма. Величие греков не в том, что они уподобили богов людям, а в том, что они бесстрашно всматривались в природу человека, перенесенную в бога. В мире под властью ацтекского Уицилопочтли или древнегерманского Одина перед богами можно было лишь трепетать и безропотно склоняться. Эллин поклонялся своим богам, но он был любознателен, любопытен до нескромности, дерзок и своеволен в своих отношениях с олимпийцами, не говоря уж о богах второстепен-

ных. Ни в одной другой религии не появлялось столь критическое отношение к богам, нигде этот критицизм не вел так последовательно к их отрицанию.

Древний эллин — безоговорочный реалист, его мышление сугубо конкретно. Сделав богов подобными людям, он идет в этом уподоблении до конца и наделяет богов всеми человеческими качествами. Боги не возникли из пустого места, сами по себе, они рождены; им нужно есть и пить, они устают и спят, их нельзя убить, но можно ранить, и они страдают от боли; их снедают те же страсти и пороки: они влюбляются и ревнуют, они завистливы и тщеславны, хвастливы и злопамятны, при случае могут соврать и обмануть, бывают малодушны и просто трусливы. Греки называют богов небожителями, но так как это слишком отдаленно, абстрактно и не очень понятно, они посылают своих богов на Олимпе. Гора хотя и самая высокая в Греции, но отовсюду видна и, в общем, доступна. Таким образом, боги, можно сказать, всегда под рукой, а самим богам удобно и легко спускаться на землю, чтобы затевать шашни или вмешиваться в дела людей.

Вмешиваются они постоянно, всегда. В сущности, они только людьми, вернее, одними эллинами и занимаются. Но каждый по своей специальности. За исключением Зевса, который, захватив верховную власть, оставил за собой надзор за богами и людьми, остальные боги — и это замечательная черта греческой мифологии! — все приставлены к делу. У народа-труженика, мастера на все руки, и боги были такими же тружениками и мастерами. Одно из прозвищ Афины — Эргана, то есть Работница, Гефест не вылезает из своей кузницы и даже на Олимпе бывает неохотно, Артемида пропадает в земных лесах, Дионис предпочитает странствовать по земле, обучая людей виноделию и... винопитию, а обязанности Гермеса трудно и перечислить. Это боги-наставники. Они научили людей земледелию, кузнечному, ткацкому делу, судостроению и мореплаванию, счету и письму, всевозможным ремеслам, гимнастике и искусствам. Ни в какой другой религии мы не найдем такого сонма богов и богинь, которые покровительствуют музыке. При этом следует помнить о том, что музыкой греки называли не только, как мы, мелодическое чередование звуков, но всякое знание и умение, так как они находились под покровительством особых богинь — муз. Олимпийские боги любили музыку и в узком, нашем понимании (греки придавали ей большое значение как обогащающему искусству), поэтому, насытившись нектаром и амброзией, они внимали хору муз, которым управлял Аполлон, бог света, искусства и знания.

Какой разительный контраст с мрачным сборищем древнегерманских богов и героев! Целый день эти герои сражались друг с другом — кололи, рубили, резали, стонали, истекали кровью. К вечеру, все чудесным образом исцеленные, они собирались на пир во дворец Одина, объедались жареным мясом дикого кабана, запивая его одуряющим пивом, хвастали своей силой и победами. Назавтра они опять целый день упражнялись в убийстве, вечером снова ели кабанину, пили пиво и хвастали... И так изо дня в день. Не удивительно, что в фашистской Германии гитлеровцы использовали древнегерманскую мифологию для своих целей: утопающие в крови профессиональные убийцы мифологии как нельзя более подходили в качестве образца при воспитании гитлеровских голорезов, для пропаганды нацизма и геноцида.

У греков тоже был бог войны Арес: поскольку войны происходили, то на Олимпе должен был существовать и соответствующий специалист. Однако Арес не пользовался симпатиями ни богов, ни людей. Эллины его не любили и храмов ему не строили, боги

же относились к нему насмешливо или с презрением и ненавистью, как, например, Афина. Да и за что было богине мудрости любить невежественного неотесанного солдафона, который ничего не знал и не умел, а только натравливал людей друг на друга, учил их убивать, хотя сам в нужную минуту храбростью отнюдь не блистал? Не говоря уж о богах, с ним справлялись и люди, когда, например, к позору своему, он был заперт разбойниками в подземелье...

Чем же отличались греческие боги от людей? Они сильнее? Да, конечно. Но они далеко не всемогущи, не раз случалось, что и люди давали им почувствовать свою силу: Геракл вступает в борьбу с Аполлоном, ранит Плутона, а бога смерти Ганата ему было достаточно стиснуть покрепче и настрашать, чтобы тот отступил; Диомед ранит Афродиту и самого Ареса, так что тот, взвизгивая своим голосом, поспешно прячется на Олимпе... Они красивее? Разумеется. Аполлон — воплощение мужской красоты, Афродита — женской, да и вообще все боги прекрасны. Однако Кассиопея считала, что она красивее богини, а Психея была столь прекрасна, что люди поклонялись ей как богине, чем навлекли на нее гнев Афродиты. Известно немало случаев, когда боги и богини не могли устоять перед красотой эллинов и эллинок. Избранницей бога любви Амура стала Психея, Афродита, не считая богов, отдавала свое сердце и Адонису и Анхизу, а сам Зевс — это вообще какой-то небесный донжуан, за что от супруги доставалось и ему, но главным образом соблазненным...

О какой же нравственности в таком случае может идти речь, если даже боги наделены всевозможными пороками, не возвышаются над страстями, а поддаются им? Что же, не прав Ксенофан из Колофона и все критики олимпийского сонма богов, которые упрекали Гомера и Гесиода в том, что те приписали богам все людские пороки, что боги эти аморальные, безнравственны? Прав Ксенофан, правы критики — олимпийские боги безнравственны. А люди? Вот тут-то и пролегал самое существенное различие между богами и людьми, установить которое в некоторых случаях бывает затруднительно.

В истории человечества еще не было власти, которая бы покарала самое себя. В этом смысле власть олимпийцев не составляла исключения. Боги безнравственны и практически безнравственны безнаказанно, так как они бессмертны. Даже если бог нарушал клятву (тягчайшее преступление) и был осужден пролежать недвижимым, как бы мертвым, десять лет, что это в сравнении с вечностью, которая ему предстояла? Люди тоже совершают преступления и безнравственные поступки, но они всегда за это наказываются. Их карают боги, их карает общество, или они карают себя сами. Данайды за убийство мужей осуждены в Аиде на бесконечный, бессмысленный труд. Геракл за убийство своих детей, хотя оно было совершено в припадке безумия, должен совершить двенадцать изкупительных подвигов, а почти каждый из них смертельно опасен. Тезей — прославленный при жизни герой — так много сделал для Афин, но когда он покидает малолетнюю Елену, Афины осуждают его на изгнание, и он гибнет на чужбине. Клитемнестра убивает мужа, Агамемнона, но за это ее убивает собственный сын Орест. Матереубийцу нещадно преследуют Эринии. А Эдип? Он убивает Лаия, не ведая, что это его отец, он женится на Иокасте, не подозревая, что она его мать. Как это могло произойти? Причину можно назвать как угодно: Предопределение, Рок, Судьба, Случай... Для Иокасты и Эдипа знание причины не имеет никакого значения, важно единственное — преступления совершены, и совершили их они. За содеянное отвеча-

ет содеявший. И они не ждут кары небесной, по- смертной или общественной, а карают себя сами: Иокаста вешается, Эдип выкалывает себе глаза и вскоре умирает, раздавленный сознанием своей чудовищной вины.

Однако утверждение нравственности не могло состоять и не состояло, разумеется, лишь в наказании тех, кто ее нарушил. Греческая мифология раз- вертывает перед нами поразительную картину проявления высочайших человеческих достоинств, взлета человеческого духа, его мужества и силы. Древний грек верил в Предопределение, верил в своих богов и боялся их. Ничуть не менее он боялся и всякого рода примег, был одержим суевериями, которые сохранились от древнейших времен анимизма и которые отлично уживались у него с верой в олимпийцев. У него не было никаких иллюзий насчет загробного мира, никаких надежд на посмертное вознаграждение: жизнь — единственный и неповторимый дар. И вот этот самый грек, боящийся богов и смерти, во имя долга идет на смерть, вступает в спор и даже в борьбу с богами. Антигону ждет неминуемая гибель, но она исполняет долг по отношению к брату. Исполняя долг, Геракл не устранился Артемиды и не уступил ей свою добычу, возмущенный несправедливостью, он вступает в бой с Аполлоном и даже бога смерти заставляет убраться восвояси. А Диоскуры, так любящие друг друга, что когда один из них погибает, второй не хочет влачить жизнь в одиночестве? А Алкеста, которая, не колеблясь, отдает свою жизнь, чтобы спасти жизнь любимого мужа? А Пенелопа, двадцать лет хранящая супружескую верность Одиссею? А сам Одиссей, который отвергает любовь богини и даже возможное бессмертие во имя любви к родине, родному дому и близким? А Гектор, благороднейший Гектор, который знает, что сражается за обреченное дело, что он погибнет в этой борьбе, но не может и не хочет отступить, так как выполняет свой долг — защищает свой дом, своих близких, свое отечество.

Чудеса — неперемный элемент всякой мифологии. В греческой их тоже предостаточно, однако примечательно то, что даже в те отдаленные «сказочные» времена чудесные вещи и превращения служат главным образом богам и крайне редко людям — последним приходится рассчитывать лишь на свои силы. В сущности, только Персей воспользовался шапкой-невидимкой, Беллерофонт — крылатым конем Пегасом, да Медея, могущественная волшебница, использует свои чары в отношениях с людьми. И Геракл и Тезей свои подвиги совершают сами, без всякого колдовства; силой своего разума Эдип изгоняет сфинкса; только ловкость и сила охотников побеждают волшебного калидонского вепря; только благодаря своему мужеству, воле и силе своих рук Одиссей не погибает во время бури, насланной на него Посейдоном. В славянских и арабских сказках герои летают на волшебном ковре-самолете. У греков человек тоже летает, но без всякого волшебства — на крыльях, сделанных своими руками.

Могучи сверхъестественные силы, еще более велико могущество богов, но есть сферы, где и те и другие оказываются бессильными перед человеком. Ни волшебные чары, ни воля богов не могут заставить полюбить или разлюбить. Волшебница Цирцея не может заставить Главка разлюбить Сциллу, она может лишь отомстить, превратив Сциллу в чудовище. Чары Медеи так велики, что она может вернуть человеку молодость, но никакими чарами она не может вернуть любовь Язона, и ей остается только убить Креусу. Над любовью человека не властен никто, своей любовью он возвышается над всеми силами земными и небесными.

Едва ли не столь же могущественно в глазах грека искусство. Пение сирен действует так чарующе, что моряки забывают о веслах, парусах и гибнут, разбиваясь на скалах. Амфион так божественно играет на кифаре, что камни, тронутые его музыкой, сами укладываются в стены. Изваянная Пигмалионом Галатея столь прекрасна, что пробуждает в его сердце любовь к себе, и любовь эта так велика, что оживляет безжизненную слоновую кость. Орфей своим пением завораживает бушующие волны, и они успокаиваются. А когда его любимая жена Эвридика гибнет, он своей музыкой покоряет Харона, Цербера и самого Плутона и добивается освобождения Эвридики из царства мертвых, хотя тут же по своей вине теряет ее... Искусство, оживляющее камень, искусство, воскрешающее мертвых, — может ли быть более высокая оценка творческих возможностей человека?

Даже боги древних греков были далеки от идеала, и уж, конечно, греки не создавали, не придумывали идеальных героев, образцов и примеров для подражания. Они не боялись правды, а правда состоит в том, что человек может быть великим и ничтожным, в нем уживаются возвышенные устремления и постыдные слабости, героический дух и пороки, черты благороднейшие и самые низменные и презренные. Герои их мифологии — люди насквозь земные, из плоти и крови, а не художественных вымыслов и домыслов. Именно поэтому греческая мифология рождала новую веру и поддерживала надежду. Веру, которая не имела ничего общего с религией, — веру в человека и надежды на его будущее. Боги вне подражания — они боги; идеальный герой — бесплотная выдумка, несопоставимая с живым человеком. Но если человек, обыкновенный смертный, со всеми его слабостями и недостатками, способен на захватывающий дух героизм, на благородство и самопожертвование, которые неведомы ни богам, ни другим живым существам, кроме человека, если мысль человека бесстрашна и неостановима, все меньше полагается на чудо и все больше на самое себя, если человек во имя свободы и справедливости способен восставать даже против богов, для него нет пределов прогресса, его самосовершенствование неостановимо.

Эта мифология, верящая в человека, любящая человека, прославляющая человека, не могла не возродиться к новой, очищенной от религиозного содержания жизни в эпоху Ренессанса. Она стала органической частью гуманизма (от латинского «гуманус» — человеческий) — борьбы за освобождение человеческой личности и разума от оков феодализма и христианской церкви. С тех пор столетие за столетием композиторы, художники, скульпторы, поэты, драматурги и даже политики припадают к этому неиссякающему источнику «живой воды», черпают в нем вдохновение, находят недостижимые образцы. Не бу-

дем говорить об отдаленном прошлом. Но вот пример из прошлого совсем недавнего. После революции в центре Днепропетровска был поставлен памятник — на высокую колонну вознесена фигура Прометея, разорвавшего цепи. Прометей, разрывающий цепи, олицетворял пролетариат, сбросивший оковы капитализма и царизма. Не знаю, кто был инициатором, но отформовали, отлили и поставили памятник сами днепропетровские рабочие. В начале пятидесятых годов днепропетровцы с гордостью рассказывали мне, как во время фашистской оккупации гитлеровцы пытались разрушить, снести «их Прометея», даже танком пробовали своротить колонну-постамент, но Прометей устоял и стал как бы новым символом — непобедимости советского народа...

Присмотритесь, прислушайтесь внимательно! Герои и боги древней Эллады обращаются к вам со страниц творений великих писателей, с полотен художников в картинных галереях, мраморные, бронзовые обступают вас в музеях; атланты стоят у входа в Эрмитаж, бронзовый Марс стал памятником Суворову у Марсова поля в Ленинграде, над входом в Большой театр распростерлась в полете квадрига бога искусства Аполлона... Да разве только в Москве, Ленинграде! Если вы окажетесь на берегах Черного моря (Понта Эвксинского), от устья Истра (Дуная) до грозных скал Кавказа, где был прикован Прометей, и Колхиды, где аргонавты добыли золотое руно, — повсюду остались следы памятники греческих поселений, колоний, в которые они привозили огонь родных очагов, статуи своих богов, свои верования и свое искусство. Сумароков, путешествуя по Крыму, еще застал развалины храма Артемиды, в котором жрицей была Ифигения. В Керчи сохранился один из многих в нашей стране образчик древнегреческой живописи — в так называемом «склепе Деметры» изображены скорбящая Деметра и сцена похищения Персефоны Аидом. В Одессе, Ольвии, Херсонесе Таврическом, Керчи и множестве иных мест вас окружают памятники древней Эллады и из глубины веков обращаются к вам ее герои. Если вы не понимаете, не слышите их, то не потому, что они стали безгласны или «вообще устарели». Это лишь означает, что вы не умеете их слушать и не слышите, так как попросту ничего о них не знаете. Такое незнание делает вас духовно беднее, чем вы могли бы быть.

Отбросьте же духовную лень и попытайтесь открыть для себя будоражащий ум, обогащающий чувства мир античных мифов. Вступив в него однажды, вы будете возвращаться к нему вновь, и настанет время, когда для вас оживут неподвижные статуи, заговорят немые до тех пор картины, «бессмертные творения величавой древности» потрясут и покорают вас.



Избушка крыта финской стружкой,
Блестит, как рыба чешуя,
В избушке той — моя подружка,
Моя подружка — жизнь моя.

Она по физики законам
На смерть давно обречена,
Затем и в мире законном
Не появляется она.

Она полна того пристрастья,
Какое силу ей дает
Несчастье ощутить, как счастье
В ненастье, когда дождик льет.



В лесу листок не шелохнется —
Такая нынче тишина.
Никак природа не очнется
От обморока или сна.

Ручей сегодня так бесшумен —
Воды набрал он, что ли, в рот,
И сквозь кусты до первых гумен
Он не струится, а течет.

Обняв осиную плаху
И навалясь на огород,
Одетый в красную рубаху,
Стоит огромный небосвод.

□ □ □



**Леонид
Латынин**



Она кругами ходит, слава,
Она смыкается с бедой,
Она проклятие и право
Быть до конца самим собой.

Она не спросит, где истоки.
Запишет сразу в мудрецы.
И раньше зрелости — в пророки
И раньше смерти — в мертвецы.



И я открыл благоговенье
В последний вечер декабря,
Свечи нечаянной горенье
И желтый ответ фонаря.

Арбатский двор так бел и ровен,
Прозрачны окна, высоки,
И мир открывшийся огромен,
И неподвижных две руки.

И, продолжая наважденье,
Слова забытые звучат.
Сквозь тишину, преображенье,
Огней неяркое круженье
И неизбывный снегопад.



Пересекли дорогу птицы,
Но я ли стану горевать!
Легко рождаются зарницы,
Легко им будет умирать.

Светлы поля, дороги в росах,
И ветер гонит волны ржи,
Неяркий серп реки белесой,
Средь поля брошенный, лежит.

И что за даль, ее пожары
Каким мирам принадлежат!
О чем далекие Стожары,
Мерцающая в небе, ворожат!



Ты пришла не ко мне, а к кому-то другому,
Может, к этому всеми забытому дому!

К этим книгам, отжившим столетие назад,
Их страницам твои так знакомы глаза.

И, как прежде, мой дом жил одною тобой,
И дышал и дымил он своею трубой.

Все старался оставить тебя, укачать,
Одиноко ему без тебя по ночам.

Как он ждал, как берёт для тебя доброту,
Говорил, говорил, позабыв немоту.

Долго свет в его окнах открытых не гас...
О, как медленно ты уходила от нас!



Валерий
Гейдеко

ПРОБА ХАРАК- ТЕРА



Путешествие, которое нельзя совершить, — заглянуть в собственное будущее. Каждый возраст ставит перед тобой шлагбаум: двадцатилетний, ты представляешь свою жизнь в тридцать лет совсем не такой, какой она потом оказывается. И каждый возраст готовит свои открытия. Всегда настолько неожиданные, что возникает потребность сверить свои ощущения с опытом других людей. Этот опыт по крупицам содержат в себе книги — не все, разумеется, а лишь те, в которых автору удалось так или иначе претворить собственную биографию в судьбах литературных героев. Самый непосредственный слепок всего пережитого человеком — лирическая поэзия, где автор один на один с читателем.

Почти у каждого бывает рубеж, переломный момент, когда происходит проба характера. Когда появляется необходимость взглянуть на себя со стороны, критически отнестись к тому, что ты делал вчера и делаешь сегодня. Я сказал бы даже, что возникает потребность начать жить заново, — сказал, если бы эти слова не приобрели в обиходе иронический оттенок и такой своей ироничностью еще раз не подкрепляли бы устойчивый предрассудок, будто человеческий характер — нечто неизменное, данное от бога и всякие попытки изменить его напрасны и бессмысленны, и потому лучше и спокойнее... Впрочем, не буду забегать вперед — об этом статья.

ГРАНИ ЖИЗНЕЛЮБИЯ

Я всегда завидую жизнелюбивым людям. Даже тем, у кого жизнелюбие стихийно и безотчетно. Даже тем, кому для полного счастья нужно очень немного, и это немного они воспринимает с той слепой и жадной благодарностью, с какой, например, трава получает от природы дождь и солнце. Игорь Шкляревский — очень жизнелюбивый поэт. Прежде всего он не разучился удивляться жизни. Для него есть явления знакомые, известные ему, но нет примелькавшихся:

Мы почти что ко всему привыкли.
К одному не сможем никогда —
эта светлая каленая вода
и ветла, что к зареву приникла!
И березы, белые,
как будто
их земля вспоила молоком.
И косяк голубоватых уток,
в камышах свистящий
сквозняком,
и дорога вся в следах коровьих,
с раскаленным солнцем в изголовье.

Давно не встречалось в нашей поэзии такой звонкой интонации, с которой поэт говорил бы о своем преклонении перед природой, о единении с нею. Шкляревский улавливает в природе состояние освобожденности, то состояние, которое бывает после короткой летней грозы, когда мир словно бы промыт. Так промыты краски и в его стихах.

В них привлекает ненормированность эмоций. Бывает ведь так: читаешь книгу стихов, и все в ней словно бы вполне адекватно, и чувствуешь себя так, будто сидишь в комнате, которую едва освещает тусклая, запыленная лампочка, а собеседник твой — человек

вялый и флегматичный, которому не бывает ни жарко, ни холодно, ни горько, ни радостно. У Шкляревского энергия плещет через край.

Можно еще многое говорить о формах, в которых проявляется жизнелюбие поэта. Но это все — количественная его сторона, и она не дает представления о духовной сути жизнелюбия. А эта суть у Шкляревского вовсе не однолинейна, не поверхностна. С наибольшей четкостью она обозначена в стихотворении, где поэт сблизил, соединил две вечные и полярные темы:

Когда старинный город Могилев
траги отгажким криком оглушали,
смерть бабушки и первая любовь
не пощадили мальчика — совпали.
Переплелись, как яблоня-дичок,
и мокрый крест, расшатанный ветрами
и вознесенный, вырванный ветвями
туда, где вечность синяя течет.

Весной приеду в город Могилев,
и зашумят на круче тополя!
Зеленым дымом улочки заполнит.
И черная размокшая земля
о самой ранней юности напомнит.
о том, что жизнь была ко мне щедрой,
в лицо и в спину ливнями хлестала,
о том, что горя, песен и добра,
любви и хлеба черного хватало.

Нет ни мудрости особой, ни доблести любить жизнь только за праздничную, легкую ее сторону. Любить ее за все, в том числе и за испытания, которыми она тоже щедрей, — в этом высшая степень жизнелюбия. Но граница между людьми проходит все-таки не там — как они любят и за что ценят жизнь. Проходит раньше — как они воспринимают жизнь, что в ней выбирают. Есть люди с довольными, сытыми лицами счастливчиков, которые верят в свою избранность, в свою особую миссию на земле и всячески этой избранности добиваются. Это тоже форма жизнелюбия. И в стихах Шкляревского звучит внутренняя с ней полемика, звучит убежденно и резко. Она и в том, что жизненная программа поэта полнее, глубже, человечнее. И в том, что его жизнелюбие оплачено полной мерой: осознанием драматизма и преодолением его. «...Когда бы знал — не вечен срок...» — серьезно и ответственно звучит в стихах напоминание. Но и знать об этом можно по-разному. Можно так:

Этот мальчик, веселый и жадный,
вдруг проснется один и поймет,
что и радости к нам беспощадны,
потому что ведь время идет.

И, прозрев, постигнув конечность бытия, можно торопиться, подхлестывать время, чтобы не прозевать свое, не упустить все радости, что тебе отпущены, а, если удастся, прихватить и сверх того, — подрастая, так живут «веселые и жадные» мальчики.

Можно иначе. Иначе представлять свою участь:

Еще настанет мой черед.
Еще закружится солома.
Еще беда не обойдет
и не забудет номер дома.

И принять эту участь с достоинством, мужественно и честно. И если такому человеку «горя, песен и добра, любви и хлеба черного хватало», значит, доля его была полновесной, значит, жизнь не обделила его.

Шкляревский выбирает эту участь.

«...ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕЙ СУДЬБОЮ СТРОЧКУ»

Гражданственность поверяется той нравственной и политической программой, которой поэт оценивает свое время. Ее высотой и ответственностью. В переломные моменты истории отчетливей видится суть, резче — граница между светом и тенью, между добром и злом. И в такие моменты обостряется нравственная программа поэта, она получает прямой повод раскрыться во всей полноте и силе.

В будние дни повод для высказывания этой программы чаще опосредствованный, косвенный. И сама она бывает выражена не столь прямо, в ней присутствуют полутона и оговорки. Но она должна быть. И если определять гражданственность негативно, отталкиваясь от понятия противоположного, то бесспорным свойством антигражданственности является отсутствие у поэта своей нравственной программы, а точнее, мелкий и спекулятивный ее характер.

Всякий настоящий поэт, который требовательно относится к своему времени и к людям, в это время живущим, прежде всего предьявляет высокий нравственный счет к себе самому. В противном случае и упреки и похвала, с которыми он обращается к современникам, не имеют цены, не оплачены душевным его запасом.

Я на днях случайно прочитал
книжку невеликого поэта.
Где-то под Ростовом он упал,
захлебнулся кровью и не встал,
и не видел, как пришла победа.
Но отвага гению сродни,
но подобно смерти откровенье,
и стоит, как церковь на крови,
каждое его стихотворенье.
Вот и мне когда-нибудь упасть,
подтвердить своей судьбою строчку,
захлебнуться и поставить точку —
значит, жизнь и вправду удалась.

«Подтвердить своей судьбою строчку» — этим стремлением убедительны лучшие стихи Ст. Куняева. Наклад поэзии Куняева основывается на повествовании об индивидуальной, конкретной судьбе:

Электричка порой громыхнет,
как бы напоминая сознанию,
что, бесшумное время идет
безошибочно, без опозданья.

Куняев напоминает о ходе бесшумного, неуловимого, необратимого времени. Напоминает себе и другим, что

...пора от привычной тщеты
отказаться мне без промедленья,
что еще остаются часы
для свободы и для удивленья.

Вот этих-то часов, необходимых «для свободы и для удивленья», сегодня чаще всего и не хватает. Некогда! Это слово как будто носится в воздухе.

«Некогда думать, некогда ...быть человеком некогда...» — сокрушается один из известных наших поэтов.

Некогда! А горе молодых еще и в том, что все хочется успеть. А время одно, поэтому надо или чем-то жертвовать, или найти идеальную, жесткую пропорцию для своих увлечений и пристрастий.

Две силы направляют действия человека. Одна рождается, когда заглядываешь на три, пять, десять лет вперед, и тебе кажется, что все будет счастливо, радужно. Ты составляешь план-максимум: не ленишься, работать широко, с размахом, не отвлекаться по пустякам и т. д. Но, помимо этой силы, ежедневно (или почти ежедневно) на нас действует другая, пов-

седневная. Она все время вмешивается, идет наперекор. Не хочется заниматься поденщиной, а занимаешься. Не хочется мельчить работу, а мельчишь. Уступаешь сам себе, и кривая, наметившая твой идеальный путь, все время изгибается, делает изломы.

Но вот случается основательный душевный сдвиг, который вносит ясность в эти проблемы. Так бывает, когда человек вдруг осознает свою жизнь как замкнутый, строго определенный отрезок времени, «от» и «до». Он впервые мысленно взвешивает то, что прожито, что еще остается прожить, и отныне он помнит о невозвратности времени. Каждая минута не просто исчезает в небытие, но и отсчитывает свой счет в его, человека, сознании. Вот тогда-то, как неизбежность, и происходит психологическая ломка. Учишься беречь время. Думаешь о своем предназначении. Стараешься найти дело, которое способен выполнить только ты или которое ты выполнишь лучше других или так, как не выполняет другие. Найти его и следовать ему, чтобы твои поступки этой целью направлялись и освещались.

Здесь вся соль, в этом все дело. Если мы придем на суд к потомкам с жалобами и оправданиями, как сложно нам было и как нам не хватало времени, нас не поймут. Потому что им не было легче. Никому не было легче.

ТОЧКА ОПОРЫ

Скажи мне, кто твой враг, и я скажу... Галерея недругов в произведениях молодых писателей неисчерпаема: здесь обыватели, резонеры, пай-мальчики, карьеристы, супермены, недалекие родители, трусы, демагоги...

Столкновение автора с одним из этих противников может обернуться извержением вулкана, а может — комнатным штормом, бурей в стакане воды. Проще говоря: состав отрицательных героев почти определен, исчерпан и неизменен, меняются только средства и цель их изображения. Что же помогает нам определить: эффективно столкновение автора с героем или нет? Точка опоры. Когда писатель разгорячен боевым пылом, разит врагов направо и налево, важно знать конечную цель, ради которой он устроил побоище, нелишне предвидеть, что будет он делать среди руин и обломков. Часто оказывается: он и сам этого не знает. Главное — одолеть противников, а потом все будто бы свершится автоматически, уладится само собой.

Бездумная воинственность — болезнь во многом чисто возрастная. В шестнадцать лет человек убежден в полном несовершенстве мира, в двадцать — оставляет за людьми право по меньшей мере на половину их слабостей и пороков, в тридцать — соглашается, что в принципе мир устроен справедливо и рационально и, если удастся довести до конца хотя бы десятую долю своих намеченных в шестнадцать лет проектов по переустройству жизни, он сделает совсем немало. И это не отступничество, не измена юношеским стремлениям (хотя в иных случаях бывает и так), а протрезвление, неизбежное и необходимое. С возрастом должна приходить жажда конструктивной программы, понимание не только того, что тебе не нравится в мире, но и чего ты хочешь и как это «хочешь» осуществить. Нужна точка нравственной и социальной опоры.

У поэта Глеба Горбовского такая точка опоры есть. Одна из его поэм называется «Право на себя», и в ней совет: «Нужно петь, когда есть голос, смеяться, когда в глазах есть свет, смеяться, если есть веселость, и не смеяться, если нет!» Кажется, что

тут поэт мудрит: «право на себя» — право самое элементарное, несложное, легкодоступное, зачем его отстаивать? Верно. И в то же время самое трудное. Кто может, положи руку на сердце, утверждать, что пользуется этим правом до конца, не ущемляет — сознательно или неосознанно — собственную индивидуальность? Еще одна поэтическая формула (Глеб Горбовский облакает ее в простоватый, «вывернутый наизнанку» образ): «Как личность, атом неделим, поделишь — атома не будет!» А как часто мы дробим себя, делим на трети, на половину или на какую-нибудь вроде бы незаметную двадцать пятую часть. И... «атома не будет»!

Глеб Горбовский — пропагандист личности неделимой, цельной. Всякий призыв, как известно, особенно эффективен, если приверженец сам тому призыву следует. Стихи Горбовского, где вырисовывается резкий, непростой и вместе с тем последовательный характер, — незамедлительная поддержка тезисов о неделимости личности. Душевное состояние автора меняется часто, внезапно, необдуманно; своеволие таких поворотов, пожалуй, иногда даже шокирует читателя.

Многие стихи Горбовского — летопись изменчивых душевных состояний, ряд мгновенных фотоснимков души.

Провода сплелись над улицей
Паутинкой — тонны груза.
Старичок на небо хмурится.
Продают впотьмах арбузы.
Я иду... Ларьки сутулятся.
Навевает вечер грусть.
Ну и ладно... Ну и пусть.

Одно такое стихотворение, взятое отдельно, покажется милым и непритязательным пустяком. Нескольких подобных стихов могут дать пищу для пародистов: поэт пишет о том, что у него, мол, плохое настроение, потом — хорошее, а дальше — вообще не разберешь какое! Всем ли интересно об этом знать?

Безыскусность стихов Горбовского обманчива. Вместе с другими стихотворениями — о буднях геологов, о циркачке, что идет «по канату вдоль судьбы», — словом, со стихами, где есть движение, протяженность, действие, стихи о «плохом» или «хорошем» настроении образуют у Горбовского цельную художественную систему. Это раздумья о смысле жизни — проблеме, перед которой все другие проблемы для любого настоящего писателя являются частными, производными. Глеб Горбовский пишет об этой «вечной» теме серьезно, нефальшиво, без малейшей доли книжности, которой часто грешат в таких случаях поэты. Я имею в виду вот какое явление: за последние годы в поэзии как-то вошло в моду легковесное, поверхностное отношение к проблемам жизни и смерти. Чуть ли не в каждой второй наугад взятой книге обязательно встретишь примерно такое мажорное стихотворение: да, я знаю, что я не бессмертен, что я когда-нибудь умру, но я не печалюсь, не грущу об этом, потому что после смерти я стану цветком, растением, пылью на дороге и люди будут проходить мимо меня.

Бодряческий тон, напускной оптимизм таких уверений (с формальной стороны неоспоримых) неубедителен, неуместен.

Глеб Горбовский не рвется высказать восторг по поводу неминуемости смерти. Он знает, что, какою бы жизнь ни была — горькой или счастливой (а чаще всего той и другой), — это жизнь, которой нужно дорожить, ибо другой ее уже не будет. «Иногда поплакать нужно: как-никак, проходит жизнь. Надо все переначить, жить сначала в сотый раз. Небо тоже часто плачет, а ведь небо — лучше

нас», — этим шутивым доводом увенчана мысль отнюдь не шутивая.

Человек бывает непомерно требователен к своей участи: как бы полно ни достигал он своих стремлений, как бы судьба ни баловала его, ни удовлетворяла сполна его желания, он все-таки остается в обиде на закон необратимости времени, по которому каждый прожитый день, даже самый счастливый и прекрасный, — это прожитый день.

Среди испытаний, которым подвергают человека годы, есть одно, самое существенное: прощание с мечтами, надеждами, иллюзиями. Это три разных состояния, но я нарочно поставил их рядом, потому что граница между ними часто бывает стертой. Я веду речь не о том случае, когда надежды идут прахом и ничего, кроме разочарования, человеку от прожитых лет не остается. О другом: о том естественном, нормальном противоречии, по которому человеческие мечты, стремления идут, хотя бы ненадолго, впереди его реальных возможностей. Бывает, идеал и его осуществление сближаются у человека довольно тесно, но и в этом случае он не удовлетворен сполна, ибо нет предела в стремлении человека к совершенствованию (а в нашем, социалистическом государстве особенно, поскольку совершенствование личности определяется здесь двумя взаимными факторами: требовательным отношением к себе отдельного человека и высоким нравственным счетом, который предъявляет общество ко всем и к каждому). Так или иначе на каком-то возрастном рубеже необходимы переоценка ценностей, здравый взгляд на свои возможности. Что-то сделано, что-то еще удастся сделать из задуманного, что-то, по всей вероятности, нет. А как быть дальше? Вот здесь-то и кроется вопрос вопросов. На этом перепутье три дороги, три выбора, три ответа. Можно искать у людей снисхождения; можно, напротив, превратиться в озлобленного неудачника — корить за свои неосуществленные планы весь белый свет. Третий выход, доступный уверенному в себе человеку и достойный его: трезво, не взвизгивая себя и не расслабляя, воспринимать реальность. Если человеку не все удалось из того, что он задумал, то все равно нужно воспринимать жизнь мужественно и честно, оставаться твердым владельцем «права на себя» — на свои жизненные поиски, удачи, ошибки.

...Заасфальтировали корни,
и стала липа — городской.
Замкнули ствол ее в намордник,
чтобы не трогали рукой.
А липа все ж осталась — липой:
тянула соки из земли,
слегка раскачивалась
либо
спала в безветрии в пыли.

Или:

Как ни берись рукою хищной
за человеческое «Я»,
оно свои дороги ищет
на свой единственный маяк!

Большинство стихов Горбовского и посвящено поиску «маяка»: они служат напоминанием о быстротечности жизни и о том, что каждый человек — хозяин и творец своей судьбы.

ПОЛЬЗА И ВРЕД БЛАГОРАЗУМИЯ

«Возраст» — так Владимир Корнилов назвал свою вторую книгу стихов. «Дотянули до среднего возраста», — сообщает он. «Средний возраст» — это за тридцать. Работа, любовь, быт, огорчения и радости, праздники и будни человека

«среднего возраста» — вот о чем повествует В. Корнилов.

Все исполнится
в этой жизни,
Прежде было
потяжелей.
И работай.
И зубы стисни.
И мешавших тебе
жалей.

Собственно, никаких особых рецептов у В. Корнилова нет. Просто нужно питать поменьше иллюзий, не вводить себя в заблуждение относительно того, будто по жизни можно пройти, не споткнувшись, не разбив коленей. Неприятности, сложности, волнения — мера, оказывается, еще не абсолютная. Много зависит от того, насколько человек приспособлен к ударам судьбы: примерно одинаковое по значению событие одному человеку покажется катастрофой, после которой ему уже не оправиться, а другой встретит и преодолеет его собранно, с минимальными душевными терзаниями.

Владимир Корнилов верит в силу слова, в могущество поэзии. Заслугу Анны Ахматовой он видит в том, что ее стихи «отмывали душу дочиста». И разве не к тому же стремится он сам, когда мечтает: «Сочинить бы стихи из мук, из разлук и сведенных рук, из сиянья печальных глаз, что тебе улыбулись вдруг. Чтоб умели стихи беду оборачивать в доброту и подстреливали минор, точно вальдшнепа на лету»? Стремится — и в лучших своих стихах достигает этого. Среди достоинств истинного поэта не последнее место занимает способность и исцелять словом. А это под силу только тому, чей душевный потенциал высок. Кто способен «беду оборачивать в доброту», способен и о своей беде, о своих душевных терзаниях поведать так, чтобы воздействие его стихов было очищающим, чтобы его исповедь заставляла человека поверить в себя, в свои силы, в свое высокое предназначение. И потому лучшим стихам В. Корнилова присущ действенный, убедительный оптимизм. Владимир Корнилов (как и многие его сверстники), естественно, продолжает давнюю и прекрасную традицию советской поэзии — ее оптимистичность. Оптимизм этот определяется не просто эмоциями, душевным складом того или иного отдельного поэта. Советская поэзия оптимистична по самой своей сути, точно так же, как оптимизм является отличительной чертой всего нашего общественного строя, его планов и перспектив, его преобразовательной деятельности. Во всем, что поведала советская поэзия более чем за пятьдесят лет, было немало горьких строк и страниц — ведь ни одному государству в мире не выпадало еще на долю таких испытаний и трудностей. Но ни одному еще государству не посчастливилось отстаивать свои завоевания с такой святой убежденностью всех и каждого в правоте, справедливости этих завоеваний. Вот почему советской поэзии, обращенной к народу и выражающей жизнь народа, всегда было чуждо состояние, при котором, говоря словами классика, «мысли о беспечности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская «суета сует», составляли и составляют... высшую и конечную ступень в области человеческого мышления.

Убежденность в том, что «каждый веком своим — История, каждый делом своим — Страна», питает поэзию В. Корнилова. Много можно спрашивать с человека, в которого веришь, от которого многого ждешь. В. Корнилов спрашивает с человека многое, и спрашивает строго. В конечном счете готовность к подвигу не вдруг, не случайно и не неведомо откуда возникает в человеке. Это итог, следствие того высокого нравственного счета, по которому человек стремится жить всегда и который оберегает его от

усыпляющей текучки будней. Подвиг неожидан, но закономерен. Он подготовлен всей жизнью, тем лучшим, что есть в человеке. Вот почему символична картина, которая в мирные дни, во время учений представилась В. Корнилову:

И показалось:
Проклятое —
«Танки!»
Крикнут в цепи,
И, тряхнув головой,
Парень с Ордынки
Или с Полянки
Рухнет с гранатами
Под головой.

Исключительна ситуация, в которой этот поступок мог бы свершиться, но не исключительна и не случайна готовность к нему. Поступок этот не выпадает из той нравственной линии поведения, по которой В. Корнилов оценивает человека, как и само стихотворение не выпадает из общей художественной системы поэта.

Способность по-мужски, в самом похвальном смысле сдержанно относиться к жизненным передрягам с годами становится у В. Корнилова особенно явной. (Я собрался было, да так и не решился в качестве дополнительного довода написать ходячую фразу «Возраст обязывает»). Не решился потому, что если Корнилов на нее и ориентируется, то вовсе не в привычно мещанском смысле — не ординарности, чинности, расчетливости набирается он, приближившись к «среднему возрасту».)

Есть такие слова: «набираться ума-разума». Этот «ум-разум» включает в себя не только то, что человек читает книги, слушает лекции, знакомится с умными людьми, но, к несчастью, включает в себя и другое: умение благоразумно промолчать и благоразумно поддакнуть, поинтересоваться здоровьем одного сослуживца и пропустить без внимания другого. Человек «врастает в жизнь».

Дотянули до среднего возраста,
Добре до того рубежа,
За которым артачатся хворости
И к покою взывает душа.

Дотянулись до той полусытости,
Когда голову прячут в кусты
И не столько стараются вырасти,
Сколько крепче.

Надежней.

Врасти,—

констатирует Владимир Корнилов. Констатирует как будто бы с пониманием и сочувствием, но это лишь обманчивый прием, нужный для того, чтобы резко выразить свое несогласие:

Ну, а если душа —
Словно улица,
То смирение —
Не благодать,
Потому что смириться, ссутулиться —
Все равно
Что себя потерять.

☆

«Поэт в России больше, чем поэт». И вместе с гражданской обеспокоенностью, страстностью он передает читателю и частицу собственного душевного тепла, своей веры в жизнь и своего жизнелюбия:

В полярных льдах, в кругу черешен,
И в мирной жизни, и в бою
Утешить тех, кто не утешен,
Зову Поэзию свою.

Это Светлов. Но это нравственная, гражданская программа и всей нашей поэзии. Она близка и тем поэтам, о которых разговор шел в статье, и тем, другим, не названным здесь, чьи голоса звучат сегодня весомо и ответственно.

Новых успехов вам, друзья!

Писателю Филиппу Наседкину присуждена премия Ленинского комсомола в области литературы за повесть «Великие голодранцы» (опубликована в журнале «Юность» №№ 6—8 за 1967 год).

На конкурсе Комитетов по печати при Советах Министров СССР и РСФСР, Союза писателей СССР и РСФСР, Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота на лучшее произведение для детей, проходившем под девизом «Революционные, боевые и трудовые традиции советского народа», получила первую премию повесть писателя Бориса Васильева «А зори здесь тихие» («Юность» № 8 за 1969 год). На этом же конкурсе награждены почетными дипломами писатели Раиса Григорьева за повесть «Крестьянский сын» («Юность», №№ 5—6 за 1969 год) и Александр Рекемчук за повесть «Мальчики» («Юность» №№ 6—7 за 1970 год).

Редакция «Юности» сердечно поздравляет своих дорогих авторов и желает им новых творческих успехов.



Филипп Наседкин.



Борис Васильев.



Раиса Григорьева.



Александр Рекемчук.



«Кем вы ему приходитеесь?» — так назван сборник статей недавно умершей писательницы и журналистки Ф. А. Вигдоровой (изд-во «Советский писатель»). «Кем вы ему приходитеесь?» — это вопрос, который слышит героиня Ф. А. Вигдоровой — учительница Нина Яковлевна Кленникая от людей, удивленных ее горячей заинтересованностью в судьбе вроде бы постороннего для нее подростка. В нравственной атмосфере сборника это равнодушие — нормальная человеческая позиция, и, напротив, «глухота души» — род болезни, поражающей людей подобно пороку сердца или астме.

Многие статьи Ф. Вигдоровой — отклик на беду, перешедшую быть чужой. Любая несправедливость задевала ее, и она ехала в далекое село только потому, что там больным и беспомощным старым людям, сын которых в армии, не выделили соломы для ремонта прохудившейся крыши. Даже «безнадежные», по всей видимости, дела не заставляли ее остыть или отвернуться. «Настоящий журналист не только там, где радостно и легко. Он и там, где трудно, где безвыходно». Ф. Вигдорова жила с ощущением личной ответственности за все, что делалось вокруг нее, поэтому и от своего читателя она требовала того же — быть «в ответе за все плохое и за все хорошее».

Сборник открывает нам характер благородный, но вовсе не мечтательный или прекраснодушный. В нем та доброта, которая осуществляется в делах. Для Ф. Вигдоровой нравственная ценность человека опре-

деляется его готовностью взять на себя все последствия своего поступка, готовность платить за право следовать высоким этическим нормам.

Быть «готовым» — значит не только суметь справиться со своей растерянностью и преодолеть отчаяние. Это значит также уметь задуматься над жизнью и делом. Рассказав одну запутанную человеческую историю, Ф. А. Вигдорова заключает: «Способность думать над своими поступками, думать над своей жизнью — вот достояние, которое оберегало Бориса от злости, от одиночества (он находился в это время в заключении. — А. Л.), от крутых поворотов в новой жизни...» Научить быть счастливым, пишет она в другой статье, нельзя, но можно научить быть человеком, научить мыслить. В каждой статье Ф. А. Вигдоровой есть серьезная проблема, решать которую должны и мы, читатели, каждый для себя, и все вместе — в интересах общества, и никто этого за нас не делает.

«Морализм» Ф. А. Вигдоровой родился из особого интереса писательницы к процессу воспитания и самовоспитания человека и гражданина и равно поэтому обращен к каждому. В ее статьях талантливо выразились время, его дух и его нравственные тенденции, его надежды и его вера, в том числе и то, что многое зависит от самого человека и его доброй воли. Но в них есть и та проповедь мужества и душевной стойкости, которая обещает благородному нравственному пафосу Ф. А. Вигдоровой долгую жизнь.

А. ЛИПЕЛИС

Содержание стихотворений Константина Ваншенкина трудно определить несколькими словами. В его творчестве, конечно, найдутся и такие, в которых основная мысль выражена столь явно, что, формулируя ее, мы исчерпываем тем самым и все содержание произведения. Например, у Ваншенкина немало стихов о войне и армии, но просто военными их не назовешь: многое еще останется нераскрытым. В 1965 году на страницах «Московского комсомольца» сам автор, называя стихотворение «Под взглядом многих скорбных глаз» одним из своих лучших, тут же в скобках оговаривается: «Не только среди стихов о войне, я вообще не разделяю их на «военные» и «гражданские».

К авторской оценке стихотворения добавим, что оно очень характерно для поэта. Ваншенкин пишет об истоках этих стихов: «Среди многих картин войны меня часто задевала такая: одинокий солдат на длинной деревенской улице... Я и сам не раз шел вот так, один, по деревенской улице, чувствуя на себе многие взгляды и стараясь принять бодрый вид... Я шел по длинной деревенской улице к аэродрому, на прыжок, и женщины провожали меня тоскующими глазами.

Неожиданно остро я вспомнил тот далекий вечер и написал стихи — конечно, не о нем, не только о нем, а о всех моих дорогах, длинных деревенских улицах, провожающих женских взглядах — о своей юности».

Объяснение столь же бесыскусно, как и сами стихи. Но за этой обыденной зарисовкой возникают вещи такие пронзи-

тельно волнующие, значительные, связанные с судьбой и переживаниями целой страны, народа, что даже обобщающее пояснение, где отправным пунктом берется вся военная юность поэта, не исчерпывает всего его содержания.

Вспоминается и другое стихотворение Константина Ваншенкина, навеянное военной порой, — «Мы с ней расстались на исходе дня». Оно так же просто. Но столько эмоциональных оттенков в каждой фразе, что не сразу отдаешь себе отчет, почему так взволнован. «Ее судьба забросила от нас в какую-то бригаду хоровую. Я от нее услышал в первый раз: «Война все спешет» — фразу хоровую». И дальше: «Лишь иногда меня — каким я был — представит вдруг, но смутно и без пыла, считая, что и я ее забыл вот так же, как она меня забыла». Поэт не просто рассказывает, вспоминает. Может быть, сейчас он четче осмыслил свои ощущения, грустную взволнованность, связанную с давней встречей. Но не на расстоянии, не со стороны. Для него и теперь главное — чувство, испытанное именно тогда. Война требует полной отдачи, но ведь и там человек живет. И когда на момент выпадает минута тишины, в нем просыпается все, что отступало в сторону перед лицом опасности: и безотчетная тяга к полноте человеческих чувств и отношений, к значительности и взволнованности каждого шага и события. Эта тяга, движущая нами и в мирные дни, беспоконная, зовущая к действию.

Короче, за простотой и естественностью стихотворений Ваншенкина стоит многое. Он верен своей безыскусной манере — будь то размышление о жизни, о женщине,



о своей судьбе, будь то описание природы или воспоминание о войне. Однако дело не только в том, что стремление к вещам простым и обыденным определяет характер, манеру авторского повествования. Ваншенкин именно в силу глубины дарования может себе позволить всякий раз обращаться к обычным предметам и понятиям, никогда не становясь однообразным.

Все сказанное относится к лучшим стихам, помещенным в том избранных произведений поэта (изд-во «Художественная литература»), одно перечисление которых заняло бы здесь много места.

Валентин ПРОТАЛИН

Спокойствием дышит книга молодого грузинского поэта Хути Гагуа «Безмолвие» (изд-во «Сов. писатель»). «Все страсти уже улеглись», — начинается поэт одно из своих стихотворений. Даже вспоминая трагический эпизод из своего детства — «Сорок третий. Июль. Я проснулся, услышав чей-то стук костяной. В это утро отец мой вернулся одиногим», — даже говоря об этом, он не повисит голоса. Кажется, нет в мире такой силы, которая заставила бы Хуту Гагуа выйти из равновесия, сорваться...

Но, вчитываясь в его стихи, осознаешь, что спокойствие это вовсе не подразумевает бесстрастности и умиротворенности. И не случайно стихотворение о детстве и об отце заканчивается строками:

Я гляжу и в зеленом тумане
Сквозь безладницу и забвенье
Вижу, вижу —
на белом Мерани
Скачет хмурое
детство — мое.

Эти внутренне напряженные строки показывают, какие усилия приходится затрачивать поэту, чтобы остаться спокойным.

Хута Гагуа в большинстве своих стихотворений стремится к «согласию с миром». Но всякий раз это не однажды и навсегда обретенное, а постоянно искомое и обретаемое вновь согласие. Недаром поэт отвергает «благодушнейшее смирение» — позицию человека, который, прикрываясь высокой фразой о служении добру, старается не связываться со злом, забыть о том, что зло существует на свете. Это смирение Гагуа отменяет «как недостойную жизнь».

Для того, чтобы констатировать «согласие с миром», поэту приходится испытывать на прочность собственные связи с жизнью. Он, как правило, ощущает их прочными. И его заявление: «Вот небо, вот горы, вот я, связавший все это в одно; они существуют во мне, покуда я сам существую», — достаточно точно выражает его мировоззрение. Глубокое, сильное чувство Родины звучит в первом же стихотворении, открывающем книгу Гагуа, и, пронизывая ее, вырастает в заключительных строках до апофеоза:

Я — раскинувши
руки — стою.
Как молящийся,
мир обнимаю.

И, приветствуя
землю свою,
Эту землю
как дар принимаю!

Именно так: чувство Родины рождает в поэте сопричастность судьбе мира.

Любовь к Родине, приверженность к ее законам и обычаям суть нравственный фундамент поэзии Гагуа. Опираясь на него, поэт ведет свой разговор с читателем, тщательно взвешивая каждое слово. Это слово, талантливо воссозданное для русского читателя поэтом — переводчиком О. Чухонцевым, не сказано всуе. Оно спокойно, веско и емко.

Геннадий КРАСУХИН

Новый роман Лазаря Карелина «Землетрясение» (изд-во «Советский писатель») читаешь с чувством все нарастающей тревоги. Все ближе и ближе октябрьские ночные мгновения 1948 года, когда рухнет Ашхабад, похоронив под своими камнями многих героев книги. «Я уцелел, а друзья мои погибли... Я решил написать о погибших товарищах». Тихий гул приближающейся трагедии — музыкальная тема книги.

А пока знойный южный город, ослепительное солнце, которое сушит тело, влажный звук журчащих арыков, легкая прохлада вечеров. А пока суматошный быт Ашхабадской киностудии, занятой производством одной-единственной художественной картины, в которой есть все, что по тем временам входило в обязательную программу колхозно-музыкальных лирических лент: демобилизованный воин, славная звеньевая, обильный той, скакуны и скачки и неперенная свадьба в финале. А пока сложные переплетения судеб, характеров, индивидуальностей, интернациональное братство людей, вернувшихся с фронта к мирной жизни и любимой работе.

Мы-то знаем, что им предстоит, а они ничего не знают. Мы всматриваемся в их лица, пытаемся угадать судьбы, особенно тех, кто небезразличен нам, кого успели полюбить. Автор прокручивает ленту воспоминаний; снимается кино, мчатся ахалтекинские кони, столы в кадре ломаются от яств, которых не встретишь в честной кинохронике тех полугодных послевоенных лет... Так возникает в ро-

мане мотив правды и фальши, их сосуществования и вражды, мотив, который скоро захватит все участки повествования и станет его главным нервом.

Снимается кино, прокручивается жизнь перед лицом вечности. Что из того, что люди не знают о грядущей октябрьской ночи? Каждая минута прожитой жизни может стать моментом истины или моментом неправды; всем положен предел, и надо помнить об этом, чтобы достойно выполнить свой земной долг. Суэта и корысть, ложь и безнравственность, любовь и самопожертвование философски высветляются в часы народных бедствий. Л. Карелин близко подходит к этой проблематике, но как бы робеет, замирая перед развернутой бездной.

Вот чего иногда не хватает роману — философского дыхания; он беллетристичен, правда, в самом лучшем смысле этого слова. Если и говорим это, то вовсе не с целью приуменьшить значение романа, но с тем, чтобы пожелать большей нравственной глубины следующему роману Карелина. Писатель зорко схватывает характерное в человеческих чертах и жестах, он отлично описал своих героев — директора студии Денисова, надломившегося в духовной борьбе с самим собой, неудачника Володю Птицына, наделенного талантом любви и самопожертвования, начальника сценарного отдела Леонида Галя, в котором угадываются автобиографические черты, — мир карелинского романа жив и осязаем, но недостаточно уплотнен духовно. «Долго никак не мог собраться с духом, чтобы написать эту книгу. Боюсь, что не смогу, не сумею сказать правду о погибших». Правда сказана, хотя и не всегда освещена душевным и социальным опытом автора, который с болью всматривается в полузабытые лица ушедших товарищей и все силы отдает восстановлению жизни. Следующий, высший этап — ее глубокое художественное постижение.

Дарование Карелина вступило в пору зрелости. Позади повести и романы — «Младший советник юстиции», «Общественные», «Путешествие за край солнца», «Золотой лев», «Микрорайон», — принесшие прозаике известность и читательское внимание. «Землетрясение» написано писателем, которому дано решать высокие задачи, доступные искусству слова.

Е. СИДОРОВ



4.681 голос

«На XVI съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи избрано 4 695 делегатов. На съезде присутствуют 4 681 делегат. 14 делегатов отсутствуют по уважительным причинам».

(Из доклада мандатной комиссии).

Это внушительное зрелище — монолит зала о пяти тысячах человек. Это патетическая нота — пять тысяч скандируют в такт: «Ленин с нами!»

Но взгляните в лица — как живы и индивидуальны они! И послушайте спор в перерыве, слово с трибуны. У каждого свой голос. Пожалуй, это и было самым примечательным, самым запоминающимся в работе XVI съезда комсомола: самостоятельный, продуманный, заинтересованный подход к делу.

В своей речи Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев напомнил делегатам требование Ленина не обольщаться успехами, трезво оценивать достигнутое, главное внимание обращать на нерешенные задачи. Съезд, как говорится, принял этот совет к руководству.

После двух дней пленарных заседаний комсомольский форум разделился на секции (в отличие от прежних съездов). Секции тщательно и толково рассмотрели участие молодежи в техническом прогрессе в городе и на селе, успехи и недостатки в политическом просвещении, дела в вузах и школах, проблемы работы культурной и оборонной, запросы физкультуры. Каждая секция представила свои рекомендации, разработанные при участии сотен делегатов и специалистов.

Но и этого мало. По вечерам созывались совещания в министерствах, ведомствах, планирующих организациях. Государственные мужи выслушивали предложения и критические замечания молодых своих коллег. 650 делегатов получили слово. Это впервые тоже.

Есть такой метод в социологии — содержательный анализ. Он позволяет, например, по частоте употребления слов определить направленность информационного процесса. На комсомольском съезде, пожалуй, чаще других звучало слово — **проблема**.

Не подумайте, что под сводами Кремлевского Дворца собралось на этот раз четыре с половиной тысячи угрюмых аналитиков. Звучал смех, не утомлялась песня, была радость молодого общения и новых дружб. А поверх всего — зрелость и ответственность, ничуть не противоречащие юному задору.

Наши корреспонденты побеседовали с группой делегатов. Представляем вам нескольких молодых деловых людей 70-го.

СЧАСТЛИВЧИК ДЕЛЬЯНИДИ

Найти новое месторождение — предел мечты каждого геолога. Кузьма Дельяниди знает старого геолога, которому пора уходить на пенсию, а он этот день откладывает и откладывает и просыпается каждое утро с надеждой, что сегодня ему наконец откроются до сих пор не найденные им месторождения. Увы... А самому Кузьме проблеснуло такое утро. Прикрытый мхом серебристый антимонит сигнализировал: на водоразделе — сурьма.

— Но мне и в голову не приходило, что здесь такая машина, такое мощное месторождение, — рассказыва-

ет делегат съезда геолог Верхне-Индижирской экспедиции Кузьма Дельяниди. — Я лишь в 1965-м приехал в Якутию на преддипломную практику, а сегодня меня принимает наш министр Александр Васильевич Сидоренко, и мы беседуем на равных.

— Ваша история, Кузьма, кажется, подтверждает романтику профессии?

— Геолог, вечно и весело шагающий под звон гитары через тайгу и тундру, — это все сказки. Быть не только суров, но и жесток. Живешь в бараке, отапливаемом «буржуйкой». Экспедиция — работа. Этим и жив.

— Только работа?

— Работа и работа. Плюс осмысление жизни. Это не очень громко? Я вспоминаю своих соседей по комнате общежития. Осетин, русский, поляк, я — грек. До полуночи не спим, говорим о работе, но непременно и о смысле жизни. Или я читаю Достоевского, моего любимого писателя... Шурфы и Карамазовы. Черт его знает: есть здесь связь? Не хочется упрощать, не хочется и на цыпочки приподниматься. Но ведь когда производство, когда «вкалывать» заслонит все остальное, — разве это не проблема цены прогресса? Расплата частью своей человечности, целостности за продвижение вперед? И вообще: продвижение ли вперед? Такая философия... Но мы еще, к счастью, люди земные и настырные. Комсомольцы спорят с руководством, требуют большего комфорта, большей заботы о духовном росте. Книжки, радио, пластинки, фильмы, чистота. Высокое складывается из насыщения элементарным. Плюс самим не опускаться. Комсомольцы прииска Маршаловский недавно решили: ни одного пьяного на прииске.

Так он думает, счастливчик Кузьма Дельяниди, твердо уверенный, что еще до кандидатской защиты ему доведется открыть новое месторождение.

СЯБРЫ

Мы обрадовались, найдя в списках делегатов строчку: «Председатель колхоза, 25 лет». Гонялись за этим председателем, наверняка самым молодым в стране. Но удача, как говорят, одна не ходит. В двухместном 238-м номере гостиницы «Россия» нас встретили сябры (по-белорусски «соседи»): председатель брестского колхоза «Заря» Леонид Ковалев и председатель гродненского колхоза «Звезда» Петр Шавалда.

— Репортеры не деликатны, но давайте разберемся: кто же самый молодой руководитель артели в стране? **ЛЕОНИД**. Мне двадцать пять. Председательствую год.

ПЕТР. Мне двадцать семь. Командую третий.

— Как вы смотрите на проблему «закрепления»?

— А как вы, — вопросом на вопрос, — смотрите на разницу в 35 километров?

— Что же, час езды от силы. Чистая арифметика.

— Сложнейшая экономика, — возражает Петр, и

вся дальнейшая беседа протекает по раздельным руслам.

Мы немало бьемся в последние годы над поисками лучших вариантов закрепления молодежи в деревне. Ищем одного тотального ответа: клуб или безнарядное звено, пропаганда традиций землепашества или сруб молодоженам.

И вот 35 километров. Расшифруем:

ЛЕОНИД. Наш колхоз — в 47 километрах от Барановичей. В хозяйстве 350 молодых людей, 87 человек в комсомольской организации. Можем поделить с городом и не очень пострадаем: двадцать пять классных механизаторов держим в запасе.

ПЕТР. А «Звезда» в 12 километрах от Волковыска. Поясняю: цементный завод, завод металлоизделий, молочноконсервный комбинат плюс уйма строек. Восьмичасовой и два выходных. Село простреливается прямой автострадой. В колхозе десятка три молодых, и ни с одним не можем расстаться. Другое дело, что расстаться хотят они...

35 километров. Ковалев дальше от города на 35 километров. И... два разных ответа, две разные заботы.

— А я бы и не стал искать универсальной отмычки, — продолжает Шавалда. — Мне кажется, что деревня и обязана кормить всю остальную цивилизацию в пропорции 1:20. Так что отдавать молодые силы заводам, стройкам, лабораториям — процесс нормальный. Лишь бы не упрощать. Дело не только в сокращении жителей на селе. Я — «за». При сокращении интенсифицируется труд, нагляднее и мощнее технический прогресс, больше благ на душу. Но нельзя, чтобы сокращение обернулось постарением. Гвоздь теперь в том, чтобы юноша, выбравший сельский труд, не чувствовал бы себя ни в чем обделенным.

— Нам легче, — улыбается Ковалев. — Благоприятствует буквально все. Точный курс на специализацию (собираюсь строить тепличный комбинат), доходы. И неповторимый край, места, от которых сердцем не отпнешь. На озере Гать строят пансионат для туристов, ждем и иностранных. Чем не фактор? Если уж из-за тридцати земель едут надышаться твоей родиной, то я-то чего буду искать за тридцатью землями?

— Значит, ты, Леонид, спокоен?

— Я ж и говорю: можем поделиться с городом. Но не очень хотят сельчане. Мы свели хутора в агрогород, благоустроили его (газ, водопровод, больница, десятилетка, клуб), и сейчас последние хуторские могикане просят в центр. Есть четкая перспектива в хозяйстве. Специализировать его дальше (хотим свой завод по переработке ставить) — и новые руки понадобятся. Где-то, мне думается, в отдалении такой труд уже будет подобен городскому. Но что же благоденствовать: и мы соревнуемся, и мы не можем расслабиться. Хочу, чтобы и впредь «Заря» была самым молодым и певучим колхозом.

Такие разные заботы у белорусских сябров, молодых председателей. Заметим кстати, что и их возраст имеет прямое отношение к проблеме: двадцатипятилетнему ли не понять запросов сверстника? А еще — и тоже кстати — хорошо, что Ковалев и Шавалда даже не первые ласточки в Белоруссии. Тамшний комсомол всерьез выдвигает к руководству селом десятки молодых специалистов и крепко поддержан в этом партийными, государственными органами.

ТОБОЛЬСК. ДАЛЕЕ — ВЕЗДЕ

Самая героическая, самая мужественная стройка сейчас — железная дорога от Тюмени до Сургута. А представляла эту стройку на съезде девушка. Двадцатилетняя рабочая «ГОРЕМ-38» (головной ремонтно-восстановительный поезд) Таня Новак.

— Живем мы в Тобольске, — рассказывает она. — Впрочем, столько же живем и на колесах. Вот, правда, никогда не думала, что можно привязаться... к поезду. Но наш «ГОРЕМ-38» — поезд особый. С военной биографией — Вязьма, Смоленск, Брест, Боровичи.

— Романтический, словом, поезд?

— Конечно! Нас тоже бросают на прорывы: участки в Тюменской и Кемеровской областях, в окрестностях Тобольска, на труднейший перегон Горно-Слинкино. Бригада молодежная, безотказная, не чураемся никакой работы.

— К примеру?

— Сплошные примеры. Плотницкие работы. Кирпич кладем. Траншеи роим. Беремся за ломы. По основному же назначению — маляры, штукатуры, шпаклевщики.

Много сделали Танины и ее друзей руки. Дома в Тобольске (в том числе их гордость и дом — общежитие строителей в 5 этажей). Станционные сооружения, километры полотна. Тобольск. Далее — везде. Безусловна, бесспорна романтика этой перемены мест, перемены труда, молодой отзывчивости на каждое нужное дело. Но, кажется, Таня смотрит и здесь чуть глубже того, что представляется нам.

— На стройке приучаешься строже относиться к своим представлениям. Вот, скажем, то, что мы — на все руки. Оправданно ли это? Конечно. В неосвоенном районе не потребуешь сразу всего, не определишь каждого к одному четкому месту. Но издержки разбросанности тоже очевидны. Мешают они нам стать мастерами дела, рекордсменами в деле! Очень здорово, что на съезде так твердо потребовали от планирующих органов: больше внимания Тюменскому богатейшему району. Несправедливо это, что насыщенность новой техникой, орудиями, облегчающими труд, здесь меньше, чем в местах обжитых. Мы хотим не столько глыбы ворочать, сколько ворочать мозгами...

Нет, не ошиблась самая мужественная трасса, поставив в Москву полпредом девушку!

☆

Итак, проблемы. Горячие обсуждения, разговор на равных на самых высоких уровнях. Требования. Но как ошиблись бы мы, приняв нынешний деловой тон съезда односторонне: требуют, просят, ставят счет! Комсомольцы начинают этот счет с себя. А потому в заключение несколько слов об их личных планах.

КУЗЬМА ДЕЛЬЯНИДИ. Мне уже предлагали должность начальника участка. Но я сказал, что не имею права быть руководителем. Надо сначала все руками пощупать, стать настоящим специалистом. И, кроме того, сформироваться как личность. Больше всего я ценю в человеке доброту. В селе Греческом живет мой дядя. Он никогда не занимал высоких должностей, но он добрый и справедливый человек и готов бескорыстно помочь каждому. Я хотел бы стать таким человеком.

ТАНЯ НОВАК. Сейчас учусь заочно на мастера-нормировщика. Потом думаю поступить в строительный институт.

ЛЕОНИД КОВАЛЕВ. Заочник сельскохозяйственного института. Техникума моего мало по масштабам задуманного.

ПЕТР ШАВАЛДА. Удивляет меня журналистское удивление. В двадцать семь — председатель с высшим образованием? Норма. Удивительно, что еще не норма — председатель ранга кандидата наук. Думаю, дело идет к тому.



Юрий Скоп



Место рождения

Из цикла «Открытки с тропы»

Рисунки А. Шульца.

Вероятно, это еще надо уметь — соскучиваться... Внезапно затосковать полудремым видением дальних проселков, случайных и необязательных по первому взгляду разговоров с незнакомыми людьми, от которых останется после неизбывная грустная зависть: почему это они знают такое, чего не знаешь ты, а когда накатит предел такого соскучивания — разом срываться и переносить себя туда, где однажды откроется то самое...

В избе со страшной силой тукали часы, кедровая гирька выбрала цепь почти до самого пола. Смутно вспоминалась утренняя выпечка. Бабка Лиза ушла куда-то по своим заботам, и в который раз за эту поездку было странно ощущать себя здесь, в незнакомом, в общем-то, и все же сродственном по дальней-предальной связи уюте.

Старый дом порядком поизносился снаружи, но хранил внутри и чистоту и ухоженность. Тут уж ничего не скажешь: бабка Лиза — аккуратистка. Конечно, не в ее уже силах подновить развалюхи-пристройки во дворе: стайка сгнила, повесть по ночам ловит звезды, крапивы повставали выше поленниц, и уборная на огородных задах бессовестно распахну-

косит сейчас на темное стекло, за которым перестукиваются дождевые капли и ветки пожилой акации шевелятся, отстраняя от себя неясные тени.

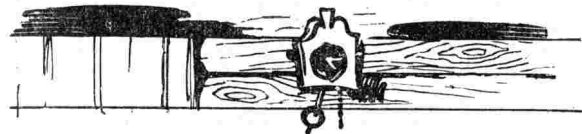
Уже осень, и, наверное, как у всех, кто много и подолгу бродяжит, запаздывая под собственную крышу, приходит внутрь неизъяснимая шемота. Это и вроде беспокойства и тихой печали вроде. Возможно, сказывается близкий осенний подступ, извечная разлука с чем-то только-только встреченным и узнанным, неизвестность завтрашнего дня дороги и еще чего-нибудь...

У Бунина — я принес его томик из сельской библиотеки, с большими трудами выпросив у Кости, местного книгохранителя («...знаю я вас... приезжих...»), — отыскалось хорошее место, точно совпавшее сейчас с внутренним сиюминутным настроением: «...теперь у меня было еще одно тайное страдание, еще одна горькая «неосуществимость». Я опять стал кое-что писать, — теперь больше в прозе, — и спать стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал: что-то то, чего не мог. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье — и какой душевный труд! И вот моя жизнь стала все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с «неосуществимостью», в поиски и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья, в преследование его, в непрестанное думанье о нем».

Дождик стучит и стучит по деревне, включая разные скорости, неизбежно портит дороги, и я знаю, что завтра исполнится с преимуществом сизого цвета — сизый рассвет, сизая земля, сизое небо, а на осклизлых, набрякших полях примокнут машины, и в совхозной конторе сделается тоже сизо от табака: деревня горьковато вздохнет — ведь страда, а тут этот... Дождик, а завтра — совсем недалекое от этого следующее завтра, и надо будет держать ответ за целый год, потому как урожай — всему делу венец, а тут хоть убейся, но встала, затормозясь, суетная пора уборки.

Завтра... Завтра...

Обыденное и почти неприметное слово «завтра».



лась на три стороны. Дедушка помер лет шесть назад, так и не собравшись перебраться крыльцо, дети разбежались кто куда, вот и живет бабка Лиза одна — в одну свою старушечью силу.

На деревянной божничке в правом углу за буйным кружеватым цветком в крашеной кадке — бабка Лиза называет цветок этот «парижеска зелень» — очертели от времени две иконки. Одну я разгадал — Иоанн Креститель. Кто на другой, не упомянула и сама старуха. Креститель заметно и недоверчиво

Мы порой не задумываемся над беспредельным смыслом, который таит оно в себе, а «завтра» — это и обязанность, и обязательность, и вера, и надежда, и предостережение непременно...

С год уж как тому — да нет, почитай, поболее — произошел на моих глазах один интересный разговор, а так как и я был его непосредственным участником, то припомнился он сейчас вовсе даже и не случайно.

Колька Буранов, деревенский кузнец, мылся с работы, хлюпался и отчаянно гремел умывальным соком. Захарыч, пенсионер-учитель и странный друг Кольки, терпеливо ожидал его на приступке и курил. Потом кто-то саданул калиткой, и в избе показались Матвей Иванович, колхозный председатель.

— Колька!

— А-а?

— Не вышел у нас разговор давеча...

— Давай продолжим, — улыбнулся Колька.

— Вот я и хочу спросить у вас... Куда пританцует деревня через двадцать лет?

В избе стало многозначительно тихо. Колька поглядел на Захарыча.

— Ты не смейся, Захарыч, — очень даже серьезно заметил председатель. — Ты интеллигентия. А мы мужики с ним, крестьяне. Нам и думать про это.

— Я не улыбаюсь...

— Вот я и хочу спросить у них: как они собираются дальше-то жить? Одни в город уедут, другие на врачей, учителей выучатся!..

— Да это же прекрасно, — сказал Захарыч.

Председатель недовольно стрельнул в его сторону глазами.

— Ну, а кто же землю обрабатывать будет? Кто же крестьянствовать-то будет? Если они вот такие теперь? — Он подернул подбородком на Кольку.

— Какие? — спросил Захарыч, а Колька, прихватив с дверной планки неостывшую папироску, с нагловато-дурацкой ухмылкой прошествовал мимо философа наверх, где у него была столлярная мастерская. — Не хозяева! У него вон, лоботряса, дом заваливается, а он палец о палец не ударит... А я помню, как его отец этот самый дом рубил! Один! Зато и хозяин был.

Захарыч помолчал, подумал и вдруг заговорил привычно-неспешным учительским тоном:

— Не беспокойся, Матвей Иванович. Накормить себя человек никогда не забудет. Вот если бы он не забыл еще хорошую песню спеть, сказку рассказать, черта с рогами выдумать... Вот если бы он не забыл!.. — Захарыч вскинул оседлую голову, что-то далеко-далеко углядев перед собой. И Колька тоже победоносно поглядел на председателя, мотнув лобастой башкой: мол, вот так-то вот...

Матвей прихлопнул себя кепкой и, сказав «Все ясно» (мол, оба... «того» — чокнулись!), быстро покинул избу, только половицы охнули.

Кто кого не понял, и кто был в чем прав — еще стоило разобратся...

Что-то о себе знаешь всегда, но не всегда задумываешься, что есть и такое, чего о себе не знаешь совсем. Вот и не уверен — станет ли различима связь между тем, что вложил в предыдущую фразу, и тем, неожиданно прочно запрятанным в память тихим, ночным шепотом.

Был у меня такой случай, давно: на одной из строек наших сибирских, Тайшет—Абакане, во время командировки прихватила болезнь, и пришлось полежать в таежной больничке. И все было как обычно: стройка за окнами с ее шумами, и в палате разные люди: обгоревший бульдозерист, бухгалтер, страдающий почками, плотник-парнишка, оттяпавший себе

что-то на ноге, монтажник, отравившийся грибами... Впрочем, не в этом дело. Ночью, после всех дневных забот, проснулся я от быстрого полусонного, а вскорости различил, кому он принадлежит — медсестре, и не молодой и не пожилой женщине:

— ...ну, а зачем же я в эту Сибирь-то кинулась, а? Из деревни-то своей, а? Осломя голову. Со Шикотана на Иркутской лэпе. В Братске в передовых значилась — все думала, как бы это, значит, поприметнее стать. Чтобы кто увидал на доске и побежал за тобой... Дурная насквозь! И не в сознательных ходила, это чтобы через обратное интерес на себя вы-



звать... Теперь вон где — в тайге! При болящих кантуясь. А может, у меня самой что-то болит? Может, одна сила-то в языке и осталась, а из других мест повышла?.. А все же чудится — будет что-то такое, ну — это... Может, завтра, а?..

Может, и завтра... Скрывать нечего — живем суетливо. Много передвигаемся по земле. Еще больше толкуем, не слыша друг друга, незаметно черствуем от односложности впечатлений — и чего уж греха таить — постепенно становимся равнодушными. Изредка внешние раздражители заставляют нас осознавать это, и тогда, преисполненные желанием быть лучше, мы оживляем в себе способность на правильные призывы к добру, святости, искренности, неравнодушию, ощущению величия минуты, торжественности отношений между собой и природой. Это прекрасно, потому как не безнадежно.

Человек что река, — обязательно имеет и исток и устье. По той же Лене полно деревень, где жители их, отдавая себя тайге, реке, пашне, так и не видели ни разу того простора, в котором под прохладным ледовитым небом перестает Лена быть Леной, а делается морем-океаном. И ничего. Живут, работают, ребятишек рожают, из которых после получают отменные штурманы, таежные искатели, докеры и так далее.

Для них их деревня-исток стала устьем. И, значит, хорошо, если не ошибся на самом выходе — устье-то так или иначе обозначится. Хотя опять же, с другой стороны, грустно. Уходит на низ река, как в кино кажется белые пароходы, гудки прощальные застревают в душе: что-то есть и другое вон там, за теми створными огнями, ну да ладно — кому пароходы с музыкой, а кому и вот этого хватит: родимой деревни, дома отчего, над которым сейчас гнет по-кошачьи спину пушистый дым...

Моя деревня «протанцевала» без меня вот уже тридцать один годок. Как это так случилось? Плечи бы пожал и сказал бы все этим — «случилось...» А ведь столько проносил по разным карманам паспорт, в котором есть над одной такой особой линейкой вроде бы как совсем не приметные слова — «место рождения»; проносил до Христова возраста, а после вчитался и осознал, будто открыл наново, суть их — «место рождения»... Хорошо-то как, а! Правда?

Место рождения... По мне сейчас припаяй эти два слова на белый лист посерединке, и — пожалуйста — возможен роман, повесть, а может, и симфония целая...

Нет, совсем не дурак был тот, самый изначальный, что решил обметить каждого из нас местом, где после последнего, может, самого больного, вскрика при-

молкла в тихом-претихом счастье мать, а чуть попозже и ты заявил о себе миру первым, всегда, наверное, неожиданным и недоуменным голосом.

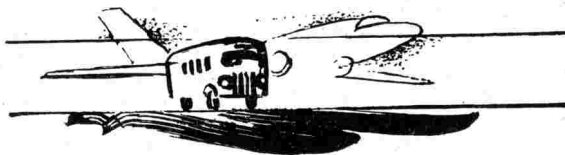
Вам, наверное, приходилось такое: в близкую осень возвращаться с полей?..

Встречная деревня клонится ко сну, медленно закрывая глазастые окошки, пыль, смоченная росой, почти не встает, а сразу за околицей начинают прохладу пространства, полные предчувствия зимы. Наносит тяжеловатым духом недавней вспашки, луна закраснелась над перелеском от натужного подъема самой себя, ухабистость грейдера не дает подолгу сосредоточиваться на чем-нибудь одном, и — неожиданно подступает грусть...

По какой-то старинной, очень въедливой привычке я развинул это слово «грусть» и очень даже удивился — всю его основную боль, оказывается, занимает другое слово. Нет, правда, только уберу две буквы «г» и «т», и из грусти прорисуетесь удивительное иное. Разное лезет в голову на сибирской земле, особенно в осень, пору войны моментальных красок и мира устоявшихся чувств.

В общем-то все начинается с раздумий о себе: какой ты — плохой или хороший, правильный или неправильный?.. В тридцать три года независимо от себя нет-нет да и заслышишь внутри странное желание, ну, пофилософствовать, что ли... И чаще остаешься наедине с собой...

Лично я человек города. Его продукт. И не моя в том вина, что тридцать один год тому назад выхватила меня судьба из деревни и предложила довольно испытанную дорогу: школа, университет, самостановление, профессиональная пристань. Только тем не менее и я ощущал неудобство положения, долго



не понимая при этом, в чем дело. Жил в городе, а тянулся к охотничьим становьям, речным деревушкам, кордонам. Пытался сочинять о людях города, но в подсознании шевелились образы из глубинной Сибири: городские люди теряли под пером плоть и характерность.

Я знаю, многие из моих знакомых не очень-то уж любят выставлять сегодня на всеобщее обозрение свое деревенское прошлое. Почему-то стесняются... Мне это как-то непонятно. Зато и уважаешь особо таких, что выросли в деревне и хотя и живут теперь, допустим, в столицах, но всеми своими корнями там, в своем первостепенном истоке. Нисколько не сомневаюсь, что таким же истоком для кого другого может быть и город.

Видимо, нет ничего дороже на свете, чем безмолвная связь со своей малой родиной. Бежать от нее в отречение при полном здравии — сумасшествие. Ну, а если сегодня многие деревенские люди, особенно молодежь, берут в кассах билеты только в один конец — город, то и этому при желании можно подыскать объяснение.

В городе нынче много говорят о деревне. Тут тебе и газетная категоричность и журнальные сшибки — стенка на стенку. В городе расщепили писательскую среду, как слюду, на «деревенщиков» и прочих. Черт те что! Может, по-мальчишески, но спрошу: почему же это литераторов отгремевшего века не

делают современные классификаторы по принадлежности? Скажем, ага — Тургенев или там Бунин, факт, — деревенская проза, а вот этот — Куприн или еще кто-нибудь — о рабочем классе...

В бытность еще газетную запомнился мне один такой заводилом писем.

Корреспонденция приходила в редакцию основательная, и читать приходилось писем от трудящихся много, а ему это надоело, а может, он и устал от того занятия. В общем, обрежет наш зав конверт, кинет в депешу набитым глазом, зацепится за приметное слово, к примеру, «стадо овец» и отправляет это послание в сельхозотдел редакции, а то остановит его сознание слово «станок» — значит, в промышленный отдел. После на неделю потехи: дело в том, что он всегда не дочитывал, и где было про «стадо овец» — полностью было: «дым полз, как стадо овец», а где про «станок» было, там про станок дляковки лошадей жаловались — изломался...

А сейчас, пожалуйста, поверьте автору на слово, можно, конечно, если понадобится, и свидетелей представить. В общем, не литературно-сюжетный фант пускается сейчас в ход, а действительно с полчасика назад в дверь моей комнаты (пишу эти строки в Москве, в семизэтажке на Бутырском хуторе) постучали и бодренько крикнули:

— Старик, тебе внизу письмо!

Очерк оборвался, и я пошел вниз.

Конверт прилетел из Сибири, обратный адрес был помечен селом Хомутово — оно под боком у Иркутска. А в конверте всего один лист, вырванный из школьной тетради. На нем текст: «Здравствуйте! Сообщаю вам адрес, который, наверное, поможет в поисках (идет адрес: ...обл., ...р-н, ...пос., ...ул., ...дом). Б. Антонина Федоровна. Она 1914 года рождения. В 1939—1940 годах работала лаборантом по черному покрытию дороги на битумной базе в с. Оёк, Иркутского р-на, Иркутской области, проживая там со своим мужем...»

Вот в этом месте, где называлась фамилия человека, который был когда-то моим отцом, остренько так прихватило слева, где эта самая штука, и не враз отпустило: «...от нее вы должны узнать больше. Желаю вам удачи». Число. Подпись...

Тридцать один годок «протанцевала» без меня моя деревня. И как это случилось, предстояло узнать вправду...

В паспорте, над той особой линейкой, где стоят прекрасные слова «место рождения», это записано так: село Манзурка, Качугского района, Иркутской области. А по жизни это примерно шесть часов Якутским трактом в набитом до отказа и кособокато завалившемся на правый бок автобусе на северовосток.

За шесть часов «ТУ-104» кроет пространство до столицы, здесь же, выдвинувшись из иркутских предместий, полдневный маршрут, кряхтя и выставляя километры, под вечер доползает до Манзурки — села трактового и долинного.

Останавливается он на самом оживленном деревенском пятаке — тракт в этом месте делает овал, не заканчивая его, — и перед тобой сельмаг, столовая, ходовой ларек, где торгуют по мелочи, а напротив клуб, на двери которого большой лоскут афиши, интригующий словами вроде бы и знакомыми, а с другой стороны и не очень:

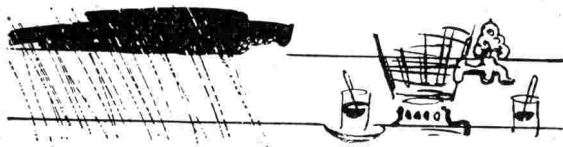
«ГИПЕРБОЛАНД ИНЖИННЕРА ГАРИНА»

В конторе совхоза мне присоветовали остановиться у бабки Лизы — Елизаветы Тимофеевны Рыковой, что

живет в одночасье по крайней в деревне улочке — Суханова, 2.

Пошел. Пришел. Очень даже хорошо познакомился с хозяйшкой, а еще через полчаса и узнал о себе то, о чем никогда и не задумывался...

Бабка Лиза сидела возле печи строгая и серьезная. Черный платочек, на котором давно отгорели фабричные цветы, ладно обтянул сухонькую голову. Руки



свои в старческих родимых пятнах держала она на коленях, крытых грубой тканью юбки, щуря глаза без ресничек совсем смотрели куда-то в сторону:

— Как же, помню... Почему же не помнить... Я им еще молоко носила, яички. Ты же был тогда во-о-от такенький! Беленький, беленький! Ну, как этот... А хочешь, пойдем к Соне? Она же тебя нянчила. Она-та лучше чего знает. А мамку твою я тоже помню — все в полushалке, вот так-от подвязанном — стоит в воротах... Идем к Соне...

Может быть, в рассказе или там повести, жанрах немисливых без точного и в то же время вольного художествования, и возможно восстановить тревожную обеспокоенность первых взглядов, то есть ту приглядку встречающихся людей, которые прошагали через большие годы отдельно друг от друга, и им еще ничего не известно — кто это стоит перед кем, но только навсегда запоминается стремительное движение глаз — люди секундно переносят себя в глубинное себя, а затем уж и идет пора эмоций, междометий и так далее...

Все было позабыто в тот вечер в доме Соломонины Михайловны Якобсон, простой сибирячки, и хоть говорилось много, а суть услышанного легко вгоняется в несколько строк: ...было нас у деревенского дормастера трое: Олег, я и Лева. Все погодки. Когда объявился на свет я, Олегу исполнилось одиннадцать месяцев. После родов самого младшего мама, по рассказу няньки, статная женщина со светло-русскими вьющимися волосами, вскорости умерла. Вернувшись из больницы, она неосторожно раскрыла окна в доме — ее и прохватило сквозняком.

— А может, у нее и послед оставался... Тогда ведь лечили, сам знаешь... Отвезли в Качуг. Там и схоронили, — заканчивал Сонин голос. — ...Осталось вас у отца трое. Да и я какая-токая нянька? Мне же и пятнадцать тогда не было. Левушку уронили... и — все... Тебя отдали «в дети»... После отец взял другую и увез Олега. А уж куда, не знаю... Ты-то больно на мать походил. Вот тебя отец-то и отдал... Может, не хотел припоминаний... — Соня глубоко-глубоко вздохнула, подменив этим что-то еще недосказанное...

Чуть позднее, уже в Качуге, ходил на местное кладбище, пытаюсь отыскать материну могилку. Дни стояли пасмурно-мглистые — где-то на низу горела тайга. Солнце лежало вялое и воспаленное, не могущее пробиться к земле напрямую — мешала серая гаревая плоть. Рядом с кладбищем, оно на довольно высоком кургане, — аэродром. И сразу же за последней оградкой какой-то Лукерьи Красновой, почившей еще в пятидесятых, — взлетная полоса. Редкие самолеты сваливались от хребта косо вниз и слезно отблескивали в олове дня...

«Что же такое? — думалось и тогда и сегодня — Что же заставляет людей уходить в собственную историю? Почему возникает на определенном этапе неумолимое желание знать: чей ты родом, откуда ты?»

Не сейчас и не завтра, но когда-нибудь я попытаюсь или смогу ответить. Возрастное удаление от тех мест, где возник, и есть, наверное, лучшее приближение к ним...

А в деревне ночь... И как тревожен и необходим ей в этом полуночье одинокий и обязательный голос собаки. По тракту на север прошумливают редкие бензовозы, и трассирующие угольки задних сигналов вычерчивают вместе с дорогой профиль деревни.

Она очень лобаста, моя Манзурка... И именно в ней, деревне обыкновенной, каких сколько угодно по всей-то Восточной Сибири, я, может быть, впервые подошел к осознанию, какое это великое чувство — желание до конца понять людей, живущих здесь, в которых природная рассудительность и смекалка восполняют определенную культурную отсталость, а повышенное стремление к правде и справедливости создавали и создают благодатнейшую почву для достижения самых лучших человеческих идеалов.

В деревне нынче тоже много думают о городе. Вполне понятно: тридцать процентов всего населения Иркутской области и сорок всей Восточной Сибири — крестьяне. Под их началом ни много ни мало, а 23 885 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. А это и пашни, и сенокосы, и пастбища. Трудная земля моей родины кормит 4 824 тысячи человек, прописанных в сибирских городах. Деревня ежегодно поставляет городам рабочую силу, и преимущественно молодую. Вот здесь-то почти сразу и наталкиваешься на довольно шумную проблему — чрезмерного оттока сельского населения в города.

В той же Манзурке и других деревнях Верхне-Ленского района средний возраст сельскохозяйственного производителя уже вплотную подошел к настояраживающему индексу — 47—50 лет. Уезжает молодежь из деревни, и причем это сделалось настолько обычным явлением, что по селам позабыли и про расставание петь...

Молчат гармонисты — и свыкла, выходит, деревня... И смирилась... Почему?



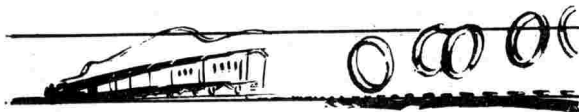
Давайте заузим рассмотрение до одного крестьянского района Иркутской области — Качугского. Манзурка — именно здесь. А перед тем как перейти к разным конкретностям, позвольте оговориться: автор абсолютно не претендует на всепроникающий экономический анализ. Нет. Последняя поездка предложила некоторые лишь наблюдения, потому и последующие размышления связаны только с ними.

Но для начала попытайтесь представить себе, где те места, о которых и пойдет сейчас речь...

В Качуге довелось услышать, что площади их района вполне достаточно для размещения на ней целой Албании и что еще лишку останется, а лишек этот — в четыре тысячи квадратных километров. Входит район в группу Верхне-Ленских, расположенных в юго-восточной части Иркутской области. На се-

вере качугские границы смыкаются с самым северным районом — Казачинско-Ленским, на севере и северо-западе — с Жигаловским. С южной и юго-восточной части подпирает его Ольхонский район, место проживания байкальских ветров, и так далее.

В центре района — Качуг — 257 километров по Якутскому тракту от ближайшей железной дороги.



Навылет шьет весь район великая сибирская река Лена, не имеющая, правда, здесь регулярного судоходства. Только в большую воду весеннего полоновья торопливо уходят из Качуга отстроенные на местной верфи различного рода речные посудины.

Отрыв от железной дороги сам по себе «узок» затруднения, связанные с доставкой грузов, товаров, строительных материалов. Отсюда и заметно сниженный темп строительства жилья, производственных помещений. Отсюда и резко удлиняющийся ремонт школ, больниц, детских учреждений, а увеличенные транспортные расходы сильно удорожают жизнь местного населения.

Честное слово, но именно до этой поездки я, коренной уроженец Иркутии, почему-то считал, что Качугский район относится к северным, труднодоступным районам в смысле наличия здесь доплаты жителям северных коэффициентов. То-то и оно — нет. То есть как нет? А вот так. В Качугском райисполкоме мне рассказали, что район действительно приравнен к отдаленным, горным районам, но лишь в смысле установок дополнительных, так называемых автогужевых надбавок на промышленные, продовольственные товары, мебель и стройматериалы (именно для покрытия транспортных расходов).

Не знаю, всем ли это интересно, но расскажу подробнее — сам ход и важность разговора требуют. В торговых организациях района мне пояснили, что к первой категории, согласно специальной расчетной таблице, относятся: ткани, обувь, швейные изделия, трикотаж и пр. Автогужевая надбавка — 2,25 процента. Ко второй группе — все виды продовольственных товаров. Надбавка — 6 процентов.

К третьей причислены: мыло хозяйственное, рыботоровы и рыбные консервы. Надбавка, взимаемая с населения, — 9 процентов. За стекло же оконное, цемент и прочие стройматериалы жители района выплачивают государству 30 процентов надбавки. Ну, а если уж очень интересно, то на вино и ликероводочные изделия наброшено по 60 копеек за литр.

Таким образом, население выплачивает автогужевых накидок (черт возьми, да не возят сюда лошадьми-то уже!) только за 1967 год 550 тысяч рублей. В то же самое время — вот это место особо подчеркиваю, — район северными льготами не пользуется, и у большинства местных рабочих и служащих нет поясного коэффициента.

Э-эх! Сколько раз обращался местный исполком районного Совета депутатов трудящихся с просьбами в вышестоящие инстанции о желательной отмене автогужевых накидок... И ведь аргументировал это фактами, на наш взгляд, чрезвычайной важности: в районе катастрофически уменьшается население! Не задерживаются молодежь и специалисты!

В директивах по пятилетнему плану XXIII съезда партии указал на необходимость «ввести коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих предприятий и организаций, расположенных в районах Дальнего Востока, Сибири и Европейского Севера, для которых в настоящее время эти коэффициенты не установлены. Расширить льготы для работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях».

Чтобы жить в Качугском районе, ей-богу, необходима определенная и духовная и физическая закладка. Нет, не балует здесь моих сибиряков климат. Он тут на пределе — резко континентален. От наиболее теплых мест области район отделили гольцовые цепи. Сказывается и крупная холмистость и высота над уровнем моря — от 800 до 1100 метров. В зиму хозяйничают здесь местные антициклоны, которые в совокупности с Сибирским, еще более выхолаживают пространства, образуя в понижениях «склады» застойного воздуха-ледника.

Качугская метеостанция «берет» погоду с 1911 года и давно уже подтвердила принадлежность района к северным. А как же иначе? Вот вам малая толика данных — и судите сами:

морозы живут в районе, начиная с 28 октября, и только-только стираются к 27 марта; то есть 151 день в году;

продолжительность отопительного сезона — 250 — 255 дней;

коэффициент жесткости погоды — 2,0;

зимние осадки скудны, и грунт промерзает глубоко (средняя величина 199 см);

максимальная мощность снегового покрова — 39 см.

А с конца марта начинаются ветры, оголяющие и без того изыбшую землю...

Трудненько, и даже очень, приходится качугскому земледельцу: почвы, в основном дерново-карбонатные, остро нуждающиеся в органических и минеральных удобрениях. К тому же, как назло, наибольшее количество осадков «небесная канцелярия» отпускает именно на те месяцы — июнь, июль, август, — когда выспевают поля и самое время приступать к заготовкам зерна и кормовых.

Одним словом, за все приходится здесь платить: потом за отвоженные у тайги пашни, «длинным рублем» за каждую цистерну аммиачной воды. Ее, кстати, привозят сюда из Ангарска, покупая там по 16 рублей за тонну. Но впереди-то даль — три, а то и более сотни верст до родимых мест, и на финише та же тонна обходится качугцам в 46 рублей 80 копеек.

Пожалуйста, не скучнейте от обилия приводимых цифр, пересильте себя и поймете: не ради гольной фактуры сообщаются они. И не надо быть в данном случае экономистом, чтобы почувствовать некую алогичность: район переплачивает за все — к слову пришлось — на каждой тысяче штук кирпича 63 рубля, а свой трудный хлеб и прочую сельхозпродукцию продает государству по твердым закупочным ценам, одинаковым и для тех районов, где тонна аммиака стоит 16 рублей.

Может быть, и от этого, но вплоть до 1965 года план продажи хлеба мои сибиряки не выполняли.

Ну, а теперь самое больное. Я изрядно изъездил район своего рождения и вполне бы смог сейчас строить литературную композицию очерка, используя параллельный монтаж: поиск себя и знакомство с деревней. Не хочу! Дело есть дело.

За два последних года из района выбыла десятая часть населения. А всего проживают здесь около

29 тысяч. Позволим себе фигурально разрезать эту цифру. Около шести тысяч пенсионеров. Более восьми — учащихся. Рабочих и служащих только-только переваливает за десять тысяч.

Развернем ракурс на молодежь. И сразу конкретность: в 1965—1966 годах в районе закончилось десяти-одиннадцатые классы 435 парней и девочек. В город уехало около 300. Остальные якобы осели в районе. Но... из них работают только 67 человек. Почему?

А потому, что низка заработная плата — первое. Слаба культурная освоенность — второе. И третье — чрезвычайно сказывается большая удаленность района от областного центра. Да, как ни странно, а триста километров от Иркутска плюс отсутствие телевидения превращают эти триста верст в дальнюю даль. Понимаете?..

В городе врач со стажем работы до пяти лет получает 90 рублей; в селе, где 250 дней в году нужно топить печь и не получать никаких северных льгот, — 100.

Вот и результаты: в 1964—1965—1966 годах Качуг «посетили» 15 молодых врачей, а спустя некоторое время убыло 14. Средних медицинских работников «приобрели» было 52 единицы, а покинуло из них район, и причем навсегда, 41.

Еще факты. В Качуге имеется судовой верфь. Средний заработок рабочего на ней — 90—110 рублей. Мастер же, проработавший на строительстве судов тридцать лет, И. И. Соколов, получает ни больше ни меньше, а 132 целковых. Представим, что он переехал в Усть-Кут, то есть пониже и севернее, — там он получал бы за ту же работу 215. Так что вполне объяснима и вот эта горестная цифра — с 1946 по 1966 год на верфь было принято 3 654 человека, а уволено 3 452 (почти сто процентов состава сменилось).

В предыдущих очерках цикла «Открытки с тропы»¹ я писал о нашей сибирской природе, закладывая под строку тревожный смысл: если не спасать ее надо, то хотя бы побдительней к ней относиться. Сегодня же, право, не знаю, что важнее — природа или сами люди. Ну, а как же, по-вашему, не насторожиться, если сибирская деревня, испокон века щедро рожавшая детей, нынче поумерилась и в этом. В той же Манзурке, Верхоленске, Анге смертность подравнялась с рождаемостью. Нет-нет, умирают люди самого старшего поколения, не молодежь, но и нового «вывода» почти нет.

Помнится, в Верхоленске, в сельсовете, похвастались передо мной: дескать, свадеб у нас ныне было за полгода изрядно — семь. Да ну! Вот, подумал, как здорово! А остались ли молодые в деревне? Шиш на постном масле... Пять новосоставленных семей из этого свадебного веера почти тут же покинули деревню — пироги еще не остыли. В город уехали...

Самый раз вернуться к разговору Матвея Ивановича с Колькой и его другом Захарычем:

— Вот я и хочу спросить у вас... куда пританцует деревня через двадцать лет?.. Одни в город уедут, другие на врачей, учителей выучатся...

— Да это же прекрасно, — сказал Захарыч.

— Ну, а кто же землю обрабатывать будет? Кто же крестьянствовать-то будет? Если они вот такие теперь...

— Какие?

А правда, какие они сегодня — парни и девочки из моих сибирских деревень? Неужели-то уж такие

все несознательные, и наплевать им на родимую землю, на отчий дом, над которым сейчас по-кошачьи гнет спину пушистый дым?.. Да не может того быть! Ни в жизнь не поверю...

Перед войной Качутский район насчитывал 46 тысяч душ населения. Нынче — около 29 тысяч.

Хотим мы этого или не хотим, но оценка условий жизни сознательно или бессознательно проводится самими людьми. Вступает в силу закон больших чисел, и отлив трудовых ресурсов из района, в котором жестокий нехваток рабочих рук уже сам по себе служит безошибочным показателем отставания данного района по общему комплексу жизненных условий.

В связи с этим шибко подназрела на сибирской крестьянской земле и еще одна проблема, в упор связанная со всеобщим средним образованием.

Приезжайте в Восточную Сибирь и походите по деревенским школам-десятилеткам. Первый же учитель старших классов непременно заговорит о болезненном «проколе», который возник сейчас на рубеже между восьмым и дальнейшими классами. Не желает в большей своей массе деревенская молодежь учиться дальше. Ей хватает, как это ни обидно, восьми-летки. И снова — почему?

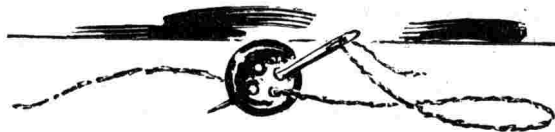
В газете «Правда» выступила директор школы рабочей молодежи № 39 города Москвы А. Иванова со статьей «Профилактика отсева». Коротенькое извлечение из этой статьи:

«Мы много беседовали с теми, кто бросил заниматься. Каждый второй объяснял свой уход отсутствием материальных стимулов к получению соответствующего образования. Действительно, некоторые не очень грамотные рабочие, отнюдь не высокой квалификации, зачастую зарабатывают больше, чем те, кто имеет восьмилетнее и даже среднее образование...»

Все правильно — нынешний школьник, а в особенности, мне так кажется, деревенский — стихийный экономист. Он чего-чего, а сумеет прикинуть материальные перспективы.

Вот разговор с классным руководителем Манзурской средней школы Марией Васильевной Нечаевой, педагогом опытным, к тому же выросшим в Качутском районе «от и до».

— Правда-правда, в деревне сейчас какой-то общий психоз: все ребята только и думают что о городе. Колют друг дружку ехидным вопросом: «Ты, мол, што — коров доить собираешься? Не-е-ет... Пускай пуговицы пришивать, но в городе...» Уже в самих семьях закладывается в детей мнение: если



в селе живешь, значит, ты человек не первостепенный... Я люблю деревню. Выросла в ней. Но когда вижу, как живут в городе, хочу в город. Трудно стало работать... Правда, успокаиваю себя: мол, такого воздуха, как у нас в деревне, нигде нет. В общем, восемь лет в селе и пытаюсь своим примером показать, что можно и нужно жить здесь. И тем не менее трудно совладать с моими учениками. Они откровенные, трудолюбивые, только вот живут постоянным ожиданием города. И вы заметь-

¹ См. «Юность» №№ 1 и 4 за 1968 год.

те: в совхозе, на тракторе остаются сегодня, как правило, всегда самые отстающие из учеников... В прошлом году повезла я ребят на экскурсию в Иркутск. Пришли в Институт народного хозяйства, стали разговаривать, и со мной чуть плохо не сделалось... Валя Черкашина, моя бывшая ученица, в гардеробе пальто принимает... Сама-то смутилась и убежала... Или вот ощущаю еще одну проблему, что ли: в районе много интернатов. И это хорошо вначале. Но сам факт интерната почти полностью лишает детей самостоятельности, инициативы... Ребят будят, кормят, все за них решают, в общем, опека, опека... А где же сами они?.. К тому же замечен и следующий парадокс: деревенские дети, стоящие на бесплатном питании, как правило, слабо учатся... Придут в класс, посидят-отсидят положенное — и кушать... А ведь это деревенские дети. Они все умеют: и работать и учиться. Наверное, эта вот «бесплатность», видимо, и лишает их внутренней независимости, то есть умения рассчитывать только на собственные силы.

Согласитесь, любопытное сообщение. Наверняка им стоит заинтересоваться тем, кто конкретно занимается педагогическими проблемами.

Сегодня во многих областях страны ведутся специальные социально-психологические исследования, на острые социальные вопросы: каково отношение деревенских ребят к труду хлебороба? Как они в целом смотрят на сельский образ жизни? Каков их так называемый «психологический настрой»?

И все эти исследования танцуют от главной пещки — нерешенной проблемы предупреждения отсева учащихся средних школ при переходе из восьмого в девятый класс и отсева из старших классов. В Иркутске этим занимается кафедра педагогики и психологии Института иностранных языков. Воспользуемся некоторыми данными, полученными кафедрой.

В 1968 году под исследовательский прицел были взяты школы Заларинского района, города Зимы и Кировского района города Иркутска. По Заларинскому району отсев составил 38 процентов. Утечка в деревенских школах Залари и Тырети — 50 процентов. В Кировском районе — 25. А в Зиме — 28 процентов.

Психологи беседовали с 650 юношами и девушками и с их родителями. Вот аргументы, которыми оперируют парни и девчонки, бросившие учиться:

— Нам надоело учиться...

— Желаем поступить в средние специальные учебные заведения и профессиональные технические училища...

— Все равно в институт не попасть, потому лучше работать.

— Хотим зарабатывать и быть независимыми...

Прямо-таки слышу тревожную откровенность голоса одной молодой учительницы Манзурской средней школы:

— Все понимаю — нужно пропагандировать ребят на свои деревни, воспитывать в них любовь к родной земле. Только как, если вот я все это говорю, а сама мало верю в то, что говорю. Сама-то собираюсь уезжать из деревни... Надоело. Быт... Да что там! В деревне нет бани. Кино толком не посмотрим. С продуктами тоже... Вот почему бы сельским учителям не разрешить на законных основаниях получать в совхозе продукты по себестоимости? Мы же сами молодые — как-то не представляем, чтобы корову заводить. А главное — зарплата. Молодой учитель со стажем до пяти лет и с высшим образованием за восемнадцать часов получает 80 рублей. В начальных классах с тем же стажем, но со среднеспециальным

образованием — 70. А уборщица наша, тетя Соня Якобсон, — 60 рублей. Ну и вот... станешь говорить с ребятами, мол, надо оставаться в деревне, а они умные, все знают, и сразу же: «А сколько вы получаете?» Ну, столько-то... «То-то, — говорят, — а вон Серега Королев кое-как семь классов отмучился да еще по два года в каждом сидел — теперь скотником на ферме. Думаете, сколько у него выходит? 150! А может, и больше...» Вот и vedi профессиональную ориентацию... Все равно уедут. И я уеду. Вот, срок отработаю — и уеду из Манзурки. Уж не обижайтесь. Так думаю, так и говорю...

Да, в деревне нынче много думают о городе... В Качугском районе хоть не густо, но еще имеется молодежь. Зато в соседнем, Жигаловском, почти нет. Приходилось слышать и такое: пора, мол, заколачивать район. Что и говорить, положение серьезное. В только что вышедшем томе «Восточная Сибирь» черным по белому записано: «В Жигаловском районе на 1 кв. км площади приходится лишь 0,65 человека».



Мелеет сибирская деревня. И как мне, сибиряку, не кричать об этом. Я понимаю, не повезло качугцам и жигаловцам на открытие, скажем, алмазов или нефти. Гидростанции перегородили реки другие. Так не в этом же дело. Здесь жили и хотят жить люди, редкие в своей смекалистой красоте и духовной порядочности. Они-то понимают, что да, жизнь у страны молодая, а просторы огромные и что эту огромность не осилишь враз — есть и сегодня участки поважнее, а до качугских «медвежьих углов» дойдет черед. Люди верят в это и тем живы. Не подлинный ли это патриотизм и истинная, «не подмазанная» коэффициентами верность малой родине?

Да. Все это так. И тем не менее имеется в запасе еще одно размышление. Приведу его чисто совещательно, с тайной надеждой, что кто-нибудь из специалистов обратит на него внимание и — глядишь — развернет по-настоящему.

Время, в котором мы живем, действительно рационально. Экономика уделяет особую свою пристальность тем районам страны, которые выдают «на-гора» прибыль конкретную и так далее. А что же группа Верхне-Ленских районов? Пока, как мы уже говорили, здесь нет алмазов, нефти, железа. Есть лес, кое-что еще. Сельское хозяйство приобретает узкоспециализированное направление: откормочный молодняк, молоко, пушнина... Одним словом, не та степень яркости. Стало быть, действительно названные земли подпадают под рубрику (если таковая существует) «забытых земель»? И, стало быть, возникла и назрела проблема «забытых пространств», а? Вот бы кто всесторонне изучил ее! Ведь наверняка такими землями богата не только Восточная Сибирь, а и другие края. И на них, этих «забытых землях», живут люди, причем издревле; ну-ка, посчитайте деревни и деревушки по той же Лене-реке... У-у! Сколько их... И на что же им рассчитывать в дальнейшем — не на заколачивание же в самом деле? А если нет, то какие плотины должны перегородить пути оттоку молодежи из дальних сел, к чему здесь, к сожалению, основательно привыкли уже...

Подумать стоит, а то, того и гляди, действительно позабудет сибирский крестьянин, как сказал Заха-

рыч, «хорошую песню спеть, и сказку рассказать, и про черта с рогами выдумать...».

Пока же в моей Манзурке не гармонист — проблема первая, хотя и нет в Манзурке гармонистов, куда более нарасхват печник, штукатур, маляр, строитель. Тут-то бы и самое время строить в районе профтехучилище да готовить из местных ребят добрых профессионалов. Ан нет! С 1958 года пылится в шкафу проектная документация на межрайонное училище «мощностью» в 400 мест — и только... Зато кочуют по сибирским деревням так называемые «дикие» строители, наподобие тех артелок, что в свое время приходили на Магнитку со своими лопатами и грабарками.

Нынче их обильно поставляет в Сибирь Кавказ. Восемь «диких» бригад значилось по прошлому только году в Качугском районе. Пишу про это, потому как сам впервые столкнулся с подобным «новшеством» на просторах сибирской стройиндустрии.

Значит, дело обстоит примерно так: приезжают шабашники в Сибирь и на всех законных основаниях (!) заключают контракты с государством и после работают. Причем еще как! По 16 часов в сутки. По всем правилам. И коровники, фермы, дома встают как грибы. По 16 часов в сутки трудятся заletные строители в Сибири. Строят высококачественно и добротнo — потом уезжают дальше. И хоть краснеют руководители хозяйств, когда их спрашивают: «Кто у вас строит? Дикари?», — отвечают, потупясь: «Дикари», — но снова и снова обращаются к ним, потому как своих строителей нету... И того же печника ждет деревня, как бога...

Небезынтересно, наверное, будет и знать, как зарабатывает безымянный кавказский строитель. А вот так: в деревне Шеино, совхоза «Ангинский», Качугского района, трое парней «маханули» за месяц монтаж коровника на 200 голов. И заработали всего лишь по 1 800 рублей на брата. Что? Вот это зарабо-



ток! Не то, что строитель из государственного управления «Иркутсксельстрой» со своими ста рублями за тот же месяц.

Написал про это, а внутри больно. Это сибиряк-то не умеет строить? С каких-таких пор?..

Предпоследняя электричка уходила на Москву в десять с минутами. Было уже темно, так резко скоротились дни. До платформы меня проводила Антонина Федоровна, та самая женщина, о которой, помните, сообщило неожиданное письмо из Сибири. Час назад родился первый снег новой зимы, самый щедрый хлопьепад начала. Мы простились у перехода через полотно. Чуть стесненно поцеловались, и я зашагал, не оглядываясь...

Тридцать лет... Половина жизни... Хотя кто из нас может поручиться в знании того предела, за которым ровно такая же половина?

Я уже перепрыгнул через все рельсы, когда услышал голос Антонины Федоровны. Видно, она так и стояла на том же месте после того, как мы попрощались.

— Ты приедешь еще?

— Ну, конечно!..

Снег валил густо, начисто размывая слабо освещенное пространство.

— Приезжай обязательно-о-о... Я буду ждать... И зайди к тетке!

Когда отстрелялся последними вагонами товарняк, за полотном не было никого... Как отца, который погиб на той же дороге, что сам строил... Как Олега, брата, из-за которого я столько лет вел эти поиски...

Вот он — на фотографии... Старой, теряющей глянец бумажной правде... Ему три с половиной года... И та же округлость мордахи, та же детская белесть головы... Сегодня это был бы тридцатичетырехлетний мужчина. И я знаю, что не было бы для меня более счастливого на этом свете, чем встреча с ним, братом по крови, по маме.

...В черемховской тайге, под Голуметьк, в деревне Инга не стало Олега... И некого обвинить в том... И некому жаловаться...

Электричка стучала в темноте, оставляя то справа, то слева сонные подмосковные деревни. И еще все время шел снег...

Вспомнилась снова Манзурка, первая моя нянька Соня, все мечтавшая, что когда-нибудь, когда я отыщу брата, мы приедем в деревню, сядем все вместе за стол, будем пить чай в теплой, уютной избе...

У Толстого записано: «...писателю нужно две вещи: знать то, что должно быть в людях и между людьми, и так верить в то, что должно быть и любить это, чтобы как будто видеть то, что должно быть, и то, что отступает от этого...»

Еще немного, и закончится очерк, очередная порция открыток с тропы... Но я был бы не удовлетворен и нелогичен, если бы не рассказал еще о нескольких вещах, которые давно уже просятся наружу.

Первое связано все с тем же Колькой Бурановым из разговора «куда пританцует деревня через двадцать лет?». Раскрываю карты — познакомился я с ним на съемках нового фильма Василия Шукшина, «Странные люди». И полюбил его и попытался, одевшись в Колькину шкуру, то есть сыграв эту роль, понести его до конца.

Однажды с ним чуть-чуть не произошел вот какой случай. Почему чуть-чуть? А потому что в фильме этого эпизода нет. Хотя он и мог бы быть — уж больно тогда, в тесном номере Владимирской гостиницы, отчетливо увидели мы про себя с Шукшиным: ...самое-самое начало рассвета...

Колька не спал уже вторую ночь, заканчивая резать из дерева свою Главную мечту — фигуру Стеньки Разина. Он уже встал перед Колькой во весь рост на верстаке, связанный по рукам и ногам и все-таки вырвавшийся на волю из огромного спила липового ствола. И смотрел на Кольку, деревенского кузнеца, яростно-смелым прищуром атаманских глаз. И Колька смотрел на Степана, кусая ногти.

Вдруг кто-то тронул его за плечо. Колька, сбитый с чего-то абсолютно своего, недовольно обернулся. Перед ним стоял живой Разин. Простое крестьянское лицо Стеньки, обычно спокойное, в минуту азарта или опасности неузнаваемо преобразилось; прищуренные глаза загорались колющим блеском... чуть вздрагивали ноздри. Это были желанные мгновения счастья, которых ждала и искала могучая его натура. В его сорок лет жизнь научила его хитрости, дала гибкий, изворотливый ум, наделила воинским искус-



ством и опытом, но сберегла по-молодому озорную, неумную душу...

Таким и представлял атамана Колька Буранов, деревенский кузнец, над которым смеялись в селе за странное пристрастие строгать.

— Ты чего? — спросил Колька. — Я еще не закончил...

— И ладно, — обрезал Степан, — будя. Пойдем.

Он взял с верстака почти готовую работу и вышел из избы.

В низинке под овражным угором горел костер. Степан подошел, постоял над жаром и бросил в огонь связанного Степана.

— Это его развяжет. И не надо так больше, Коля. Сперва надо понять все... И ты поймешь. Я знаю... — Он легко и свободно растворился в намечающемся дне...

А в костре, не сразу поддаваясь, чернел, обугливался, бронзовел Разин — Главная Колькина мечта. Может быть, в то утро и пришла к Кольке Буранову истинная правда по имени Ответственность. И мне сейчас очень хочется, чтобы и вы поняли это: резать и писать одинаково трудно. Бунинская «неосуществимость» живет в каждом, кто честен, искренен и справедлив... Уходя в эту поездку, я рвался к истоку, тихо надеясь, что завтра «будет чо-чо такое, ну — это...»

И — второе. Сестра моего отца, с которой я встретился только вчера, после многого всего довольно гордо поведала мне, «что наш род не так уж и плох, и кое-чего про него даже записано в книге...».

Сейчас она передо мной, та книга — «Пятьдесят лет в строю» А. А. Игнатьева. В главе третьей, озаглавленной «Детские годы», есть строчки: «...это было родовое имение, унаследованное отцом после смерти деда, — Чертолино, Тверской губернии. Ржевского уезда, Лаптевской волости, и, как значилось в крепостных документах, «прихода св. Троицы, что на

реке Сишке»... Управляющим Чертолина, исполнителем всех заданий отца был его бывший денщик Григорий Дмитриевич Яковенко, покоривший в свое время сердце горничной Дуняши; Дуняша превратилась в Авдотью Александровну и получила от крестьян достойную своего нрава кличку «Погода».

Так я узнал о начале своей родословной, о своем прадеде и прабабке...

И, наконец, третье и — последнее... Впрочем, последнее пока, потому что не закончились еще «Открытки с тропы», и завтра — какое это все-таки мажущее слово «завтра» — дорога обязательно уведет меня снова...

Завтра... завтра... за-а-ав... И дожди еще большие будут потом впереди, и хлеба полеглые, ветром напутанные, слабо засветятся обочь сырого проселка от внутреннего спелого жара, и зарничка, ободряя, смигнет, расцарапав ближнюю непроглядь, и кто-нибудь обернется тебе вслед, а ты и не заметишь этого, а после жалеть станешь; завтра — это уж точно — с раскосого озера, что совсем рядом с сельской закраиной, оторвутся гуменные гуси, вскричат горлово на первом полете, когда еще совсем рядом накре-



нившаяся земля, и потянут на юг, перечеркивая живыми знаками морзянки восход, унося на крыльях столько всего и не думая сейчас, что впереди у них будут потом еще и... дожди большие, и другое разное, из-за чего и в чем, наверное, и состоит необратимая принадлежность к земле, от которой, если и уходишь, но к которой все одно — рано или поздно — вернешься...

...Завтра я пойду в магазин и куплю для бабушки Лизы электрическую плитку на 220 вольт.

Октябрь 1969 года. Манзурна — Москва.



Ада Левина

ТРИ ДИОПТРИИ

Рисунки Е. Лехта.

«Морозобоина» — это слово я записала в иркутской тайге, на лесоповале. Произнес его леспромхозовский техник Шура — тот самый парень, ради встречи с которым я, собственно говоря, и забралась сюда, в таежный поселок на речке с непонятным именем Чуна...

Мы стояли, не знаю, как сказать точно — где, пожалуй, вернее всего — в бывшем лесу. Слева от нас еще стеной темнели деревья, визжали пилы, и сосны, беспомощно взмахнув ветвями, рушились наземь. А справа был склон, голый, лысый, на нем уже ничего не торчало вертикально. Зато по всему склону белели поваленные березы. Я спросила, когда эти стволы будут убирать, но Шура посмотрел на меня снисходительно, как иной раз москвичи в метро на заезжего колхозника, который, провожая взглядом уходящий поезд, спрашивает: «А следующий когда?»

— Да никто не будет это убирать, — терпеливо пояснил мне Шура. — Мы же только валим все, а берем то, что подходяще. А это так, дрова — долготей.

Видимо, я молчала слишком долго, и Шура оглянулся — на что это я так упорно смотрю. Смотрела я на дерево. Оно стояло совсем рядом с нами, ствол его был сверху донизу прочерчен глубокой трещиной, как шрамом... Трещина — и это еще больше усиливало сходство со шрамом — заросла, заволокла корой.

Проследив за моим взглядом, Шура объяснил деловито:

— Это морозобоина. От мороза ствол треснул. Корой-то заросло, да древесина уж, конечно, подпорчена, в деловую не пойдет...

А в моей памяти вдруг явственно, до боли, возник другой голос, произносящий это же слово, только с иной интонацией и в другом месте.

Это была не тайга, а всего лишь Измайловский лесопарк в Москве. Я шла по лесу рядом с дядей. Моим родным дядей. У него была трудная жизнь. Всю ее он отдал лесу. Работал в лесу, потом в лесном наркомате, потом (уже не по своей воле и не по своей вине) — опять в лесу с пилой и топором. Когда он после этого вернулся в Москву, он был болен,

ездить далеко не мог, но лес любил по-прежнему и летние дни проводил здесь, в Измайлове. О деревьях он мог рассказывать часами, словно о живых людях. В этих рассказах у деревьев были свои драмы, свои праздники, свое горе. Но мне некогда было слушать его рассказы, я всегда торопилась: сначала в университет, потом в командировку за тысячи верст к своим героям. Потому что интересные люди могли жить, конечно же, только за тысячи верст. Вот и тогда я забежала на минутку проститься перед командировкой. Мы шли по траве между деревьями, и я торопливо говорила, куда и зачем поеду.

Вдруг дядя взял меня за руку и повел куда-то в сторону, к какому-то дереву.

— Смотри, — сказал он. Я посмотрела. На стволе была глубокая впадина, заросшая бугристой корой.

— Это от молнии?

— Нет. Это морозобоина. Когда-то, много лет назад, был сильный мороз. Внутри дерева все его соки замерзли. Как ни крепки были кольца, которые годами накручивала жизнь вокруг ствола, они разорвались, ствол треснул чуть не до самой сердцевины. Дерево могло и погибнуть. Многие погибают. Но пришла весна, дерево отошло, соки снова забились в нем. И рана стала затягиваться, зарастать. Дерево ожило, даже зазеленело. Но шрам остался. Шрам вглубь, до самой сердцевины дерева. На всю жизнь. Морозобоина — это теперь с ним всегда...

Он говорил медленно, негромко, с паузами, и в этих паузах словно звучали еще другие, не произнесенные им слова, которые должны были возникнуть уже в сердце того, кто слушал, словно эхо произнесенных о морозобойне, которая может также остаться шрамом навсегда на человеческой сердцевине.

Но чтобы возникло эхо, надо всегда чуть-чуть выждать, для него необходима тишина, его не уловишь в городском шуме. Чтобы услышать эхо, надо, чтобы даже сердце не стучало секунду. Но мое сердце стучало громко, мне было некогда, очень некогда. Я торопилась на поезд, и сердце было, как билетик, пробито дырочками компостера. Сквозь эти дырочки все и утекло. Я наспех попрощалась и убежала.

А когда через месяц я вернулась, на лестничной площадке перед дверью дядиной квартиры стояли пять досок, сколоченных так, что они образовали не полку и не раму, а крышку гроба...

Я смотрела на нее именно как на пять досок; я знала, что он сам сказал бы о них именно так, с паузами: «Каким только делом не приходится деревине заниматься, и не зря ее зовут — деловая».

Кажется, я начала что-то понимать, и, может, теперь я уже слушала бы его слова иначе, но уже не было ни слов, ни пауз между ними. Ничего.

И вот теперь, через много лет, в Сибири, от техника Шуры я снова услышала слово «морозобойна». Шура объяснил все верно, как в учебнике, и ничто не дрогнуло в его голосе, как и тогда, когда он толковывал мне спокойно: «Почему березы не убираем? Сибирская тайга большая, ее всю не уберешь. В Сибири леса много, руби — всем хватит». Его не трогала эта морозобойна так же, как и белая от оставленных стволов вырубка, словно гигантская морозобойна прошедшая через Родниковский массив.

А потом я сидела вечером в закуске Дома приезжих и смотрела на одно лишь слово, написанное поперек блокнота, и вспоминала какие-то обрывки своих беглых разговоров с дядей, которые ветром выдуло сквозь дырочки компостеров. И думала о том, что именно с ним, не с редактором и не с министром, хотелось бы мне поговорить обо всем, чего не выдалась я в этой командировке. О белой от оставленных стволов вырубке, о повале и буреломе, о равнодушии Шуры, о сгнившем первосортном лесе, под который не было вагонов, и о дровах, о бесфондовой древесине «самозаготовителей», под которую вагоны были и даже шли через всю страну из Средней Азии, о распиленной на дрова сосне, в которой я насчитала 200 годовых колец. Обо всем, что заполнило и блокноты и сердце и шло без разбору, словно мелевой сплав на таежной реке Чуне, — воды не видно, только стволы, стволы, плывущие сами по себе, толкая и обгоняя друг друга. И все это предстояло, как эти бревна, выловить, рассортировать, определить, что из них деловое. А для этого так важно было услышать мудрый дядин голос, произносящий слова медленно, словно взвешивая их — каждое отдельно — на весах пережитого.

Но говорить было уже не с кем, хотя, как мне кажется, теперь я расслышала бы и эхо.

В комнате Дома приезжих я молча смотрела.

А напротив меня сидела черноглазая девушка со странным именем Масфия. Она приехала на районный семинар библиотекарей и беспокоилась, придут ли завтра участники агитпоезда, что идет из самого Иркутска, и сумеет ли она попасть на встречу с ними, потому что к ним в село такие интересные люди очень редко попадают. В этом поезде, повторяла она, едут такие интересные люди — все награжденные...

Я ничего не могла ответить Масфии. Я не знала, в каком часу придет агитпоезд. Зато я уже знала другое: что интересные люди — это не только награжденные... И пока Масфия хлопотала над своими книжками, пакуя их и перекладывая, я вспомнила одну такую историю про «ненагражденную».

Дело было так. В краеведческом музее небольшого южноуральского городка меня особенно заинтересовал один экспонат. На пожелтевшем листке оберточной бумаги было отпечатано крупным шрифтом:

«ОБЪЯВЛЕНИЕ»

Отдел городского хозяйства предлагает всем домовладельцам... не позднее 20 мая... произвести посадку деревьев против своих домов и принять меры к выращиванию этих деревьев и охране. Деревья для посадки можно получить из питомника. Посадка

деревьев обязательна... Лица, замеченные в порче и уничтожении посаженных деревьев, будут привлечены к революционному суду.

Комиссар городского хозяйства
И. Малышев

13 мая 1918 года».

Май 1918-го... Да ведь в это время здесь, на Южном Урале, гремели выстрелы гражданской войны, и таилось в утробе сытых станиц дутовское восстание, хоронили убитых большевиков, а тут вдруг городской Совет, озабоченный формированием рабочих отрядов и доставкой оружия, находит возможность заняться посадкой деревьев! Состоялась ли она, эта посадка? Может, объявление так и осталось пожелтевшим листком бумаги?

Я решила расспросить об этом девушку — сотрудницу музея, и узнала историю, поистине удивительную. Да, посадка деревьев действительно была и даже получила название «Красной посадки». Сажать тополя вышли с революционными песнями, с транспарантами и лозунгами. Сажали по всему городку, вдоль всех домов и тротуаров, но начали с центральной площади, где были похоронены первые жертвы белых.

А через месяц, в июне 1918 года, когда вспыхнуло дутовское восстание, в город ворвались белые казаки; они рубили не только большевиков и их сторонников, рубили шашками наотмашь зазеленевшие саженцы тополей, вырывали их с корнями, кричали, что уничтожат этот «большевистский рассадник».

И все же, рассказывала мне девушка, какие-то деревья из посадки уцелели и выросли. Какие? Говорят, на площади Ленина, у музыкальной школы. Но это не точно, потому что там сейчас карагач, а сажали тополя. В общем, этого она не может точно сказать, какие деревья. Но не знает ли она живых участников этой «Красной посадки», людей, которых можно бы расспросить обо всем подробнее?

Девушка развела руками — она не знает. Но ведь городок небольшой, это не Москва, не Ленинград — тут жителей не миллионы, а всего несколько тысяч, так что старые большевики, все участники гражданской войны, все награжденные у них наперечет, все в списках, и я могу пойти к ним и узнать. Девушка раскрыла аккуратную клеенчатую тетрадь, где были четко, как в бухгалтерской ведомости, перечислены все награжденные и значились их адреса...

По этим адресам я ходила целую неделю — из дома в дом. Все это были очень достойные люди, но большинство из них приехало в городок уже после гражданской войны. Меня посылали от одного к другому в надежде, что, может, такой-то помнит, а, может, та-то участвовала. Но всюду я терпела неудачу. Участников «Красной посадки» я так и не нашла.

В последний день перед отъездом я еще раз зашла в музей — ничего нового. Только над той же клеенчатой тетрадью склонилась молоденькая очкастая девушка и делала какие-то выписки.

— Это Сонечка из райкома комсомола, — сказала мне сотрудница музея, — их школьный отдел. Награжденных выписывает, на диспут звать.

Толстые стекла в очках Сонечки отливали зеленым. Она стеснялась этого и сразу, знакомясь, сообщила:

— Знаете, меня еще в школе, в четвертом классе дразнили: «Три диоптри, очки протри». А теперь уже не три, а пять... — Говорила она быстро, звончком: — Очень ответственный диспут для старшеклассников — «Как бы ты хотел прожить свою жизнь?» Приходите, а?

Я вспомнила, что утром видела между колоннами грэзовского Дворца культуры метровую афишу этого диспута.

— Очень ответственный, — повторила Сонечка, — поэтому мы решили пригласить самых-самых заслуженных, самых награжденных...

Я ушла из музея, попросив сотрудницу обязательно сообщить мне в редакцию, если все-таки что-то выяснится. Но никаких сообщений из музея так и не пришло.

...Случилось так, что через полгода я снова попала в этот южноуральский городок. На сей раз совсем по другому делу и даже в другую его часть, существующую как бы чуть обособленно — поселок строителей ГРЭС.

Весь день я моталась по строительным участкам, но так и не нашла женщину-прораба, которую искала. На последнем участке — на стройке завода железобетонных изделий в отдаленном поселке Бобровка — мне посоветовали пойти к ней домой и дали ее адрес. «Вечерами она всегда дома, там и поговорите!» Кнопка звонка была новенькой, необтертой: видно, касались ее не часто. Я нажала раз, другой, третий. За дверью одиноко и как-то холодно пробасил звонок, но никто не открыл. В раздумье, что же теперь делать, я спустилась на один лестничный марш и встала на площадке у окна. На улице по-прежнему моросил дождь, лужи были в ямочках, и я вдруг резко ощутила, что ноги, даже в резиновых сапогах, промокли, и как-то тяжело лег на плечи долгий, суматошный и бесполезный день.

Прошло полчаса. Мимо меня по лестнице поднимались идущие с работы обитатели дома. «Может, и Сапунова прошла?» — подумала я и пошла позвонить еще раз. Звонок заливался долго, настойчиво. До тех пор, пока не открылась дверь квартиры напротив и на пороге не встала вся какая-то сборчатая старушка.

— Тебе чего, милая?

— Это квартира Сапуновой, я не ошиблась?

— Сапуновой, точно. Только ее нет. А должна уж быть. Видно, скоро придет.

— Я подожду, — сказала я и стала спускаться на свое место у окна.

— Да нешто это дело на лестнице стоять? Проходи, проходи сюда. Ишь, озябла, на улице-то дождит да дождит...

Я вошла и боком присела на табуретке в крошечной прихожей, неловко сунув под табуретку сапожки, с которых текло.

— Батюшки! Да у тебя все ноги мокрые! Скидай-ка свои мокрые, одевай тапки. Рина, — крикнула она куда-то в глубь квартиры, — подожги там чайник!

Я не могла бы объяснить, как это получилось, но прошло всего каких-то полчаса, а я в сухих теплых тапочках, в шерстяном платке на плечах, сидела за столом в незнакомой квартире, пила чай с малиновым вареньем и слушала, слушала круглые, добрые, выкатывающиеся один за другим, как колобки, рассказы старушки Самсоновны...

— Так, значит, ты, из Бобровки едучи, так промокла? Да Бобровка теперь вроде ближе стала, автобусом два часа, а было на лошади целый день. Я ведь сама бобровская. По этой-то дороге столько раз езжено-хожено. Один раз даже чуть не убили меня на этой дороге.

— Грабители? — спросила я.

— Да не совсем. Бобровка эта была самое кулачье. Богатая казачья станица. Как случилось дутовское восстание, посадили всех наших красных станичников в холодную. Ясно — завтра стрелять будут. Они мне и передали записку: «Доставь, мол, Дуня, записку в Пронск комиссару товарищу Томину — или конец нам». А как пробраться-то из Бобровки, кругом цепи казаки? И уговорила я жену одного казака



богатого, Настю, на мельницу ехать в Пронск муку молоть. Я записку за пазуху спрятала, сижу, за свой мешок держусь. А на полдороге, аккурат где сейчас ГРЭС строится, казачья цепь — документы проверяют. Счастье мое, что казаки в цепи были не наши, с другой станицы — ключевские, они меня и не признали. Едем к мельнице, а я говорю, мол, завернем к моей сестре, хоть чаю напьемся да обогреемся. А там уж у сестры передала я записку комиссару Томину в красные казармы. И на другой день бронепоезд, что на путях стоял, повернул свои орудия на Бобровку. И отступили казаки... Вернулись мы в станицу, а там уже белых нет, утекли, и Степан Настыкин с ними, и хоть бы шибко богатые были, а то так, средне, больше сдуру, чем с богатства.

— Выходит, вы в революции участвовали? — удивленно оглядела я круглую, в ямочках, старушку.

— А как же? Революция, она кругом была, во всей жизни. А я что ж, я тоже жила. Значит, участвовала. И припрессиям подвергалась. — Это «припрессиям» она сказала с таким достоинством, так гордо, словно про орден какой. — Я от жизни не хоронилась, всю жизнь на выпяти.

— Выпить-то выпить, да что с нее выпить! — С этими словами вошла в комнату полная, болезненно отекавшая женщина, та самая, что, не очень охотно повинувшись старушке, давала мне тапочки и приносила чай. Это была старушкина дочь, Рина.

— Она только после операции, — объяснила Самсоновна, — не совсем здорова.

Но дело, пожалуй, было не только в операции, а еще в чем-то другом, пока не ясном для меня. Рина не принимала участия в разговоре, она была чем-то занята на кухне и только изредка вставляла репли-

ки, словно палки в колесики плавно катившейся материнской речи... В то время, как она бросала свои резкие насмешливые реплики, взгляд ее словно умолял не слушать их, ревниво следил за тем, как я слушаю рассказы ее матери, и поднимавшаяся откуда-то из глубины гордость гасила в этом взгляде лезущую вверх иронию...

А Самсоновна, не обращая внимания на Ринины «клинья», продолжала.

— В моем доме все первое по-новому было — и октябрины и похороны. Она у нас, Рина-то, октябринная. И не Рина она никакая, а полностью будет ей имя отчество Октябрина Егоровна. Что было, как вспомнишь! Первые октябрины в Бобровке! Свекровка-то шумит: «Чтоб своего ребенка да на поругание!» А я — свое. С окружкома комсомола подарки привезли — покрывало, рубашку, шапочку, — и все красное да в серпах и молотах разрисованное. Речь говорили на площади посереде села. «Мы теперь не будем попам кланяться. От попов одно горе, а от Октябры ребенку счастье!»

— Не вышло мое счастье-то! — резко сказала Рина и ушла в кухню.

— Ну, это ты про другое счастье, про женское, а мы тогда про общее говорили.

Старуха вздохнула и указала мне глазами на портрет чернового, смешливого лейтенанта.

— Муж ее, Ринин, погиб в аварии два года назад. Она, конечно, и сама при деле — врач ветеринарный, да вот, вышь, по колхозам ездючи, в буран в степи попала, не замерзла едва, болела все, а вот месяц назад почку отняли ей. Теперь здесь, в Пронске, будет работать на рынке, в ветинспекции. Конечно, обидно ей, вот и кажется — свое счастье не заладилось, так и вообще его нету... Мы не так понимали... В 26-м, когда помер мой муж, Егор Петрович, от простуды он помер, от легких, простудился он еще в партизанском отряде на Урале, большевик-то он был с пятого году, партизан сибирский, к Ленину Владимиру Ильичу ходилом еще ходил, и все ничего, а тут скрутило его. Приехал секретарь окружкома, очень горевал, говорит: «Похороним мы его как большевика красными похоронами». И правда — все с округа привезли, и гроб был с красной материей, и на могилу ему — впервой в Бобровке — не крест, а красный памятник.

Похоронили его, с двумя я осталась на руках — Рина да сын Митя, — после он на войне погиб. Ну, соседки говорят: может, теперь угомонишься, Дуня! Да где там! Не угомонила.

С тех пор в моей жизни и чего только не было. И председателем рабочкома была, колокола с бобровской церкви снимала, а как организовали колхоз, был у нас красный обоз с хлебом в город рабочим, на первую лошадь села и поехала. А еще была я инспектор труда и техники безопасности при райпрофсовете, это когда уж в Пронске мы жили. Сейчас вроде и не верится. Ну, какой я инспектор, неграмотная? Ведь была! И боялись меня, куда там! Все проверю, все выищу, где нарушают, а приказ написать не могу. Поймаю на лестнице девушку, секретаршу какую. Ты грамотная? Напиши мне приказ, я тебе все обскажу, чтоб в пекарне вентиляцию устроить... И ведь добыюсь, со своей точки не сойду, пока вентиляции-то не будет. Если б я грамотная была...

— Да, уж если бы ты грамотная была, — это опять Рина, — и нотки то ли гордости, то ли горечи просвечивают сквозь ее печальную иронию, — уж неизвестно, где бы ты у нас была, и так-то неграмотную мы с Митькой тебя раз в неделю видели: то воскресник, то субботник, а уж грамотную-то и в детдоме бы не поймали...

— В детдоме? — удивилась я.

— И верно, в детдоме! А ведь было! Приходит ко мне секретарь райкома и говорит: «Закрывай, Золотухина, свою Мопру, иди на прорыв в детдом». «Да какой из меня учитель, из неграмотной?» А он говорит: «Тех ребят еще не учить надо, а в порядок проижесть». Пошла я туда, а там и вправду страшное что творилось! Днем — на базар, по карманам лазают, ночью кто заснет первый, ему спички меж пальцами поджигают. Ну, чисто зверята. Как к им подойти?.. Я перво-наперво столовую покрасила, выхлопотала им одежду, обувь — все новое, всю рухлядь ихнюю вместе с ними мы сами на свалку свезли да сожгли и койки новые сами расставляли, матрасы, умывалки. Уж они не стали в карты друг у друга проигрывать. Но тут другое. Мальчишка был один бедовый. Новые шторы я привезла, повесила. А он снизу подпалил и сжег. Так ребята над ним самосуд устроили, спать не давали. Узнаю — уж третью ночь не спит. Насилу их помирила... Потом мы с ними два гектара овощей разных посеяли и деньги на МОПР отдали, борцам революции. Рассказывала я им, как Димитров в тюрьме сидел, и про Тельмана. В общем, наладила я ребят. Устроили мы их через райком на хорошие места работать. Вот еще недавно видел Федю, он уж дед теперь, на станкозаводе работает. И другие летчиками стали, инженерами, я всех до единого помню...

— Ты-то помнишь, да тебя не больно помнят. Вон болела — кроме тети Вари, и дверей никто не открывал...

— Рина, народ-то все занятой, да и живем на дальнем месте...

— Ты одна всегда свободная была, для других незанятая. И все места тебе не дальние были. Да что говорить, стаж-то твой что же не присчитали?

В тоне ее была застарелая, настоящая на долгих спорах обида.

— Опять ты об этом, Рина. Ну, говорила же я тебе — не в бумаге дело! Понимаешь, какая история, — повернулась старушка ко мне, — в партии-то я вообще с 17-го года. Да в 18-м, когда посадили меня дутовцы в холодную, свекровка испугалась и партбилет мой сожгла. Так дождалась до тридцатого года все на выпяти, а книжечки-то нет. Надо новый билет получать. В райкоме говорили: собери, мол, бумаги, пусть свидетели тебе напишут, и восстановим стаж. А я не стала. Кругом говорят: тебя и так все знают, что ты большевичка с 17-го года и в холодной сидела...

— Тогда знали, а сейчас забыли...

— Не в этом совсем дело, никак ты, Рина, в толк не возьмешь.

— Уж это точно. Толку-то я никак не доишусь. Еще когда мы до войны с Митькой уроки по очереди на одном столе готовили: жили-то — ни стола, ни угла, — а она у нас знала кем работала перед войной? Председателем РЖСКТ.

— Ну и что, Рина? Гостя девочка молодая, поди и не знает, что такое РЖСКТ.

— РЖСКТ — это, кажется, жилищный кооператив, да?

— Квартиры распределяла, а мы в курятнике как жили, так и жили.

— Рина, тогда нельзя было родственникам давать, тогда прежде всего для людей, себе в последнюю очередь, а еще она, последняя, не пришла... — А я на жизнь не в обиде, Рина, — продолжала Самсонова. — Жизнь была у меня богатая, научная для других. Я вот все думаю, кто бы грамотный все это описал, могла бы оставить такую репетицию жизненную...

— Нынче другие пьесы, мать, ставят. И репетиция твоя ни к чему. Хватит, нас с Митькой отрепетировала. Один в ополчении сгинул, другая, дура, чуть

в степи не замерзла. Да Валька, вон, последняя твоя репетиция — десятый час, а он все по собраниям бегает...

В Рининой речи словно бились, боролись, схлестывались друг с другом две струи. Словно говорила она одно, а где-то в глубине так и хотела, чтобы не победили, не восторжествовали над материнскими ее слова.

Я слушала молча. Я понимала, что спор этот возник не сегодня и не из-за меня, что такой разговор происходит между этими двумя женщинами каждый день, каждый час, и поводом для него может служить что угодно — воспоминание, разбитая чашка, вчерашний обед, тень почтабона за окном, появление гостя или даже молчание пустой квартиры, потому что этот спор был о том, так ли прожита жизнь, а жизнь — это все: и чашка, и обед, и неполученное письмо...

И неожиданно для себя я вдруг ощутила, что я не просто слушатель, сторонний наблюдатель этого спора. Удивительно, ведь я попала в этот дом совершенно случайно, погреться, дожидаться Сапунову. Самсоновна уверяла, что, если откроется дверь в восьмую квартиру, здесь сразу слышен хлопок. Но хлопок все не было. Сапунова, видимо, уже не придет, должно быть, заночевала в Бобровке, у сестры, ждать ее больше было бессмысленно, — но я все сидела, не в силах оторваться, и все слушала...

— Никого я не боялась. А чего? Вот случай был. Как организовали у нас в Бобровке артель «Партизан», прислали к нам в председатели выдвиженца — пьяницу. Приедет из города набравшись и гоняется за женой. Ну, я срисовала этот момент в стенгазету. Он на меня жалобу в ЧК, грозит: «Я выдвиженец, не имеешь права авторитет подрывать!». А чего его подрывать? Сам подорвался давно. Вызвали нас в ЧК, из партии его исключили и из председателей выгнали... Вот и Рина у меня такая же бедовая. Да... Ты не слушай, что она на словах поперечная, а сама такая же бешеная, по фермам все ночи шастала, никому покоя не давала. И мнение свое скажет, не побоятся.

— Мнение-то есть, а имения-то нету, — отозвалась Рина.

— А нам не надо ее, собственности, вот оно, имение-то, Рина. — И тут рука Самсоновны легла на какую-то книжку, не то папку, которую она протянула мне.

Но в это время раздался резкий звонок в дверь, и, сопровождаемая Риной, вошла старушка, чем-то неуловимо похожая на Самсоновну и в то же время совсем другая, с большей трезвостью в глазах, что ли.

— Варвара! Вот хорошо, что наведала! Вот вовремя! — Самсоновна даже руками всплеснула. — А у нас тут целое воспоминание вышло. Гостя вот у нас с области, Сапунову ждет, да в Бобровку ездила, ну и рассказала я ей, какая она, наша Бобровка, была...

— И про Зуккера рассказала? — лукаво подмигнув Рине, спросила Варвара.

— Нет, про Зуккера не успела, — легко, со смешком, откликнулась Самсоновна. — Давай, Варвара, расскажи.

Варвара по годам, видно, была ровесницей Золотухиной, но смотрела на нее как-то попеременно, то с гордостью, как младшая на старшую, готовая все перенять и воспринять от нее, то вдруг со смешком, как старшая, трезвая, умудренная, на младшую, неразумную. Но в то же время нельзя было не понять, что, вопреки этому смешку, ей хотелось, чтобы та осталась именно такой, не сходящей в ее трезвую умудренность, видящей что-то свое, чего уж так и не разглядеть ей.

— Да уж, помещик у нас был памятный, — сказала она теплым, грудным, бабушкиным голосом, не похожим на быстрый, резкий, колечком катившийся говор Золотухиной. — Зуккер ему была фамилия, а звали мы его Сукер. Собак больше людей любил. Собака сдохнет — полный траур в имении, человек померет — ему все равно. А едет куда — всегда впереди его экипажу две собаки бегут. Песню-то свою еще помнишь, Дуня?

— Как не помнить.

И тут обе — Самсоновна и Варвара — переглянулись, что-то лукаво, золотистое пробежало из глаз одной в глаза другой, и, сев пряменько, подравнявшись, тонкими и неожиданно похожими голосами они запели:

Две собаки вперёд,
Два лакея позаде...

Они пели, а я как-то машинально раскрыла не то книжку, не то папку, которую Самсоновна передала мне в руки в тот момент, когда вошла Варвара. Это была обложка какой-то большой старинной книги, приспособленная под папку, а в ней лежали желтые хрупкие вырезки из газет и пожелтевшие документы, фотографии, где среди множества по-молодому похожих лиц я так и не могла выделить лицо Золотухиной.

— Что, — спросила Самсоновна, перехватив мой взгляд, — чай и не угадала, которая я? Так разве ж я такая тогда была? Вон, здесь с краю я, с деревцем в обнимку. Это когда еще в 18-м годе первые «Красные посадки» были...

— Вы участвовали в «Красных посадках»?

— А как же, участвовала. В аккурат я у сестры гостила в городе. Муж у нее был тоже большевик. С ним и пошла.

Оказалось, она помнила десятки подробностей — и откуда привезли саженцы, и какую речь говорил комиссар про «Красные посадки», и почему всем достались тополя, а ей карагач. Помнила все, что случилось с этими деревьями потом, как рубили их дутовцы, какие выжили, какие сажали новые.

— Как же не помнить? Ведь вся жизнь мимо них прошла. Малые были — и подвяжешь и польешь тогда. А когда меня перерастать стали, бежишь туда, глянешь — и горе в полгоря: растут, упорствуют...

Она вспоминала еще и еще про эти деревья. Но — странное дело! — меня как будто уже не так занимали подробности посадок. В этот момент уже не в посадках было для меня главное, а в чем-то совсем другом. Я слушала, а сама еще и снова перебирала содержимое папки-обложки. Кроме фотографий и вырезок, там были еще какие-то справки, газетные крупным и редким шрифтом старинной машинки. Я взяла в руки одну, лежащую сверху бумажку, минуя пролысины на расправленных линиях сгибов, прочла: «Золотухина Е. С. за организацию детских яслей и за ударную работу на кирпичном заводе премировывается прорезиновым плащом».

Этот «прорезиновый плащ» вдруг пронзил меня до самого сердца, словно именно он и был самым главным, что узнала я за сегодняшний вечер. Больше ни о каких наградах в бумагах не говорилось. «Премировывается, премировывается» — это неуклюжее, неповоротливое слово ввинчивалось внутрь, непонятно разрасталось, заполняя все мои мысли. Необходимо было схватить его, остановить, поставить на место, привести мысли в порядок. Я вспомнила о времени и глянула на часы. Ого! Половина одиннадцатого! Ясно, что Сапунова уже не придет. А мне пора уходить — хорош случайный гость!



Я поднялась и стала прощаться. Самсоновна проводила меня в коридорчик, недоверчиво слушая мои заверения, что в гостинице тепло, топят и что ночевать у них мне не стоит — столько хлопот. И когда я была уже на самой нижней ступеньке, до меня вдруг донесли последние, впервые за весь вечер неуверенно-просительные слова Самсоновны:

— Завтра, ежели не уедешь, заходи на огонек к вечеру! Слышишь? Зайдешь?

Я вышла на улицу. Дождь, оказывается, перестал. В лужах было полно звезд. И я старалась шагать так, чтоб не наступить на звезду. Шла, глядя под ноги, когда меня неожиданно остановил чей-то голос:

— Ой, здравствуйте, товарищ корреспондент! Вы опять приехали? Как здорово!

Я всмотрелась. Да это же Сонечка — девушка из райкома комсомола. Та самая, что тогда в музее листала вместе со мной списки.

— Сонечка!

Я обрадовалась этой встрече. Так хотелось сейчас же, сию минуту рассказать хоть кому-то о том, что еще звучало внутри золотухинским говорком — про «выпить», про «Мопру» и «октябрины».

— Сонечка, с какой я сегодня женщиной познакомилась!

Я принялась рассказывать. И вдруг остановилась. Да что же это я? Сонечка ведь местная, и она же ее наверняка знает — Самсоновну.

— Как, вы говорите, ее фамилия? — деловито переспросила Сонечка. — Золотухина? Что-то я никогда этой фамилии не слышала. Ни в музее, нигде. Мы с директором музея всех старых большевиков перебрали. Она там не значится. Странно. А где она живет? Что? Строителей, 4, квартира 7? Да я сама в этом доме живу, только в другом подъезде. На втором, говорите, этаже? Ой, да это же Вальки Глушенкова бабушка! Я ж ее сколько раз на ла-

вочке у подъезда видела! Но откуда я могла узнать? Нигде не числится, ненагражденная.

— Она награжденная, премированная, — резко обрвала я. — Премированная прорезиновым плащом, — по слогам повторила я шаткую запись старенького «ундervуда».

Я не стала ничего объяснять Сонечке. Надо же, живет в соседнем подъезде и не знает!..

А я лучше? Я ведь тоже не нашла Самсоновны лишь потому, что искала по списку. Да разве только о Самсоновне речь, разве она одна? Все мы, к сожалению, немного такие Сонечки, но каждый из нас на свой манер. Ищем героя за тысячу верст и не знаем, что в соседнем доме...

Каждый из нас по-своему Сонечка по прозвищу «Три диоптрий, — очки протри». Ищем интересное за тысячу верст и не знаем того, что в соседнем доме...

— **М**асфия! Масфия! — обрубил цепочку моих воспоминаний голос. — Чай вскипел, будешь пить?

Это звала черноглазую библиотечаршу подружка, ушедшая кипятить чай в дежурку. Интересно, откуда у нее такое странное имя — Масфия! Весь вечер я собиралась спросить об этом, но было как-то неловко. Наконец, когда мы дружно уселись пить чай, я решилась.

— Почему у тебя такое странное имя — Масфия?

— Ничего странного, — ответила она. — Обычное татарское имя. У нас же село татарское. Торая. Старинное татарское село.

Татарское село на севере Иркутской области, да еще старинное. Откуда бы ему там взяться? Не знает ли девушка историю его? Откуда оно в Сибири?

— Бабушка рассказывала, — объяснила Масфия, — раньше они жили на Волге. Но когда бабушка была еще девочкой, был страшный, страшный голод, ну, и все село пошло переселяться в Сибирь. Целый год шли, пока дошли сюда. А здесь никого не было, земли сколько хочешь. И тогда остались здесь жить и сеять хлеб.

— А когда это было? Сколько лет сейчас бабушке?

— Да ей уже больше восьмидесяти. Девяносто, наверное, скоро будет, не знаю точно.

Больше восьмидесяти? Да ведь это, наверное, знаменитый голод в Поволжье 80-х годов, голод, о котором писал Короленко!

Надо же! Да зачем ей ждать агитпоезда? Собрала бы в избе-читальне стариков, таких, как ее бабушка, записала бы их рассказы о прошлом и о том, как менялась жизнь, вышла бы интересная история — и их села и частички революции. Но Масфия слушала меня недоуменно, со снисходительной улыбкой. Как, наверное бы, слушала я в 18 лет всякого, кто сказал бы, что мне нужно не лететь в Иркутск, а поехать к дяде на Большой Казенный.

Ну, в самом деле, кто будет слушать, да еще записывать рассказы ее бабушки, которая даже грамоте не училась? Что она, ветеран революции, что ли, или лично встречалась с Лениным, как та женщина, что приезжает с агитпоездом? Смешно!

Я не знала, как мне убедить Масфию. Я смотрела и смотрела на слово «морозобоина», перечеркнувшее блокнот. Видно, в этом нельзя убедить словами. В ранней юности человек всегда смотрит прежде всего вдаль и только потом понимает, что замечательное было рядом, близко, но он его не заметил... Слово Сонечка по прозвищу «Три диоптрий».

И в самом деле, почему человек не замечает того, что рядом?..

**Бонифатий
Кедров,**
академик

«МЫ ДИАЛЕКТИКУ УЧИЛИ НЕ ПО ГЕГЕЛЮ...»

(Из воспоминаний о 1920-м)



Фото 1920 года.

Мои рассказы будут о молодежи первых лет революции, молодежи, какой она мне запомнилась, и о журнале «Пламя», который стремился удовлетворить хотя бы отчасти ее духовные, мировоззренческие запросы. Конечно, советская молодежь тех лет в своей массе не могла еще читать Канта и Гегеля, да и «Анти-Дюринг» был для нее тогда непосильной задачей. И тем не менее глубочайшие философские вопросы волновали нас не меньше, чем вопросы о любви и браке. Свое мировоззрение молодежь тех лет выковывала в процессе осмысления реальных противоречий живой жизни, в острейших классовых битвах, на фронтах гражданской войны, но уж никак не путем заучивания диалектических формул по школьному или вузовскому учебнику.

«Мы диалектику учили не по Гегелю», — сказал поэт о тех годах. И, несмотря на это, а может быть, именно поэтому глубочайшая философия пронизывала собой первые шаги молодежи тех лет.

Этому помогали, в частности, статьи М. Чуносова, которые печатались в журнале «Пламя» в 1920 году, на философские темы. О них я буду говорить в этой статье. Но сначала мне хочется несколько слов сказать о «Свердловке».

В СТЕНАХ «СВЕРДЛОВКИ»

Статьи М. Чуносова мне запомнились, возможно, потому, что в то время в нашей стране публиковалось вообще очень мало философских работ. Я был слушателем шестимесячных курсов Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова («Свердловки») с начала февраля по конец августа 1920 года. Я был командирован туда секретарем редакции газеты «Правда» Марией Ильиничной Ульяновой (с ней я работал несколько месяцев перед тем в качестве ее технического помощника). В «Свердловке» я слушал лекции по философии, в том числе по вопросам диалектики, которые читал Бобинский на основном отделении университета (оно помещалось на Миусской площади, в здании, где сейчас находится Высшая партийная школа при ЦК КПСС). Другое

(параллельное) отделение помещалось на Малой Дмитровке — в здании нынешнего Театра Ленинского комсомола.

Когда я вспоминаю «Свердловку», перед моими глазами встает прежде всего большой зал бывшего университета имени Шанявского на Миусской площади. Зал гудит. Сюда съехались люди со всех концов молодой Советской страны, люди революции. Лица все молодые, голоса громкие. Тридцатилетние — их немного — выглядят здесь стариками. Уральцы и москвичи, питерцы и волжане, украинцы и сибиряки. Многие уральцы и сибиряки были в белых заячьих капелюшниках. Фронтвики выделялись буденовками и солдатскими шинелями. Было много девушек. Слышу вокруг себя разговоры:

— Вот раньше говорили: студенты. А мы курсанты. Это звучит по-новому — курсанты! По-настоящему революционно!

— А за сколько дней можно прочитать «Капитал»? Я когда-то пробовал начать, но не было времени.

— Интересно, а будет у нас выступать Ленин?

Да! Сколько интересного и важного придется узнать за полгода этим нескольким сотням молодых людей, которые, может быть, впервые в жизни станут знакомиться с теорией, с марксистским учением.

Первая лекция была внеплановая. Лектор рассказывал, как работать над книгой. На всю жизнь запомнились мне его слова: «Я семь раз прочел «Капитал» Маркса и каждый раз читал его как новую книгу».

Пока шла лекция, на кафедру сыпались записки, и к концу их выросла целая куча. Спрашивали буквально обо всем: о Вселенной, о боге, о классах, о любви, об архитектуре, о зарождении жизни, о буржуах, о коммунизме, о личности лектора — кто он?.. Как сейчас, я вижу растерянное лицо лектора и слышу его недоуменное замечание:

— Товарищи, да разве я смогу ответить на все эти вопросы? О них вы еще услышите здесь от других лекторов, а я только об одном должен был вам рассказать. Потерпите немного...

Но аудитория не хотела терпеть, она хотела узнать поскорее все, что ее волновало и интересовало, все, что живо касалось запросов молодежи тех лет. Но вскоре выяснилось, что лектор, прочитавший нам

первую лекцию, был прав: начались лекции по политической экономии (их читал И. И. Скворцов-Степанов), по истории всемирной и русской, по вопросам государства и права (читал Брауде), по истории рабочего движения (читал Мархлевский) и по многим другим предметам. И свердловцы с головой ушли в трудное дело теоретической учебы. Помню такой эпизод: во время одной лекции, кажется, читал ее Феликс Кон, зашла речь о том, что такое товар. Лектор спросил кого-то из слушателей и получил ответ:

— Товар, ну, это, например, мануфактура или, скажем, москательный товар.

Лектор рассердился, сказал, что это неверно. Затем он спросил об этом второго слушателя. Тот недоумевал и решил, что надо назвать какие-то другие предметы торговли — чай, сахар, крупу, муку.

Лектор снова сердито отверг неверный ответ и стал спрашивать уже всех подряд. Одни называли отдельные предметы торговли — лес, одежду и т. д., другие — их было большинство — говорили коротко: не знаю. Я в ответ просто помотал головой. Но вот, наконец, очередь дошла до худощавого юноши в военной форме. Я узнал потом его фамилию: Мендельсон. Он встал и глуховатым голосом коротко сказал:

— Товар — это не вещь, а отношение.

— Ну наконец-то! — облегченно воскликнул лектор, спросивший до этого человек тридцать.

Потом я занимался с Мендельсоном в семинаре по политической экономии вместе с А. Поповым, сыном писателя А. Серафимовича. Руководил этим семинаром Александр Кон, руководил очень живо и интересно. Выступления Мендельсона были всегда содержательными, лаконичными, лишенными всякой «воды». Мне пришлось слушать Мендельсона еще раз в разгар лета того же 1920 года на летучем митинге перед отправкой свердловцев на врангелевский фронт. Он говорил от имени уезжавших на фронт добровольцев — так же лаконично и тем же глуховатым голосом, по привычке облизывая время от времени сухие губы. Потом я встречал его в Институте экономики Академии наук СССР, где он бывал: он стал крупным ученым-экономистом. Но до сих пор его короткий ответ — всего несколько слов! — «товар — это не вещь, а отношение» — звучит в моих ушах. Он запомнился мне, как и многим свердловцам, я думаю, на всю жизнь — ведь это была первая научная абстракция, так своеобразно преподнесенная нам: «...не вещь, а отношение». Потом уже легче воспринимались нами такие, например, положения, что стоимость лишена вещества чувственности, что законы движения небесных тел не написаны на небе.

Вообще же абстрактные категории воспринимались нами куда труднее конкретных, скажем, исторических фактов, не говоря уже о материалах лекций и занятий по вопросам партийной и советской работы. Но именно трудность понимания абстракций и привлекала наше внимание. Это особенно касалось философии. Поначалу она казалась нам чем-то отвлеченным и утонченным, таким возвышенным, что заниматься ею в состоянии были, как нам казалось, не юнцы, подобные нам, а убежденные сединой старцы — мудрецы. Ведь и перевод слова «философия» с греческого языка, как мы узнали, означал «любомудрие». А какая любовь к мудрости может быть в 18—20 лет? И все же хоть и издалека, но к философии мы приближались.

Философских вопросов касались в своих лекциях многие лекторы, и среди них особенно В. П. Волгин, читавший историю социалистических учений, В. И. Невский (ректор «Свердловки»), излагавший историю партии и в связи с этим историю философской борьбы против махистской ревизии, Д. Рязанов, чи-

тавший мировую историю, и М. Н. Покровский, читавший русскую историю; философию затрагивали также и те, кто читал курсы по естествознанию, — Понятский, а также А. К. Тимирязев (физика) и Я. С. Пржеборовский (химия). Философских вопросов коснулся в своей лекции, прочитанной у нас, и М. Горький, причем в этой лекции я впервые услышал об атомной энергии и ее необъятных источниках. Как сейчас вижу, Горький показал нам старую царскую монету и спросил, по обыкновению сильно окая:

— А знаете ли вы, сколько в ней заключено энергии? Не знаете? Вот если бы удалось ее всю получить, то большой товарный состав груженных вагонов можно было бы прогнать вокруг Земли. Вот оно что!

С тех пор, когда мне приходится выступать с популярными лекциями по философским вопросам современного естествознания, я всегда вспоминаю о том, как Горький сумел довести до сознания слушателей «Свердловки» так просто и доходчиво вопрос об атомной энергии, о которой тогда почти никто ничего не знал. Ведь это было всего год спустя после открытия искусственного превращения элементов, осуществленного Резерфордом летом 1919 года.

Особенно много уделял внимания философии А. В. Луначарский в лекциях по истории культуры.

Вот почему статьи, помещенные в журнале «Пламя» на философские темы и вообще носящие мировоззренческий характер, нас, слушателей «Свердловки», очень интересовали тогда. Весь этот материал исключительно интересен для характеристики той эпохи вообще и в особенности состояния философской мысли в первые годы после Октябрьской революции (до создания журнала «Под знаменем марксизма» в начале 1922 года).

Вот и сегодня, перелистывая страницы журнала «Пламя» и вспоминая первые послеоктябрьские годы и духовную жизнь Москвы того времени, я представил себя шестнадцатилетним юнцом, который жадно впитывает в себя все, что он слышит и видит вокруг себя, в том числе и по философским вопросам. Мне вспомнилось, как Бобинский в одной из своих лекций говорит о том, в чем различаются вопросы «зачем?» и вопрос «почему?». Мы можем, говорит он, объяснить, почему на спине у фрака пришиваются две пуговицы. Это потому, что раньше на них застегивались концы обеих фалд. Потом они перестали застегиваться, а пуговицы остались. Но нельзя ответить, зачем они тут пришиты. Я часто вспоминаю этот несколько наивный пример, когда речь идет о столкновении между телеологическим и каузальным подходами в науке, то есть: когда в первом случае вопрос ставится о цели, а во втором — о причине явлений. Вся не столь отдаленная дискуссия в биологии как раз и велась некоторыми ее участниками с позиций «зачем?» (с позиций неоламаркизма — механо- и психоламаркизма) против позиции «почему?», которую защищали дарвинисты, а также представители научной генетики.

Из занятий по практическим вопросам партийной и советской работы мне особенно хочется отметить лекции комсомольских руководителей тех лет. Лазарь Шацкин, высокий, совсем еще мальчик, читал о международном революционном движении молодежи; Оскар Рывкин, нервный, постоянно размахивавший руками, рассказывал о работе с советской молодежью, о комсомоле; Николай Чаплин, серьезный, уравновешенный, говорил о задачах, связанных с учебной молодежью, — ведь это было всего несколько месяцев до III съезда комсомола и до выступления на этом съезде В. И. Ленина.

Выступления Ленина мне пришлось слушать в 1920 году два раза. Один раз — по вопросу о работе в деревне (на Всероссийском совещании в Колонном зале), другой раз — на открытии Второго Конгресса Коминтерна (в Петрограде, в большом зале Таврического дворца). Как это случилось? Сначала я хотел готовиться к работе в области печати, как и обещал Марии Ильиничне, когда поступал в «Свердловку». Но под влиянием лекций В. И. Невского, который руководил в «Свердловке» секцией по работе в деревне, я увлекся этой работой, ездил по деревням Московской губернии и вел там агитацию и пропаганду. Всю свою секцию Невский привел на совещание по работе в деревне, где выступил Ленин.

В Петроград же на Конгресс Коминтерна мы поехали вдвоем с И. Ф. Богдановым, комсомольцем из-под Петрограда. Богданов, как и я, занимался работой в деревне, и мы с ним подружились. Впоследствии он стал, как и я, химиком и работал в Институте органической химии Академии наук СССР. На открытие Конгресса нам удалось попасть с большим трудом. Речь Ленина и вся обстановка на Конгрессе произвели незабываемое, потрясающее впечатление. Недавно в архивах кинофонда были обнаружены ленты кинохроники событий дня открытия Конгресса (19 июля 1920 года). Часть этих лент вошла в хроникальный киночерк «Один день из бессмертия». С понятным волнением я просмотрел его и вдруг увидел на экране в колонне демонстрантов Н. И. Подвойского, рядом с которым я тогда шел...

К сожалению, выступления Ленина на III съезде комсомола мне услышать не удалось: еще в августе 1920 года я уехал добровольцем на польский фронт.

...Целых полвека прошло с тех пор. Но как ярко встают сегодня передо мной картины того времени, стены «Свердловки» 1920 года, снова оживают молодые лица, и слышатся звонкие голоса тех, из которых почти никого не осталось теперь в живых¹.

ЗАБЫТЫЙ ФИЛОСОФ

Легко понять, какой большой интерес у нас, свердловцев, вызывали философские статьи в журнале «Пламя», подписанные «М. Чуносков» или инициалами «М. Ч.». Они были написаны доходчиво, лишены всякой нарочитой заумности, которой невыгодно отличаются статьи некоторых современных философов-профессионалов. Полвека назад статьи на эти темы писались для народа, а не для узкого круга специалистов, кичащихся замысловатой терминологией.

Философские статьи М. Чуноскова, помещенные в 1920 году на страницах «Пламени», были весьма разнообразны по тематике. Вот передо мною № 4, в котором помещена его статья «Нищета философии и Маркс», где освещается критика Марксом взглядов Прудона. В № 6 — его же статья «Религия рабов», в которой автор пытается, на мой взгляд, неосновательно критиковать положение Энгельса о том, что общность имущества у ранних христиан была необходима сплоченной жизни для людей, гонимых законом, а не одним только прояв-

лением высокого понятия о равенстве. В № 10 тот же автор печатает статью «Фантазия Чернышевского», в которой критически оценивает воззрения великого русского революционного демократа. В № 12 помещена интересная статья М. Чуноскова «Маркс и печать», носившая полубиографический характер.

Особенно интересна его большая статья «В. И. Ульянов (В. Ленин) (к 3-летней годовщине Октябрьской революции)», помещенная в № 17—18 с портретом Ленина. Это один из первых опытов научной биографии Ленина с освещением вопросов, касающихся его теоретической, научной деятельности. В статье имеются неточности, но надо помнить об обстановке, когда она писалась: ведь тогда не было Института марксизма-ленинизма, который сейчас ведет огромную систематическую работу по всем вопросам, касающимся жизни и деятельности Ленина. Но очень странно, что М. Чуносков, будучи сам философом, ни словом не упомянул о главной философской работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», второе издание которой вышло незадолго до его статьи (книга Ленина вышла в сентябре, а статья о Ленине напечатана была в ноябре 1920 года). Говоря о годах реакции после поражения русской революции 1905 года, автор писал: «Ни меньшевики, ни эмигранты разных революционных цветов не сочувствовали им (большевикам.—Б. К.). Все были уверены, что революции рабочих больше никогда не будет. Верил только один Ленин да несколько его товарищей. Он засел снова за изучение марксизма, и в своих сочинениях твердо защищал исторический материализм». А где же философский материализм?

Любопытна маленькая заметка М. Чуноскова «Грибеник и вечность» (№ 15), в которой в виде диалога между беспартийным и коммунистом освещаются вопросы, связанные с денежным обращением и усиливающейся инфляцией. К форме диалога тот же автор прибег и в другой своей статье — «Диалог о диалектике» (№ 9), которая показывает, как пропагандировалась тогда диалектика на страницах научно-литературного журнала. Стоит привести ее целиком, хотя в ней несколько упрощенно (но по своему страстно излагается предмет диалектики).

«ДИАЛОГ О ДИАЛЕКТИКЕ»

— Люди, задолго до того, как узнали, что такое проза, уже говорили прозой...

— Что хочет сказать этим учитель?

— Хочу сказать, что самые сложные и лишь в наше время осознанные понятия и представления уже существовали раньше; а только и умнейшие из людей не умели их формулировать.

— Например?

— Например, Руссо, не зная, что такое диалектический процесс развития, все же в своем знаменитом учении о равенстве, за двадцать лет до рождения Гегеля, дал превосходный образчик диалектики поступательного движения человеческого общества, хотя и остался на почве утопического романтизма; но это уже из другой оперы.

— Учитель! Я рабочий, учился в городской школе и многого не знаю. Было бы стыдно, если бы я притворился, будто мне ясно то, о чем вы говорите. Что такое, скажем, диалектический процесс? Маркс в своих сочинениях, которые мне удавалось читать на русском языке, часто говорит об этой самой диалектике, а у меня, должно быть, не хватает понимания... И Маркс мне, поэтому, далеко не всегда доступен. Вы уж не обессудьте меня, учитель, за отк-

венность... Как напорюсь на отрицание отрицания— и стоп, машина!

— Послушайте, товарищ, я как раз тут и хотел прийти вам на помощь. Отрицание отрицания чрезвычайно простая, хотя и глубокая штука, если так можно выразиться—и не усвоив себе хорошенько значения и смысла «отрицания отрицания», нельзя понять ни истории, как должны понимать ее разумные люди, ни марксизма... Начну с яйца...

— Весь внимание, учитель.

— Когда курица снесет яйцо, что она делает с ним?

— Высиживает.

— А зачем?

— Чтобы цыпленок выклевался из яйца.

— Вы улыбаетесь... Но цыпленок уже и есть отрицание яйца. Из яйца развился цыпленок, путем отрицания яйца. Но ведь потом из цыпленка разовьется курица, которая в свою очередь представляет собой отрицание цыпленка. Таково отрицание отрицания в его простейшем виде. Яйца курицу не учат, но они учат кое-чему вдумчивого человека. Вы спросите теперь, а какое же отношение имеет к этому марксизм? Подождите. Дойдем. Точно так же, как яйцо, любое семя, развиваясь, отрицает свою первоначальную оболочку, пускает ростки, которые превращаются, путем отрицания, в листья, в корень, в стебель, в цветы, в плоды, растрескавшись или сгнивши, дают опять семена; может быть, если за ними есть уход (то, что называется культурой), более совершенные, т. е. своим совершенством еще раз отрицающие предшествующую им ступень их наследственного развития, но тесно, или, так сказать, исторически с нею связанные.

— Начинаю понимать!

— Дело не хитрое. Вы у Энгельса, гениального сотрудника и друга Маркса, когда-нибудь познакомившись с его превосходными и остроумными сочинениями, найдете более пространные и убедительные разъяснения диалектического процесса примерами из геологии, т. е. истории земли, из геометрии, из алгебры и других областей знания. Надо вам, однако, не смущаться. Нехитрое дело, а все же такая сильная голова, как философ Дюринг, не мог усвоить себе, что такое отрицание отрицания; отца диалектики, великого Гегеля изругал на чем свет стоит, а все-таки не постиг. И Маркса с досады обругал. Зато и досталось же ему от Энгельса! С тех пор погасла звезда этого, на шумевшего когда-то в Берлине, философа. Не лучше дело обстоит с другим замечательным мыслителем, французским социалистом Прудоном. Он и не прочь был применить к социализму диалектический метод рассуждения, да не справился, тоже не понял диалектического процесса. Ему влетело от самого Маркса. И тоже погас Прудон.

— А как влетело?

— Об этом прочитайте в книге Маркса «Нищета философии». Только не будем слишком отдаляться от нашей темы. Впрочем в «Нищете философии» есть строки, непосредственно интересующие нас. Никогда не вредно вспомнить, кстати, слова учителя всего современного человечества. Вот как Маркс, поучая Прудона, касается, между прочим, диалектического процесса исторического развития общества. По Марксу, буржуазия, выступая на сцену, уже несет в себе зерно самоотрицания, более или менее замаскированное, так как в недрах ее (т. е. в недрах общества. — Б. К.) уже создается пролетариат. Мало-помалу антагонизм между буржуазией и развивающимся пролетариатом обостряется — становится ярче, созревает, наконец, до полного разрыва, до отрицания отрицания, и пролетариат, здоровый, юный и победоносный,

захватывает историческую авансцену, а буржуазия частью отживает, отмирает, частью растворяется в новой волне, как когда-то частью растворился в буржуазном потоке феодальный помещичий мир, частью погиб и похоронен на кладбище истории. Не привожу целиком страниц из книги Маркса, а передаю только в сжатом изложении его мысль... Но, надеюсь, вы поняли, товарищ?

— Понял, учитель. Но хотелось бы еще послушать об истории, — об этом, то есть процессе диалектическом, значит... примерно, как что начинается и к чему...

— А начинается в культурных странах — с тех пор, как человек бросил кочевую жизнь — с общинной собственности на землю. Но общинная собственность, с течением времени, становится в тягость людям — отрицает себя — и тогда мало-помалу — или где и сразу отменяется и превращается в частную собственность. Вдруг — расцветает земля и собственники богатеют. Но и частной собственности положен срок: не вечная она, хотя собственники и передают ее друг другу в вечное и потомственное владение — на словах и на бумаге. Производство начинает хиреть — во всех хозяйствах. Начинает отрицать себя частная собственность. Была она отрицанием первобытной общинной собственности, а теперь отрицает себя во имя чего-то другого — какой-то иной собственности — не общинной и не поместной, а общественной. Возникает, путем отрицания, общественная собственность, высшая, более отвечающая человеческому достоинству, собственность, где производство делается совершенно свободным и опирается всецело на научные открытия и технические изобретения, применяемые в широком общегосударственном масштабе...

— Яснее ясно! Вот она, штука-то, диалектика! А и русский пролетариат, следовательно, в своей борьбе с буржуазией шел тем же верным путем... пока не победил...

— Не только верным, но и неизбежным. Сама история толкает его. Процесс исторического развития... Так что, возвращаясь, в заключение, к Руссо и его учению о равенстве. Равенство это было вначале — пока люди жили как животные; но когда они стали совершенствоваться, открыли огонь и изобрели рычаг, способности их и дарования разделили их, и началось между ними неравенство. Это был прогресс, но он был вместе и регрессом, т. е. в нем уже лежало зерно антагонизма, отрицания: человек совершенствовался, а человечество отставало. Народы создали себе князей для охраны своей свободы, а князья стали их угнетателями и опять сделали всех людей и равными перед собой, т. е. ничем, и поданные считались их рабами. Опять, значит, отрицание отрицания. Но рабы восстали — насилие совершилось над насилием — они отвергнули деспота и еще раз провозгласили равенство, но уже высшее равенство — равенство «общественного договора». Тут нет еще марксизма, но есть диалектический способ рассуждения, которым пользовался Маркс, унаследовав его от Гегеля и претворив его в своей гениальной голове в победоносное оружие в боях с буржуазной идеологией и для построения новой разумной науки социализма.

М. Чуновсов.

Так полвека назад совершенно забытый теперь философ пропагандировал диалектику и делал это, надо признать, по-своему талантливо.

Перечитав этот «Диалог», я мысленно вернулся к первым годам Советского государства, когда многим из нас приходилось учить диалектику действительно «не по Гегелю».



Вячеслав Маркин

ЧТО НАМ ДО ЛЬДА, ЧТО ЛЬДУ ДО НАС?



БЕЛЫЕ ПЯТНА ПЛАНЕТЫ

Географическая карта многоцветна: голубые океаны, зеленые низменности, бурые горы, желтые пустыни. И среди них — белые пятна; очень много маленьких — они как брызги среди гор — и два больших: на месте Гренландии и Антарктиды. Белой краской показаны на карте скопления льда на поверхности нашей планеты. Это ледники. Их множество. Почти все они имеют свои названия: ледники Иньлячек и Маляспина, Лунный и Голубой, Ленина и Моцарта, Октябрьской революции и Четырнадцатого июля — десятки тысяч различных названий. 16 миллионов квадратных километров занимают ледники на поверхности нашей планеты — 11 процентов всей площади суши.

Житель умеренных широт видит зелень и золото лесов, синеву озер, темные речные омуты вроде бы чаще, чем блеск отполированного ветром льда. Но снег на полях и в лесах Подмосковья держится не меньше пяти месяцев, ледоход запаздывает иногда до мая, а отдельные снегопады могут случаться уже в сентябре. Нечего и говорить о Сибири, Севере и горных районах. Там снег и лед — определяющие черты лика природы.

В 30 квадрильонах тонн льда, существующего на Земле постоянно, заключено около двух процентов всей воды Земли, $\frac{2}{3}$ всей пресной воды. Это в 46 раз больше объема атмосферных осадков, выпадающих за год на всей Земле.

Нельзя сказать, что эта в камень обратившаяся вода навсегда изъята из всепланетного влагооборота. Это только временная изоляция, но на срок, который иной раз исчисляется многими тысячелетиями.

Ежегодно каждую зиму происходит и «малая консервация» воды — в снежном покрове, образующемся на поверхности всех континентов и многих морей, на площади порядка 120 миллионов квадратных кило-

метров. Это немногим меньше, чем площадь всех земных материков, вместе взятых.

К концу зимы северного полушария Земля несет на своих плечах тяжесть свыше 13 триллионов тонн снега. Если к этому добавить ледники, то получится, что вес льдов и снегов нашей планеты вшестеро больше веса всей ее атмосферы.

ГЛЯЦИОЛОГИ

Хемингуэвский леопард ушел умирать к ледниковой шапке Килиманджаро. А жить? Можно ли жить на ледниках?

Некоторых животных называют «снежными» — снежный барс, снежный баран, снежный гриф... Но эти высокогорные животные бывают на ледниках лишь «транзитом». Для человека же и по давню ледниковый ландшафт чужд.

На ледниках ничего не растет, в их глубинах нет полезных ископаемых. Здесь хозяйничают только ветер, снег и мороз. Что делать здесь человеку? Вроде бы нечего.

Однако среди тех, кто каждое лето покидает шумные города, отправляясь в отдаленнейшие уголки страны исследовать ее природу, есть и люди, стремящиеся именно на ледники. Это гляциологи, исследователи белых пятен ледников на теле планеты. Они служат науке, называемой гляциологией. Им приходится работать и жить на ледниках.

Гляциологи считают, что лед и снег занимают особое, исключительное место на Земле, да и не только на ней. Поэтому нельзя обходить ледники стороной. В Советском Союзе более двадцати тысяч ледников. На каждого специалиста-гляциолога приходится их больше, чем по сотне. Впрочем, гляциологи не забывают о том, что Игорь Васильевич Курчатов начал свой путь на передний край науки с изучения снега,

и они надеются, что их ряды будут пополняться.

Не холодное ли дыхание ледников заставило нашего рожденного в тропическом тепле предка «взяться за ум» — научиться добывать огонь и одеваться и таким путем вернуть утраченное было тепловое равновесие с окружающей средой? Не испытание ли холодом способствовало революционному скачку в развитии разума? Не лед ли помог человеку пересоздать себя трудом, стать человеком?

Гляциологов же влечет к ледникам неистребимая у человечества жажда познания.

КАК РАБОТАЮТ ГЛЯЦИОЛОГИ

Во многом так же, как и другие экспедиционные работники — геологи, топографы, географы. Но у гляциологов есть и своя специфика.

В экспедицию на ледники готовятся тщательнее: с собой нужно брать решительно все — от продуктов до теплой одежды, причем многое в «запас»: ведь возможны длительные задержки из-за метелей или туманов.

Находясь «в поле», то есть на леднике, гляциологи должны постоянно быть готовыми к любой неожиданности. Это может быть лавина, снежный шторм, камнепад, туман, ледниковая трещина...

Программу наблюдений необходимо выполнять, несмотря на все эти помехи. А какова эта программа? Обычно она очень сложна, включает в себя и измерения по десятку-другому различных приборов, бурение льда вручную на глубину до двадцати — тридцати метров с измерением температур на разных уровнях, снежные шурфы глубиной в десять — двадцать, а порой и сто метров, снегомерные съемки на маршрутах иногда в сотни километров, и многое другое.

У гляциологов Института географии Академии наук СССР есть два памятных места. В экспедиции, работавшей в 1959 году по программе Международного геофизического года на Новой Земле, погиб молодой ученый Олег Яблонский, провалившийся в трещину в верховьях ледника Шокальского. Только через десять дней было найдено его тело. На берегу Русской гавани остался обелиск.

Другой памятник стоит у подножия седого Казбека. В 1968 году казбекский ледник Гергети отнял жизнь у гляциолога Бориса Кутнего. Он делал свою обычную работу — измерял мощность снега по рейкам. Одна рейка стояла немного в стороне, и Кутний пошел к ней, оставив у соседней рейки лыжи и штормовку. Трещина была незаметна под снегом: непрочный снежный мост скрывал под собой тридцать метров пустоты.

Кто-то сказал, что пройти по леднику через зону трещин — это все равно, что выиграть партию в шахматы. Да, трудно найти пути среди трещин. Но иногда «игра» ведется вслепую, и приз в ней — жизнь, единственная у каждого. Люди знают об этом и все же идут на ледники. Видно, именно потому и идут, что жизнь только одна.

НЕ СЛУЧАЙНЫЙ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Впредыстории человечества мощный ледниковый щит покрывал половину Европы и огромные пространства в Азии и Америке, где доходил до широты вечно теплой теперь Гаваны. Общий объем материкового льда в те времена превышал современный в три раза. Наступившее потом потепление кли-

мата «освободило» из ледяного плена столько воды, что уровень Мирового океана повысился на 200 метров. Всего около 12 тысяч лет назад ушел ледник с Карельского перешейка...

Много льда растаяло, но много его и осталось. И не случайно одна из научно-популярных книг, появившихся совсем недавно, книга гляциолога В. М. Котлякова, озаглавлена «Мы живем в ледниковый период?».

Да, вопросительный знак в конце этого заглавия свидетельствует о том, что ученым еще не ясно, кончился ледниковый период или еще продолжается и разорван лишь этапом некоторого относительного потепления.

Нельзя сказать, что современные нам ледники ведут себя совсем пассивно. Иногда они заявляют о своем существовании весьма решительно. В апреле 1963 года ледник Медвежий на Памире увеличил вдвое скорость своего движения в двести раз, продвинулся за месяц на два километра, разрушил здание электростанции поселка геологов, мосты, дороги, подпрудил две горных речки. Потоки воды, льда, камней снесли потом весь поселок. Только к концу сентября ледник остановился.

Подобные внезапные быстрые продвижения ледников случались и прежде. Но они ускользали от внимания ученых. На Медвежем впервые в нашей стране процесс «ледникового прыжка» был подвергнут детальному изучению. Сразу же гляциологи обратили внимание на то, что в верхней части ледника, там, где идет из года в год накопление снега и преобразование его в лед, поверхность льда резко пони-



...Много льда растаяло, но много его и осталось. Бурение позволяет проникнуть в недра ледника.

лась. Ледяная масса как бы соскользнула в долину, а там, в нижней части ледника, лед оказался вспученным; он весь был разбит на отдельные глыбы прямоугольной формы. По-видимому, толчок к движению ледник получил, когда масса накопившегося в его верхней части вещества превысила какую-то критическую величину. Это гипотеза. Чтобы полностью разгадать тайну атаки ледника Медвежьего, необходимо провести за ним многолетние наблюдения — желательно до следующего его прорыва, который, как полагают, повторится лет через десять.

Но, пока группа исследователей Медвежьего ждет проявления с его стороны признаков новой активности, пришло сообщение о другой ледниковой катастрофе — на этот раз с Кавказа, из Северной Осетии.

Совсем недавно, в ноябре 1969 года, перешел в наступление один из ледников Казбека — Колка. Два студента-туриста рассказали, что видели, как внезапно из-за поворота долины показался конец ледника. «Родился ледник...» — так озаглавлена была заметка в местной газете.

Гляциологи выехали немедленно — с той же быстротой, с какой прибывают следователи на место преступления. Их экспертиза подтвердила факт необычайно быстрого продвижения ледника. Небольшой ледник, в три километра длиной, за месяц удлинился на четыре с половиной километра. Он как бы вышел из самого себя. Естественно, что и «облика ледникового» на нем, можно сказать, уже не было. Вместо монолитного тела, какое представлял его язык совсем еще недавно, по долине двигалось хаотическое нагромождение перемолотой ледяной массы. Раскрывшись, ледник вобрал в себя много воздуха, стал рыхлым. Оттого и смог он так удлиниться.

Те, кто видел Медвежий в пору его быстрого движения, говорят, что его кавказский союзник очень похож на него. А теперь мы знаем, что точно такой же вид принимают время от времени десятки, а может быть, и сотни ледников на Земле. Эти ледники периодически переходят в стремительное наступление, а потом отступают. Они «пульсируют».

Неожиданные подвижки обоих наших ледников вызвали к себе внимание не только гляциологов. Создавались специальные комиссии, созывались совещания плановых и хозяйственных учреждений — все это с участием гляциологов. Ведь продвинувшиеся ледники угрожали нанесением большого ущерба народному хозяйству.

От гляциологов ждут объяснения причин катастрофы, разработки мероприятий по ее предотвращению и, главное, прогноза подобных резких нарушений установившегося режима на других ледниках.

Таким образом, перед гляциологией — наукой, которая долгое время числилась среди наук, далеких от практики, — поставлена непосредственная практическая задача. Но решить ее без глубокого понимания природы ледников и процессов, в них происходящих, она не смогла бы.

Ответить на вопрос, как могла случиться великая ледниковая «оккупация» Европы, Азии и Америки в период истории Земли, справедливо именуемый ледниковой эпохой, можно, только детально изучив повадки кажущихся на первый взгляд смиренными современных ледников. Трудно переоценить также возможности, предоставляемые грандиозными ледниковыми покровами Антарктиды и Гренландии. Это готовые макеты древнего ледникового покрова почти в натуральную величину. Край гренландского ледяного щита и сейчас еще находится на географической широте Ленинграда. И он, по-видимому, останется там не одну сотню лет.

УНИКАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛ ВСЕЛЕННОЙ

Великолепны коллекции минералогических музеев. Но во всех них отсутствует один очень широко распространенный на Земле кристаллический минерал. Он возникает и существует в твердой, застывшей форме только при строго определенных условиях температуры и давления, так же, впрочем, как и

другие твердые минералы. Однако особенность этого минерала в том, что он становится жидким при температуре всего 0° по шкале Цельсия. Поэтому-то его и нет в экспозициях минералогических музеев.

Это лед. Обыкновенный лед, самый легкий из минералов, встречающихся на поверхности нашей планеты в твердом виде.

Ледники образуются из снега, белого снега, выпадающего из атмосферы, перевеваемого ветрами штормов и метелей. В тихую погоду снежинки ложатся рыхлым слоем, еле касаясь друг друга своими мохнатыми лапками. Сильный ветер ломает звездочки снежинок, и такой «снежный лом» «укладывается» ветром гораздо плотнее, хотя «промежутков», заполненных воздухом, в таком снегу достаточно много.

Проходят годы, столетия. Снег, отложившийся когда-то на поверхности, уходит вглубь, под слой нового снега. По мере погружения снега растет давление вышележащей толщи. Под действием ее тяжести снежинки все больше и больше сближаются, спрессовываются; вытесняется воздух, заполнявший пустоты. Снег становится однороднее по составу, а потому и прозрачнее. Он изменяет свой первоначальный облик — оборачивается льдом.

Молодой лед, еще недавно получившийся из снега, на цвет белесый, мутный от обилия заключенных в него пузырьков воздуха. Внутреннее давление в этих пузырьках растет пропорционально глубине и часто становится столь большим, что, когда лед снова оказывается вблизи поверхности, стенки пузырьков не выдерживают и со взрывом воздух освобождается из своего «заклучения», подчас тысячелетнего.

С возрастом лед становится прозрачнее. Но и тогда в большой массе он кажется зеленоватым или голубоватым. Правда, голубое «тело» льда можно увидеть лишь, когда ледник сбросит с себя белый снежный плащ, укутывающий его в течение большей части года.

Лед может быть и черным, почти не отличимым от каменной скалы, когда он насыщен включениями валунов, щебенки, мелкосемя — тем, что называется моренным материалом.

Итак, лед бывает белым, голубым, черным... Но гляциологи часто видят лед в виде разноцветной мозаики, которая отражает внутреннее строение льда. Эту удивительную картину можно наблюдать, вооружив глаз очень простым приспособлением — двумя поляроидами.

Кристаллы льда ориентированы по-разному относительно светового потока, поэтому они получают различную окраску в поле интерференции света, создаваемом поляроидами. Окрашенные кристаллы становятся видимыми. Теперь можно определить их размеры, их форму, их взаимное расположение.

Строение льда говорит о том, что он тело кристаллическое и поэтому является чем-то совершенно противоположным воде — своей «матери» и «дочери» одновременно. Вода, как известно, аморфна; ее молекулы не зажаты железной диктатурой кристаллизации; она может позволить себе свободно литься под влиянием всевозможных сил, какие только могут на нее воздействовать. Она легко подвластна и ветру, и силе тяжести, и воле человека, заставляющего ее течь в нужном ему направлении...

Лед не жидкость, а скорее камень, обладающий, однако, пластичностью и способностью к самопроизвольному движению. Как только скопление льда приобретает эту способность, он становится ледником. Все ледники движутся. Скорость движения их зависит от интенсивности накопления снега в верховьях ледяного потока и таяния льда в нижней его части, от мощности ледника и уклона его долины, от тем-

пературы льда. Когда меняются условия жизни ледника, меняется скорость его движения.

Итак, лед — совершенно уникальная, состоящая из одного минерала кристаллическая порода, способная к процессам обмена с окружающей средой и к движению. На этом основании первые гляциологи совсем еще недавно, всего лет двести назад, полагали, что ледники — это живые организмы. Страшными живыми чудовищами, пожирающими людей, считали их и жители гор Средней Азии.

Удивительно, что ледник, враждебный всему живому, порождает воду, одно из самых необходимых условий жизни. Умирая, лед становится живой водой. Вода, умирая, обращается в лед. Смерть рождает жизнь. Отличный пример, подтверждающий истинность диалектического положения о единстве противоположностей!

Лед на нашей планете занимает видное место. Не менее важная роль отведена ему и вообще во Вселенной.

По всей вероятности, лед есть на Марсе, поскольку средняя температура этой планеты, по последним данным, составляет минут 30°C . Предполагают, что ледяной покров Марса одевает всю планету слоем от пятисот метров до двух километров и что он только сверху присыпан красноватой пылью. Видимо, скоро уже будет проверена гипотеза о глубинном льде Луны. А потом дойдет очередь и до Юпитера, ледяной покров которого, вероятно, грандиозен, хотя образовать его могут в основном некислородные соединения водорода, например, аммиак. Возможно, что мощность ледяного панциря планеты-гиганта составляет 25 тысяч километров.

Есть все основания полагать, что лед во Вселенной присутствует в больших количествах и что на Земле мы встречаемся с островками единого для всей Галактики оледенения.

С грандиозным феноменом льда лицом к лицу встречается на леднике гляциолог, знающий и про опасность, окружающие его. На леднике он чувствует себя наедине с великой и таинственной природой, ощущает себя ее частичкой и в известных пределах ее властелином. Ты ведь самое совершенное создание природы, ты можешь познать ее законы и даже научиться воздействовать на явления природы, заставляя их служить своим целям!

ПРЕДЕЛЫ ВЛАСТИ ЧЕЛОВЕКА

Недостаток воды уже начинает ощущаться не только в издавна засушливых районах. Многие большие города всерьез обеспокоены проблемой пресной воды. Ряд новых отраслей промышленного производства остро нуждается в особо чистой пресной воде. Такую воду трудно раздобыть даже в пресноводных водоемах и реках. Источником своеобразного «сырья» для промышленности может стать исключенная из влагооборота вода ледников, сохраняющая необыкновенную химическую чистоту — всего от 1 до 3 миллиграммов солей на килограмм льда.

Ледники — кладовые воды и холода. Первое сейчас кажется несомненно более важным для человечества. «Отпереть кладовые воды!» — такой призыв можно услышать там, где воды не хватает.

«Отпереть кладовые воды!» Вопрос о том, что произойдет с ледниками, если начать интенсивную эксплуатацию их водных запасов, долгое время и не возникал. Осознав полезность ледников, люди были готовы истребить их с такой же наивной безжалост-

ностью, с какой на заре своей истории сжигали леса, чтобы расчистить место для посевов. Но, к счастью, ледники долго оставались недоступными.

В недавно изданном в Осло описании норвежских ледников глава о каждом леднике заканчивалась разделом «Экспорт льда». И действительно, в Норвегии долго существовала такая статья государственного торгового баланса. Страна вывозила лед своих ледников. В 1906 году, например, Норвегия продала за границу 495 тысяч тонн льда на сумму более полутора миллионов крон.

Во второй половине XX века человечество стало могущественнее и, конечно, умнее. Теперь считают, что нет смысла разрабатывать лед ледников подобно другим месторождениям полезных ископаемых. Но в то же время ученых привлекала проблема искусственного усиления таяния ледников. Зачем взламывать кладовые воды, если можно заставить ледники как бы добровольно отдавать людям воду?

Дело в том, что трудно найти другой природный объект, который зависел бы от погоды так же, как ледник. Для него, созданного снежной стужей, губительна погода теплая, солнечная, летняя. Но и летом погода на леднике меняется в чрезвычайно широких пределах. Благодаря этим частым переменам объема талой воды, которую «производит» ледник при благоприятных и неблагоприятных для таяния условиях, различаются в несколько раз.

Эту «неустойчивость» ледника по отношению к погоде можно использовать. Пока мы не в состоянии создавать над ледниками ту погоду, которая особенно способствует таянию льда, но мы можем воздействовать на способность поверхности ледника воспринимать энергию солнечной радиации в большей или меньшей степени. Все зависит от альбеда. Этот термин латинского происхождения (albedo — белизна) применяется для обозначения величины, характеризующей степень отражения поверхностью солнечной энергии и показывающей, какую часть поступающей от Солнца радиации поверхность поглощает, а какую отбрасывает назад, в атмосферу.

Альbedo определяется в основном цветом поверхности. Только что выпавший ослепительно белый снег практически недоступен теплу Солнца — он отвергает почти все солнечное тепло, оставляя из всего его потока не больше десятой части. Старая, снег становится податливее — теперь он может вбирать в себя много больше приходящего тепла — до четверти. Как только снежный покров сойдет, обнажив тело ледника, происходит резкое уменьшение альбеда — до 25—20 процентов, а иной раз и до 16—12 процентов. Ледяная поверхность способна удержать в четыре-пять раз больше тепла, чем снежная. Это тепло идет на таяние.

Лед хуже сопротивляется напору тепла, потому что сам по себе он темнее снега, а кроме того, несет на своей поверхности обильную «грязь веков», оседающую каждый год. Эту грязь приносят ветер и талые воды. Чем больше ее темных частичек на поверхности, тем ниже альbedo, тем больше тепла задерживается, тем сильнее идет таяние, тем больше воды стекает с ледника.

Природа сама указала уязвимое место ледников, их ахилесову пята. Ледники, которые не воспринимают из-за высокого альбеда большую часть потока солнечных лучей, можно сделать «покладистее», немного подчерквив их, используя для этого, например, угольную пыль.

В 1963 году гляциологи Института географии Академии наук СССР избрали для опыта небольшой ледник в Центральном Тянь-Шане. Они посыпали снег тончайшим угольным порошком и стали наблюдать,

как со временем изменялся тепловой и водный баланс поверхности.

Гляциологи убедились в том, что с помощью угольной пыли можно очень сильно уменьшить альбедо снега — до 20—30% — и добиться этим более быстрого схода снежного покрова с ледника. В результате опыта примерно на четверть возрос объем стока талой воды с зачерненной площадки. Увеличение это было бы еще большим, если бы таяние не прерывалось снегопадами. После каждого снегопада требовалось несколько дней для того, чтобы зачерненная площадка снова «проявилась» на поверхности ледника.

Итак, немало дополнительной воды можно получить с ледников путем искусственного зачернения их поверхности. Этот прием не так груб и прямолинеен, как тот, который применялся лет пятьдесят назад, хотя ведет он к тому же — расходованию законсервированных в ледниках запасов воды.

Но в этом деле у могущественной власти человека есть пределы. Первый предел поставлен самой природой: искусственное усиление таяния льда целесообразно лишь в тех районах, где достаточно количество солнечных дней летом и не слишком часты снегопады. Другой предел власти ставит наш разум.

Необходимо понять ту важную, не случайную роль, которую играют ледники на земном шаре. Солнце — могучий источник энергии — обрушивает на планету единый поток света и тепла. Однако неоднородность земной поверхности обуславливает неодинаковое отношение различных видов ее к солнечному потоку. Особая роль здесь принадлежит льду и снегу.

Ледники Земли — своеобразные окна, через которые уходит в мировое пространство наше земное тепло. Казалось бы, зачем терять это тепло? Не лучше ли сохранить его, тем более, что попутно, уничтожив «излишки» льда, можно обеспечить водой огромные пространства засушливых земель? Но для этого надо сначала разобраться в том, болезненным или здоровым явлением оказываются ледники, в том, какую роль выполняют они в процессе эволюции планеты.

Умеренной близостью к Солнцу обязана Земля жизнью именно в той форме, в которой она развилась. Жизнь на Земле — следствие ее особого, «удачного» положения в солнечной системе, во всем космосе. Ледники же можно рассматривать как своего рода «представителей» того бесконечного пространства, в котором нет тепла, то есть «внесолнечного космоса». В основном благодаря им существуют на Земле атмосферная циркуляция и огромное разнообразие природных условий. Возможно ли было бы развитие высших форм жизни без этих контрастов, без этого разнообразия?

Через ледники Земля теряет много тепла, но, может быть, как раз столько, сколько необходимо для того, чтобы избежать перегрева, угроза которого усиливается по мере прогрессирующего увеличения производства человечеством искусственной энергии.

В ледниках Земли законсервированы огромные запасы воды, но, может быть, как раз столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать установившийся уровень влагооборота во всепланетном масштабе.



и каждый день по леднику на лыжах...

ЕЩЕ И КРАСОТА...

В апреле 1969 года в Москве, в конференц-зале Института географии Академии наук, проходило очередное заседание Ученого совета, на котором были заслушаны доклады гляциологов. Среди многих проблем науки о ледниках обсуждался и вопрос о возможностях и экономической эффективности искусственного усиления таяния горных ледников. Говорили о том, сколько дополнительной воды можно получить, если покрыть все ледники Средней Азии угольной пылью и заставить их таким образом усиленно таять: о том, в каких горных районах такое зачернение может дать наибольший эффект; о том, как использовать этот эффект для орошения полей.

В конце обсуждения встал Михаил Владимирович Тронов, профессор Томского университета, старейший гляциолог нашей страны. Он сказал:

— Простите, если я выражусь немного ненаучно. Что нам дают ледники? Ледники дают нам воду, дают ученые степени и звания, но нельзя забывать и о том, что ледники дают нам еще и... красоту.

Аплодисменты, редко раздающиеся в стенах института на подобных совещаниях, заключили эти слова.

Может быть, не случайно природа наградила ледники такой сверкающей красотой? Ведь красота есть выражение наивысшей целесообразности.

Вряд ли бывает красивым бесполезное, совсем ненужное...



Семен Белиц-Гейман

МОЕ ВОДЯНОЕ КОЛЕСО

Пожалуй, не у всех первые шаги по земле совпадают с первыми «шагами» по воде. Однако я, еще не научившись твердо ступать по земле, помню, с невероятным азартом пытался преодолеть то расстояние — два-три шага, которое разделяло два берега маленькой речушки. Удивляюсь, как моя память хранит столь раннее воспоминание. Я торопился, захлебывался, но шел по воде. Именно шел, а не плыл, ведь я не знал еще, что по воде можно плыть.

Плывать меня научило море. Здесь не было противоположного берега. Но я искал, искал его. Большая доска оказалась моей «соломинкой». И я поплыл. Сначала робко и вдоль берега, затем все дальше и быстрее.

В этом, очевидно, не было ничего сверхъестественного: маленький мальчик научился плавать — что тут такого? Все плавают: одни лучше, другие хуже.

Впрочем, не каждый плавающий умеет плавать.

Когда уплываешь далеко, все сливается. Небо, вода. Убегающий горизонт и берег в дымке. А ты один, лишь тень пробрасываемых рук сопровождает

тебя. Тело свободно, как в невесомости, не чувствуешь тяжести и забот. Берег исчезает. Это вдруг перестает пугать. Ты ощущаешь блаженство одиночества, а точнее, ты уже не одинок, не беззащитен, а наедине с морем.

Можно наплавать тысячи километров в плавательном бассейне, покорить рекорды, но настоящий пловец обязательно захочет проверить свою волю, характер и силу в строго экзаменующем море.

Я не верю тем молодцам, которые клянутся в любви к морю, сладко нежась под лучами южного солнца, проделывая «водные процедуры» по колено в воде.

Море знает лишь тот, кому оно до боли разъедало глаза в многочасовых заплывах.

Борьба в спорте начинается задолго до выстрела стартера. Чемпионы читают друг о друге в газетах. Прикидывают свои и чужие возможности, узнают о результатах.

Спортсмен, который хочет выиграть еще до соревнования, воздействовал на противника своими ре-

зультатами, не должен забывать, что у организма есть пределы, что предварительная самоуспокоенность может быть наказана: в решающий момент организм сдаст. И пловец упрется в воде как бы в невидимую стенку.

А если соблюдены все нормы и учтены возможности, то нередко предварительная заочная борьба оказывается решающей.

Предположим, зарубежный пловец показал выдающийся результат, который через многие информационные каналы стал мне известен.

Что мне остается? Поднять руки вверх и при очной встрече заранее уступить?

Но если моя подготовка достаточно фундаментальна, я могу еще возразить ему «бумерангом» его результат, установив рекорд буквально накануне нашей встречи и поставив его в то самое положение, в которое он надеялся поставить меня. Тогда перед выстрелом стартера наши возможности снова окажутся неравными, но фаворитом буду уже я. Здесь психологическая борьба в момент заплыва перерастает в борьбу тренировочную, которая в конечном итоге предопределяет всякую победу.

Так было перед Универсиадой 1965 года. Фавориты были известны задолго до состязаний, меня среди них пока не было.

Тогда в Харькове за две недели до Универсиады я показал результат на 1,5-километровой дистанции 17 минут 1,9 секунды, это превышало на 40 секунд мой личный рекорд, на 25 секунд рекорд Европы и лишь на 3,3 секунды уступало мировому рекорду.

Перед финальными заплывами Универсиады я ощущал на себе любопытные взгляды соперников: «Что еще может выкинуть этот парень, сумевший сбросить со своего результата сразу 40 секунд?»

Впрочем, мне это лишь придавало уверенность.

Первый финал — четыреста метров. На этой дистанции я не имел никаких предварительных «козырей», но основные соперники были те же, что и на «полуторке». И мировой рекордсмен, американец Р. Саари, помня о моем харьковском «бумеранге», уступил мне здесь. А я получил не только золотую медаль Универсиады, но и установил новый рекорд СССР. Поздравляя меня, Саари сказал, что он гнался за мной триста метров и настолько увлекся погоней, что израсходовал силы еще до финиша.

Через день, не увидев Саари на старте полуторакилометровой дистанции, я обрадованно подумал: «Теперь можно быть спокойным. Остальные не страшны». Стартовой Саари, я был бы во всеоружии. Но Саари сдался без боя, я позволил себе расслабиться, и это сразу почувствовали два других американца. Теперь уже психологическое преимущество было на стороне моих соперников.

Старт. Лидерство захватывает американец Бартон. Он взвинчивает темп, я стараюсь не отставать. Когда мы оба сдаем, из-за наших спин выплывает другой американец — М. Уолл. Он-то и выигрывает «золото».

Так рядом с победой притаилось поражение.

Медаль, полученная в голландском городе Утрехте на соревнованиях за звание чемпиона Европы, имеет форму водяного колеса, столь популярного в Голландии. Обычно такие колеса вращаются от потока воды в каналах. А вот это маленькое колесико я должен был вращать в течение 16 минут 58,5 секунды потоком воды, создаваемым непрерывным движением моих рук.

Этот старт мне запомнился каким-то особым благополучием. Каждый раз, подходя к своей тумбочке, встречая на стартовом плотике соперников, чувствуя

взгляды судей за спиной, воспринимаешь все по-иному. И эти несколько очень долгих и трудных секунд порой решают судьбу заплыва и победы не меньше, чем месяцы физической и волевой подготовки. Ох, как длинны эти секунды!

Иногда успеваешь заметить, как ведет себя каждый из семи соседей по тумбочкам. Вот один как-то очень уж веселится, перебрасывается с кем-то шуткой, а другой молчалив и мрачен, сидит, покрыв голову ярким махровым полотенцем. Я, конечно, думаю, что первый отлично себя чувствует и совсем не волнуется, а второй, еще не начав борьбы, предчувствует поражение. Но самое интересное в том, что эти внешние впечатления в большинстве случаев обманчивы. Наоборот, веселье — результат излишнего перевозбуждения, неумения справиться с собой, а мрачность — признак необходимой собранности и сосредоточенности. Тут нет общих законов не только для всех, но даже для каждого.

При равных обстоятельствах свое волнение или спокойствие ты выражаешь иначе.

Иногда ты вовсе не замечаешь своих соперников, не следишь, как они ведут себя. Забываешь о зрителях, о судьях за спиной. Сидишь, покрыв голову все тем же ярким махровым полотенцем, и мысленно продлеваешь то, что сейчас произойдет. Вот уже набран нужный темп, пройден первый поворот, вот уже позади половина дистанции, последнее усилие, скоро финиш... и вдруг слышишь команду: «На старт!» Тело становится мягким, легким, податливым, способным повиснуть над водой и слиться с ней. Кажется, именно так было и в тот раз.

Двести метров. Всего две минуты. В спорте это порой так много!

Мой прыжок был на грани фальстарта: я, пожалуй, не услышал выстрела, а угадал его. И уже пошел вперед. Все складывалось отлично. Ко второму повороту (к ста метрам) я уступал своему главному сопернику, Лене Ильичеву, ровно столько, сколько мог позволить себе стайер, плывущий со спринтером. Теперь любой следующий метр будет работать на меня. Так оно и было. Каждое движение убеждало меня в том, что в этот раз все сложится как надо. Вот уже я сравнялся с Леней, вот он уже отстает. Это выше моих ожиданий. До финиша еще целых 50 метров. Для меня уже совсем немного, а для него не так уж мало.

В висках стучит: «Ты первый! Первый! Победа!»

Вот уже пальцы далеко выброшенной руки почти касаются кафельной стенки... И вдруг я не увидел, а понял, что пальцы другой руки, через джоржот от меня (по ней плыл Ильичев), сделали это на неуловимое даже секундомером мгновение раньше меня.

Я ждал объявления диктора, но, пожалуй, обманывал себя. Хотя мы показали одно и то же время, я уже не сомневался в том, что проиграл.

Мне приходилось проигрывать, но на этот раз я проиграл самому себе. Я уже почти победил соперника, но не смог победить себя. Рано успокоился — не дотянул «последнего дюйма».

Самое тяжелое — это остаться в долгу перед собой.

Впрочем, что это я все о себе да о себе?

А может быть, дело было не только во мне?

Я совсем забыл о сопернике, а все произошло не так просто; не только я проиграл, но и Леня выиграл?..

В конце дня, когда приятная усталость от тренировок уже переходит в дикую ломоту, ты, сидя в автобусе, ждешь отправления в олимпийскую деревню. Ты раздражен. Ты мечтаешь выпить чашку чаю с лимоном и бухнуться в постель — ты завоевал на это право.

...Маленький мексиканец не мог знать об этом. Его интересовали автографы наших пловцов. Только наших пловцов и никого другого. И ради этого он целый день торчал у выхода из бассейна, предлагая проходим то свежую газету, то жевательную резинку.

Протянутые в окна автобуса руки — они так непохожи. Вот эта совсем маленькая, смуглая, в тот день явно не видевшая воды и мыла. А рядом холеная рука знающего себе цену господина. Зачем ему мой автограф? Выбираю немытый кулачок. Пишу, прямо на руке. Автобус трогается.

Назавтра, перед финальным заплывом, я увидел маленького мексиканца на трибуне олимпийского бассейна. На его руке я, кажется, увидел свой автограф.

Мне не стоило особого труда догадаться: юный болельщик имел единственную возможность занять место на трибунах, снова не помыв руку и показав мой автограф.

И я вспомнил, что сам впервые попал на трибуны бассейна не по билету, а по записке знакомого пловца. Мне было тогда лет десять, как этому маленькому мексиканцу сейчас.

И вот я готовлюсь к финалу олимпийских заплывов...

Я стайер. И попасть в Мехико в эстафету 4×100 метров кролем я, конечно, не рассчитывал.

Сначала отобрали шестнадцать лучших спринтеров. Потом осталось восемь, затем шесть. Я в это число не входил, так как готовил другие дистанции. Однако, поскольку моя поездка в Мехико была делом решенным, меня подключили на всякий случай к эстафете.

Итак, в Мехико нас оказалось семеро. Перед предварительным заплывом тренер «благоразумно» предупредил меня, что сейчас я стартую, но в финале, если мы в него попадем, мое место займет настоящий спринтер. Я заметил, что мне будет очень трудно бороться, заранее зная, что никаких шансов на медаль не имею. Но тренер сказал, что общественные интересы выше личных. Возразить, разумеется, было нечего. Я вышел на старт и показал один из лучших индивидуальных результатов среди всех участников команд. Тренеру ничего не оставалось, как включить меня в финальный состав.

Перед выходом на старт нас оставалось четверо: В. Мазанов, Г. Куликов, А. Ильичев и я. Нас сближало нечто сильное и малоопытное, что, очевидно, пришлось бы объяснять долгими, шаблонными словами. Мы были друг другу ближе, чем братья, и, не сговариваясь, произнесли одну и ту же, хотя и довольно трафаретную фразу: «Один за всех, все за одного!»

Долго рассказывать, что каждым из нас двигало на дорожке. Но впервые в истории отечественного спорта мы завоевали серебряную медаль в этом виде плавания. И даже я, стайер, показал свое лучшее время на «сотке». Медаль эта, одна на четверых, не менее дорога мне, чем все полученные мною в одиночку.

Прошлым летом, в июне, открыв очередной номер журнала «Юность», я увидел статью поэта Анисима Кронгауза о марафонском плавании и начал читать ее, что скрывать, с недоверием.

Спортсмены подозрительно относятся к попыткам писателей, знающих спорт лишь понаслышке, рассказать о нем. Как и писатели чаще всего иронически воспринимают беллетристику спортсменов, которые по окончании спортивной карьеры стремятся стать профессиональными литераторами.

Но вскоре я увидел работу Анисима Кронгауза в бассейне. Он не был там гостем. Не требовал снисхо-

ждения и к возрасту. Он старался наплавать в бассейне максимальное количество километров, чтобы затем, выйдя на открытую воду, преодолеть ровно столько километров, сколько будет установлено регламентом заплыва, будь то заплыв по Волге, Днепру, Черному морю или Ла-Маншу. Меня удивляет не только то, что Анисим Кронгауз, до того известный мне как поэт (все его заплывы были задолго до того, как я родился), отважился вновь, в возрасте пятидесяти лет, взяться за нелегкую марафонскую дистанцию, но и продолжает, как и в юные годы, игнорировать свой физический недостаток (тяжелая травма ноги).

Воля и еще раз воля способна вернуть человеку молодость. О, если бы мои сверстники почаще вспоминали об этом бесценном человеческом качестве!

Свидетельствую: Анисим Максимович не писатель среди пловцов, а без всяких скидок — пловец. И поддерживаю призыв Кронгауза возродить у нас в стране марафонское плавание. Когда тебе уже двадцать пять и за плечами пятнадцатилетний стаж плавания, все чаще думаешь: а что же дальше?

Решил: до тридцати буду по-прежнему плавать под сводами бассейнов, по-прежнему считая десятки доли секунды. А дальше рассчитываю на марафон (марафоном называю любую дистанцию больше полутора километров). Я и сейчас, когда есть возможность, тренируюсь в море, проплывая по пять-шесть километров!

Плаваешь час-два в спокойном море — дыхание становится ровным, сердце работает, как часы, и даже лучше. Движения плавные, размеренные. Ничего лишнего: ни одного жеста, ни одного рывка. Только в таких заплывах и можно по-настоящему понять природу плавания.

И когда перестану считать десятки доли секунды, надеюсь, нынешние мои метры продолжатся в километры, в мили. Да, я тоже мечтаю покорить Ла-Манш. Надо будет узнать, кстати: каков рекорд Ла-Манша?..

Жаркое летнее утро в Харькове. Пожалуй, самый благоприятный момент для рекордного старта наступит лишь к вечеру. Спадет тридцатиградусная жара, добавят прохладной воды в бассейн, появится легкий ветерок...

Думаю: плыть или не плыть? Советуюсь с тренером. Решаем: плыть на восемьсот метров.

Едва я заканчиваю дистанцию, как Тамару Владимировну Дробинскую, моего тренера, прямо как есть, в одежде, бросают ко мне в воду. Это традиция: значит, мы с Тамарой Владимировной пересекли экватор, и этот экватор — мировой рекорд. Он принадлежал до этого легендарному австралийцу Муррею Роузу: 8 минут 51,5 секунды.

И вот я улучшил его рекорд сразу на четыре и одну десятую секунды. Долгие годы Роуз был моим кумиром, моим героем. С одиннадцати лет я старался идти за ним, как говорится, след в след. Мне снились его секунды. Но к его результатам 1956 года мне удалось приблизиться только через семь лет. Это были мои рекорды, но рекорды Роуза ушли вперед. Многие из того, что он сделал в плавании, мне сделать не удалось. Но я горд тем, что в то лето 1966 года один из его рекордов все же улучшил.

Тамаре Владимировне эти восемь с лишним минут дались не легче, чем мне...

Первые сто метров ее мучило сомнение, стоило ли плыть, ведь условия явно не рекордные.

После двухсот, видя мой нервный темп и превышение графика, она испугалась, не потрачу ли я тот

неприкосновенный запас сил, который понадобится в споре на чемпионате Европы.

После третьей сотни ее тревожили недовольные голоса за спиной: «Что еще за показательные заплывы вне программы?», «Да еще на рекорд посягает. Какие могут быть рекорды в такую жару?»

Но после половины дистанции, как писали корреспонденты, в бассейне вдруг наступила тишина. Диктор объявил, что первые четыреста метров пройдены с результатом 4 минуты 20 секунд, что превышало мой результат на этой дистанции в недавнем чемпионате страны.

После пятистот метров она думала только об одном: дотянул бы!..

Последние сто метров. На трибунах стоял гул, которого я не слышал, но который оглушил ее. Когда я пытался уже в воде что-то сказать ей, она показывала на уши: «Не слышу». И улыбалась.

Я впервые пришел к ней тщедушным, худеньким

мальчиком. Мне уже было почти десять лет, а на вид давали семь-восемь.

Потом она мне рассказывала, что тогда ей трудно было поверить, что эти цыплячьи плечики и впалая грудь когда-нибудь станут плечами и грудью пловца. К тому же я ужасно мерз. Другие казались гораздо пригоднее для воды. Ей, правда, понравилось, что этот мальчик буквально на лету схватывал все, что она объясняла. И уже на третий день занятий она в меня поверила.

Тамара Владимировна, милая! Вы, наверное, будете читать эти страницы. Поэтому мне хочется закончить их обращенной к вам благодарностью за все те пятнадцать лет вашего истинно материнского участия в моей судьбе.

Ведь и сегодня, как и все эти пятнадцать лет, вы кричите с бортика бассейна:

— Семен! Вторую половину, как всегда, быстрее! И не забывай про повороты!..



И СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО

Валентину Динабургскому, директору Брянского парка культуры и отдыха имени Алексея Константиновича Толстого, неожиданно улыбнулась фортуна: в парке стали... сохнуть столетние вязы. Иначе вряд ли директору парка удалось бы сокрушить дискоболов, оленей, пловчих, козликов и прочий гипсовый ширпотреб, который, к сожалению, уродует многие наши парки и иные места отдыха. Каждый год эти «шедевры» красят то бронзой, то алюминиевой краской, но их стандартное безобразие никакой краской не замаскируешь.

Всесильному гипсу был уже брошен вызов: в парке забил некий, так сказать, антифонтан в виде красного бетонного бегемота в содружестве

с металлической цаплей. И хотя местная пресса одобрительно отозвалась об этом антифонтане, строгие ревизоры сочли его излишеством.

Но директору все-таки удалось перехитрить ревизоров. Он решил впредь украшать парк скульптурами... из стволов сохнувших вязов, являющихся в общем-то бесплатным материалом, годным лишь в печь. Его сообщниками в этом новшестве выступили авторы красного бегемота Игорь Жданов и Виктор Михайлов. Это местные столяры высших разрядов, занимавшиеся в кружке резьбы по дереву, который давно уже ведет в местном Доме пионеров скульптор Константин Иванович Могул.

И случилось чудо: талант, стремление к прекрасному

двух рабочих парней, соединенные с инициативой руководителей парка, дали удивительные результаты. Бесхитростные деревянные скульптуры, созданные в парке самодеятельными художниками из стволов сохнувших вязов, так понравились брянцам, что повсеместные козлики, физкультурники и пловчихи с отбитыми руками и ногами были разом побеждены. Брянцы очень любят новые деревянные скульптуры, украсившие их парк. К слову сказать, скульптуры эти произвели положительное впечатление и на руководителей Брянского завода дорожных машин, которые, учитывая дарование авторов скульптур модельщиков Жданова и Михайлова, перевели их в художественно-конструкторское бюро.

Вот какое чудо случилось в Брянске! Так что иному директору парка, у которого начинают сохнуть вязы, тополя или даже дубы, горевать не стоит. Даже этим, как выяснилось, можно воспользоваться, чтобы раз и навсегда изгнать с аллеи и газонов удручающую бетонно-гипсовую «красоту», репродуцированную в наших парках в бесчисленных экземплярах.

Смотрите на третьей странице обложки этого номера нашего журнала фотографии деревянной скульптуры Брянского парка.

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ



Юрий Рихтер

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Рисунок В. Карасева.

Устолика, где кассир выдавал зарплату, стояло несколько рабочих.

— С первой получкой тебя, Виктор Васильевич! — произнес мастер участка Иван Семенович. Он пожал Витьке руку и прошел в цех.

«Ишь, разлетелся, — думал Витька, — «С первой получкой, Виктор Васильевич!» Намекает. Придется выпить с ним. Мать, конечно, недовольна будет. Пересчитает деньги и скажет: «Чего-то мало, Витя?» А я ей: «Ничего не поделаешь — первая получка. Пришлось мастера в ресторане угостить. Сама понимаешь — традиция!»

Витя убрал инструмент, вытер станок, переоделся и стал ждать мастера. Однако Иван Семенович не спешил. Он о чем-то поговорил с технологом Ковригиным, потом отправился в свою конторку.

«Цену себе набивает», — решил Витька.

Но вот наконец мастер направился к Витьке, однако не остановился возле него, а бросив на ходу «до завтра», двинулся к проходной. Витька догнал его и потянул за рукав.

— Иван Семенович, куда же вы?

— Куда? Домой, конечно.

— Так ведь у меня первая получка, я угостить вас должен!

— Ничего ты никому не должен! Купи торт, бутылку шампанского и отметь дома с матерью первую получку.

— Как это дома?! Я с вами выпить хочу, ведь традиция!..

— Неважная традиция, Витя!

— Важная, неважная, а традиция. Я вас очень прошу.

— И не проси.

— Та-а-к. Значит, не уважаете меня... Может, я плохой токарь?

Вы так и скажите, я и в другой цех могу перейти...

— Да нет, почему же...

— А если так, то желаю, чтобы у меня все по-человечески было. Вы только не сомневайтесь, я вас в забегаловку не поведу. Как люди, в ресторане посидим, под музыку.

— Да разве в этом дело?.. Кому же я не пью: врачи не разрешают.

— Можете и не пить, а уважение мне окажите...

Через полчаса они сидели за столиком в ресторане, перед ними стоял официант с блокнотиком в руке.

— Так: грибки, ветчина, салат столичный, солянка, мясо фирменное, шашлык. Все два раза, — записал официант. — Что пить? будем?

— Мне бутылку минеральной, а молодому человеку можно грамм двести вина, — сказал Иван Семенович.

— Что он, девушка? — усмехнулся официант.

— Да, да, — подхватил Витька, — мужчина я. Бутылку коньяка!

Вскоре на столе появились закуски, бутылка минеральной, бутылка марочного коньяка.

— За первую получку! — произнес Витька и вынул фужер коньяка. Тут же коньяк стал оправдывать свою высокую репутацию и стоимость. А через двадцать минут Витька полез целоваться к какому-то парню, сидевшему за соседним столиком.

...Расплачивался Иван Семенович. Потом мастер с трудом вывел упивавшегося Витьку из ресторана и на такси доставил его домой.

Приехав к себе, Иван Семенович отдал получку жене. Она пересчитала деньги и сказала:

— Чего-то мало, Ваня?

— Ничего не поделаешь, — вздохнул Иван Семенович. — У парня с моего участка первая получка. Пришлось его в ресторане угостить. Сама понимаешь — традиция!



Леонид Нерсесов

ДВУХКОПЕЕЧНАЯ МОНЕТА

Рисунок И. Оффенгендена.



Как назло, на работе был поврежден телефон. А мне позарез нужно было позвонить своей девушке: договориться о свидании. Еле дождавшись обеденного перерыва, я спешно ринулся на улицу, к телефону-автомату. Пошарил по карманам и с ужасом убедился, что у меня нет двухкопеечной монеты.

Я подошел к девушке в белой кофточке с жабо и обратился к ней как можно вежливее:

— Простите, у вас не найдется двухкопеечной монеты?

Девушка жеманно улыбнулась и, глянув на меня, ответила:

— Это что — новая манера знакомиться?

Я слабо попытался оправдаться: мне, мол, нужно звонить, но девушка в ответ громко расхохоталась.

— А вы оригинал, к тому же искусно притворяетесь. Ну ладно, так и быть, меня зовут Мусей. А двухкопеечную монету я вам принесу сегодня в семь часов вечера к памятнику Пушкина.

Еще раз рассмеявшись и помахав мне на прощание рукой, незнакомка скрылась из виду.

«Черт побери, не хватало, чтоб меня еще принимали за уличного Дон Жуана! — подумал я. — Нет уж, лучше к молоденьким не подходить».

Я взглянул на часы. До конца обеденного перерыва оставалось десять минут. Видно, у меня было очень огорченное лицо: на меня обратил внимание проходивший мимо старичок, по виду напоминавший деда Щукаря.

— Что, милый, плохо? — обратился ко мне сердобольный старичок. — Я тебе валидолу дам.

Я объяснил, что сейчас для меня валидолом были бы две копейки.

— Понятно, — ласково улыбнулся старичок, — на водку не хватает? Да я тебе, родимый, хоть десять дам, — понимающе глядя на мой красный (от загара) нос, прогундосил старичок.

Тут я окончательно вышел из себя.

— Да не нужны мне ваши десять копеек. Мне нужны две, понимаете, две копейки.

— Ах, у тебя посуда с собой, — пробормотал старичок, глядя на мой оттопыренный пиджак и приняв за бутылку газеты, лежащие во внутреннем кармане.

Я махнул рукой и отошел в сторону. Вдгонку мне раздался все тот же гундосый голос:

— Делай после этого людям хорошее! Топай отсюда... алкаш.

На углу какая-то женщина с мохнатой, как у пуделя, головой торговала цветами. Надежда слабо шевельнулась в моем сердце.

— У вас не найдется двух копеек? — заплетаясь языком вымолвил я и протянул было руку.

— Постыдился бы! — зло прокричала женщина. — Такой молодой, а уже милостыню просит! А еще в галстуне ходит. Ишь, интеллигент окаянный!

Я без слов понимающе отошел в сторону. У нее, как видно, не шла торговля. А в такой момент к человеку лучше не подходить. И я перешел на другую сторону, направляясь к «Гастроному» с большими стеклянными дверями. Он был моим последним оплотом.

В «Гастрономе» была невообразимая толчея. Давали рыбу — балык. Я пристроился в длинный хвост очереди. Когда наконец она подошла, я протянул кассирше мятый рубль.

— Какой отдел? — нетерпеливо спросила кассирша.

— Плановый, — заученно, как при заполнении анкеты, ответил я.

— Какой? — изумленно вытаращив на меня черные, как черешня, глаза, переспросила кассирша.

— Ох, извините, это я работаю в плановом отделе! А вообще-то мне нужна двухкопеечная монета.

И, наконец, крепко зажав в руке горсть двухкопеечных монет, я снова ринулся к телефонной будке. Позвонил, договорился о встрече и радостно, вприпрыжку побежал в сторону своего учреждения. Мельком взглянув на часы, я убедился, что ровно на час опоздал с перерыва.

Начальник отдела сурово отчитал меня и на мое объяснение ответил, что служебные интересы должны стоять выше личных. Отчитав меня, он солидно двинулся к выходу.

— Куда вы? — робко спросил я.

— Пойду позвоню жене, предупрежу, что задержусь на работе.

— Только на улице не подходите к молоденькой девушке в жабо, гундосому старичку и торговке цветами, похожей на пуделя, — наученный горьким опытом, предостерег я. — Зайдите лучше сразу в «Гастроном».

— А с какой стати я должен к ним подходить? И при чем тут «Гастроном»? — удивленно нахмутив брови, спросил начальник отдела.

— Ну как же, ведь вам понадобится двухкопеечная монета, — объяснил я.

— А у меня она есть, — сказал он и показал мне блестящую монету.

Я завистливо посмотрел ему вслед. Есть двухкопеечная монета! Везет же людям!

г. Баку.

Александр Иванов

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ



ВСТРЕЧА

Конечно, возможно,
Что мне не поверят,
Но вдруг повстречались
Дантес и Сальери.
И вот обстоятельства
Так уж сложились,
Что очень они
Меж собой подружились.

И как-то однажды,
Прощаясь у двери,
Смущенно Дантес
Обратился к Сальери:
— Я знаю, что здесь
Не хватает оркестра,
Но очень прошу вас,
Сыграйте, маэстро!
Мне, право, просить вас
Не очень удобно,
Но, зная, что вы
Музыкант бесподобный,
Поймете, надеюсь,
Высокие чувства.

Я с детства поклонник
Святого искусства.
Сальери безмерно
Был рад комплименту.
Помедлив для виду,
Он сел к инструменту.
В мелодии автор
Блаженно купался,
Меж тем как Дантес
В похвалах рассыпался.
Но так или этак —
Не в этом суть дела —
Сальери, как видно,
Играть надоело.
Душа ведь коварная
Очень особа...
Взыграла в Сальери
Змеиная злоба.
Дантес отвернулся.
И тонкой рукою
Он другу в бокал
Что-то всыпал такое...
В безмолвии жутком
Свеча замигала,
Приятель отведал
Вина из бокала...
Усы покрутил
Обреченный повеса.
И тут обратился
Сальери к Дантесу:
— Любезный барон,—
Молвил он старомодно,—
Я слышал, стреляете вы
Превосходно.
Я с детства
Пред этим искусством немею,
Но сам, к сожаленью,
Стрелять не умею.
Прошу вас!..

Блеснули
Огнем позументы,
Дантес приготовил
Свои инструменты.
Потом улыбнулся
Улыбкой амурной
(Стрелял он действительно
Очень недурно)...
Барон, без сомнения,
Сам наслаждался,
Сальери меж тем
В похвалах рассыпался.
Но так или этак —
Не в этом суть дела —
Дантесу стрелять
Просто так

надоело.
Душа ведь коварная
Очень особа...
Взыграла в Дантесе
Змеиная злоба.
Быть может, сказались
Причуды таланта,
И он пистолет
Разрядил в музыканта.
Сальери, с проклятьем
Вскочив, покачулся
И как-то двусмысленно
Вдруг

улыбнулся!...
Убийца размял
Онемевшие руки
И тут же почувствовал
Адские муки...

В ком эта история
Вызовет жалость!
Увы... Я на этом
Закончу, пожалуй.
Не все ли равно нам,
Что было потом:
Ведь это случилось
На свете

на том.

ГЕНИЙ

— Ты мой друг,— сказал поэт
поэту,—
Настоящий, истинный поэт,
Твоему таланту равных нету,
Хоть пройди
кругом весь белый
свет.

Лично я, когда тебя читаю,
Плачу от восторга — видит бог.
В мировой поэзии не знаю
Никого,

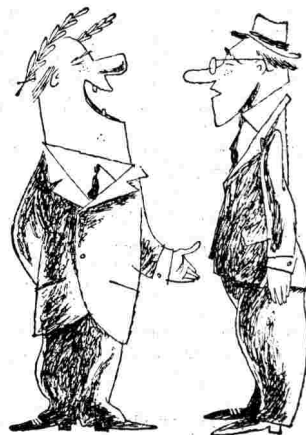
кто рядом встать бы мог.
Твой талант мужает год от года,
Я скажу, к примеру, за себя:
Ты, к примеру, вышел из народа.
Я, к примеру,

вышел из тебя.
От твоих, старик, произведений
Скоро вздрогнет восхищенный
мир.

Что я говорю — талант...

Ты гений!
Ты вершина, светоч и кумир!
На тебя равняясь, впору встать и
Стать душою чище и светлей!
Вот что я скажу тебе... Да, кстати,
Дай до послезавтра
пять рублей!..

Рисунки И. Оффенгендена.



Наташа Хмелик,
ученица 8-го класса



(Зарисовка с натуры)

Родительское собрание вообще не сахар. А тут еще придумали совместное: родители и мы. Это чтобы всем было стыдно: нам—перед родителями, родителям—друг перед другом и т. д.

Классная руководительница читает список двоечников. Список длинный-предлинный и составлен строго по алфавиту: наша классная любит порядок. Между родителями двоечников сразу начинается солидарность. Два отца на последней парте расчертили записную книжку и играют в морской бой, один из них милиционер. Им не делают замечания. Мой отец тоже сидит за партой, он кажется сегодня не совсем молодым, мне его жалко. До чего же долгий список двоечников! «В нашем классе катастрофа с успеваемостью»,— говорит учительница. Сашка на последней парте уговаривает расстроенного папу интеллигентного вида, что она все врёт, папа почему-то верит. Ай да Сашка! А мы считали его наивным ребенком!

Многие родители смотрят на учительницу испуганно и преданно. Некоторые краснеют. Мы стараемся не смотреть друг на друга. Тем, кого ругают, еще ничего, гораздо хуже тем, кого хвалят: положение самое дурацкое. Чужие мамы-папы косятся на «счастливых» родителей, а ребята хихикают: мы-то знаем, что к чему.

У окна сидят трое самых больших мальчишек, разговаривают, толкаются. Хотят показать, что им все равно. Хорошие мальчишки! Они так стараются быть равнодушными, так стараются, что видно невооруженным глазом: им не все равно—иначе зачем же так стараться.

Нас собрали, чтобы всем было стыдно. И всем было стыдно.



Когда-то на страницах «Пылесоса» была напечатана пародия Марка Розовского на литературный жанр особого рода—на школьное сочинение. Автор подметил словесные штампы и ляпсусы, из которых иные ученики составляют свои сочинения, как опытные хозяйки—винегрет. По письмам, приходившим в нашу редакцию, мы знаем, что многие учителя литературы пользовались на уроках этой пародией, чтобы показать своим ученикам, как не надо писать школьные сочинения.

Сегодня мы хотим продолжить этот педагогический опыт «Юности» и заводим в «Зеленом портфеле» рубрику «Перлы», где будем печатать отрывки из школьных сочинений, студенческих работ, которые нам время от времени присылают учителя, студенты да и сами ученики. А теперь, когда открыта специальная рубрика, надеемся, что этих поступлений будет еще больше. Разумеется, не за счет увеличения «перлов» в тетрадках, а просто вследствие читательской активности.

Галка Галкина.

«Наполеон был великим императором и псевдонимом некоторых психов».

«В средние века дороги были такими узкими, что на них еле-еле разъезжались два автомобиля».

«Они поженились и через пару месяцев родили несколько детей».

«Тургенев получил свое творчество в наследство от матери».

«На поле битвы раздавались крики и стоны мертвецов».

«В драме «Гроза» и «Бесприданница» Островский показывает нам взаимодействие между мужчинами и женщинами».

«У Луки все люди одинаковые: все черненькие, все прыгают».

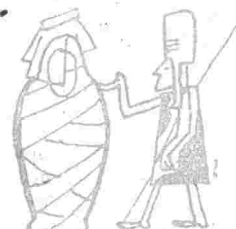
«Чичиков покупал мертвые души по сниженным ценам».

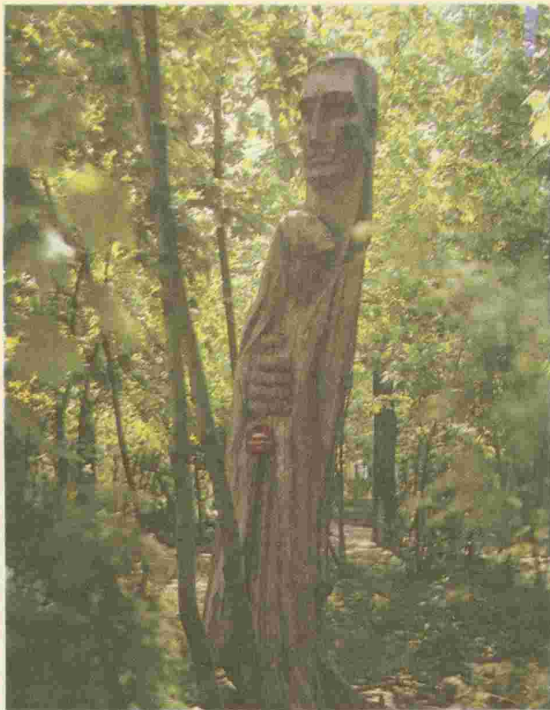
«Мумия была женой одного из фараонов».

«Этот образ никогда не посещал тайные кружки».

«Няня рассказывала Пушкину сюжеты несозданных произведений».

«Перлы» прислали: М. Лелькова, М. Давыдовский, В. Вайнберг, В. Дмитриева.





Двое.

ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА БРЯНСКОГО ПАРКА.

Авторы И. ЖДАНОВ, В. МИХАЙЛОВ и члены кружка
городского Дворца пионеров («Деснянка»).



Брянская мадонна.

Лиса.

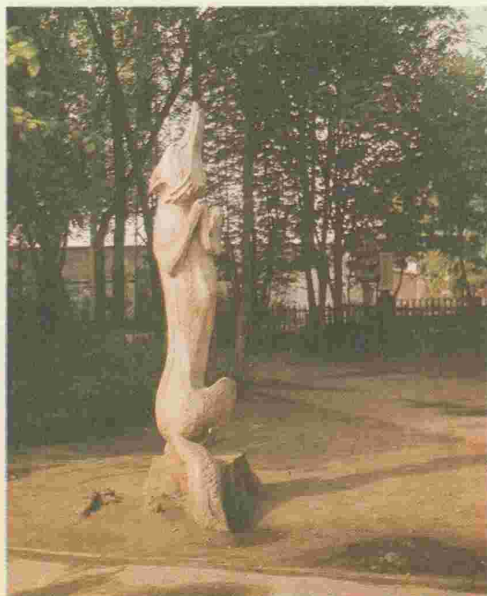
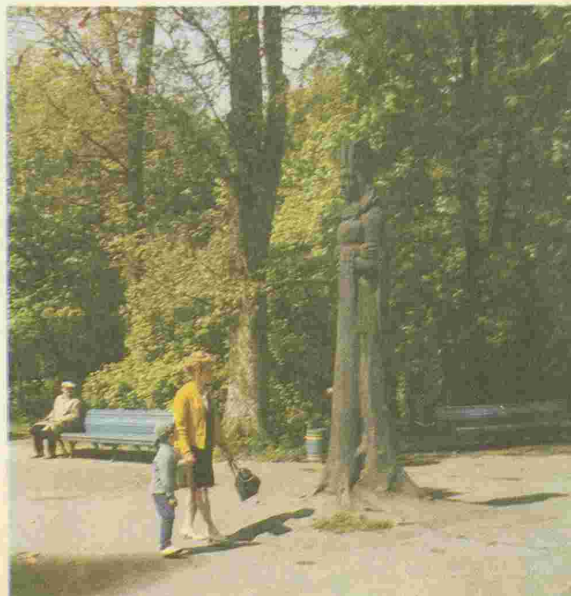
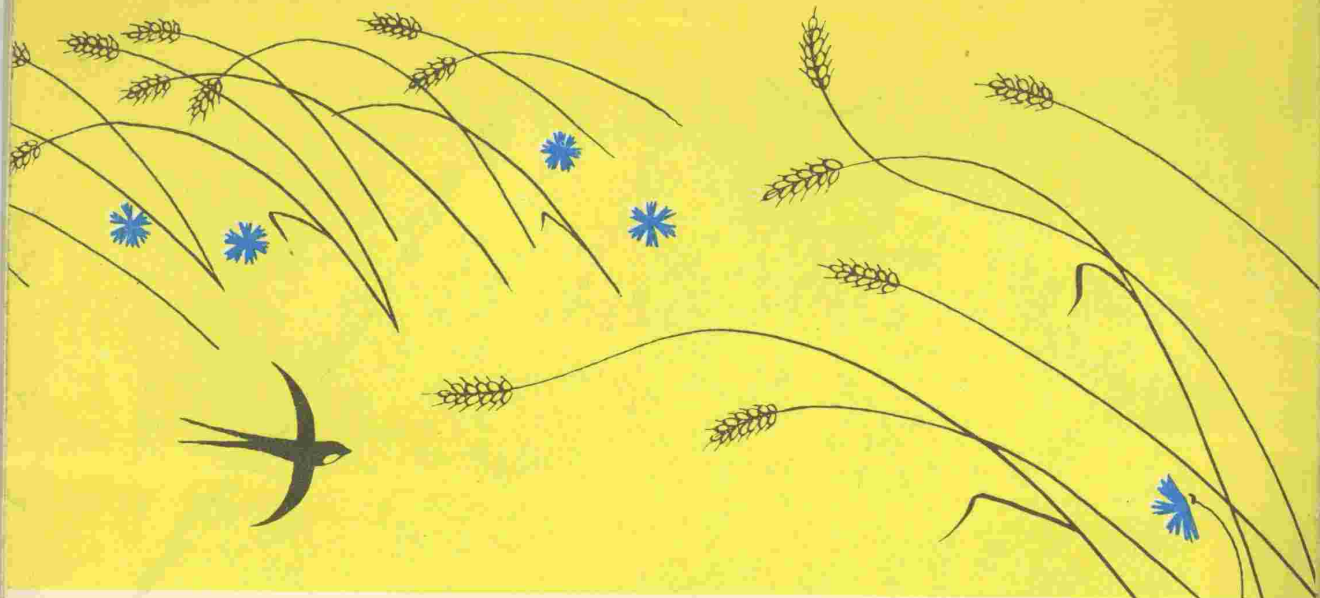


Фото А. Каруанова.

Деснянка.





Цена 40 коп.

Индекс 71120